

Сергей Луцкий

ПОКА СВЕТЛО

МАЛАЯ ПРОЗА

logotypeTID

Тюмень

2014

84(2Рос=Рус)6
Л86

*Автор
выражает признательность
за содействие в издании книги
Департаменту информационной политики
Тюменской области
и депутату Тюменской областной Думы
Козлову Сергею Сергеевичу*

Л 86

Луцкий С.А.

**Пока светло: Малая проза / Тюмень. «Тюменский
издательский дом», 2014. – 366 с.**

Сергей Луцкий – известный югорский прозаик, лауреат литературных премий. Его произведения публикуются в центральных и региональных литературно-художественных журналах и альманахах, переводятся на иностранные языки.

Новая книга С. Луцкого состоит из лирико-философских миниатюр, а также рассказов, написанных в разное время.

*Д*ЕРЕВЕНСКИЕ ЭТЮДЫ

* * * * *

*И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет –
Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я все – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав –
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.*

Ив. Бунин

МЭРКА, ХЛЕБ И СВОБОДА

Каждое утро одна и та же история.

Внимательно смотрит на меня, машет хвостом, но подходить не торопится. Вдруг припадет на передние лапы и нетерпеливо, с душой, взвизгнет. На его черно-белой физиономии явственно борются два чувства: есть хочется – и не хочется садиться на цепь. Ой, как не хочется!..

Однако пора, ночь прошла, набегался. Я достаю из кармана кусок хлеба, а другой рукой поднимаю цепь с ошейником.

Надо видеть его в эти секунды! Носится в нескольких метрах от меня, горестно лает, бросает укоризненные взгляды. Но голод все же берет верх, и щенок приближается ко мне. Даю хлеб и тут же накидываю ошейник на крепнущую с каждой неделей холку.

Хлеб мгновенно проглочен, я беру миску и иду в избушку – приготовить что-нибудь поосновательней. Оглядываюсь, и мне становится совестно. Мэрка с цепи не рвется, он все понимает, но, Боже мой, сколько тоски и печали в его глазах!..

Кажется, еще древние римляне сказали: когда есть хлеб, нет свободы. И наоборот.

Увы, Мэрка, увы.

ПОСЛЕДНЯЯ ГУЛЯЩАЯ

Гулящими я зову деревенских коров. В самом деле гулящие. Как только проклюнется трава, так до самых заморозков гуляют сами по себе. Окрестная тайга, пойма Ваха, деревенская улица – где только коров не встретишь. И никаких пастухов при них. Могут прийти во двор на дойку, а могут не прийти – бегай тогда хозяйка, ищи сама, мобилизуй детей на поиски. А то ведь перегорит молоко в вымени, горьким станет.

Выхожу как-то сентябрьской ночью на крыльцо.

Что такое? В тишине характерный звук подбираемой под корешок травы. Сообразил не сразу. Едва угадываемая темная масса за оградой медленно движется, дышит, щиплет остатки осеннего бурьяна... И то сказать, через неделю-другую поставят в стайку на долгие месяцы зимней тесноты и несвободы. Коровы, похоже, это чувствуют и напоследок не уходят с улицы даже ночью.

А одну, самую упорную, я видел уже по снегу. Возвращаюсь от колонки с двумя ведрами воды и опять, как тогда ночью, слышу странные звуки. На этот раз будто без охоты трясут дерево с сухими листьями. Над первым снегом все слышно далеко и удивительно ясно. Оглядываюсь – и метрах в ста вижу буренку, объедающую спиленную, должно быть, еще летом и выброшенную за ограду разлапистую ветку.

Пошуршит скоробившимся бурым листом, поднимет жующую морду и медленно посмотрит вокруг. Все окрест белое, непривычное, нигде ни травинки, тревожно пахнет дымом из печек...

Нет, лучше уж в стайку, думает, должно быть, корова. Там сытнее и спокойней.

И глубоко, всей утробой, вздыхает.

ЖИВОЕ

Двое суток мело, ветер сумасшедше метался вокруг дома, тяжело бился в стены, наносил островерхие, будто спины динозавров, сугробы.

В такие дни мир суживается до размеров комнаты, где только и возможна, кажется, жизнь. А за ее пределами – гибельный лёт снега, мутный хаос, вселенская стужа. Жалобно позвякивает печная задвижка, и раскачивается, скрипуче трется о бревенчатые стены избушки высокий шест с телеантенной.

Но все проходит. И вот – тихий день, низкое слепящее солнце, чистое небо, почти фиолетовое в зените и бирюзовое по горизонту. Мой безупречный флюгер –

флаг над деревенской администрацией – вяло опал, ни малейшего шевеления...

Невероятно!

Выхожу по накопившимся делам во двор. Гремя цепью, появляется из своей будки Мэрка, потягивается, далеко выставив передние лапы, и не по-собачьи громко, с подвывом зевает. Выглядит он вполне благополучно: двое суток спал, а выбирался из будки во время пурги лишь затем, чтобы полакать горячего.

Больше – никого. Тишина, ни одного живого существа. Непогода словно выморозила всех или замуровала под снегом. Даже молчаливых северных сорок не видно, хотя их раньше было вокруг порядком.

И вдруг такой знакомый незамысловатый голосишко! Я замираю, губы сами собой разъезжаются в улыбку. У дровяника прыгают несколько воробьев. Здесь снег вымело до земли и оголились сухие кустики трав с семенами. Они-то и привлекли воробьев. Воробьи суетятся, тербят былинки, бойко, сметливо поглядывают по сторонам.

Живы курилки, перенесли и мороз, и пургу, опять полны своего воробьиного оптимизма!..

Я стараюсь не двигаться, чтобы не спугнуть их, дать наклеваться семян. Но тут ныряющим лётom пронеслась синица, прозвенела что-то, и воробьи тотчас срываются за ней. Видно, есть где-то корм получше.

Стою, смотрю им вслед. Уже и морозец прихватывает уши, и Мэрка требовательно взлаивает, хочет есть. А я все стою и смотрю в ту сторону, куда исчезли воробьи.

Словно с друзьями расстался.

ПИР В НАЧАЛЕ ЗИМЫ

В стаи сороки собираются чрезвычайно редко. А если уж собрались – значит, что-то произошло. Например, в соседском дворе забили бычка.

Событию самое время. Уже морозно, уложенное в железную бочку и присыпанное снегом (чтобы не замерзло) мясо будет без проблем храниться всю зиму. А негодную требуху, свернувшуюся черную кровь хозяева вывалили за ограду.

Радость великая не только для деревенских собак, но и для сорок. Похоже, они собрались со всей округи. Снег испятнан их пестрыми телами. Сороки деловито снуют, нахально выдергивают куски из-под носа у собак. Но те на них не в обиде – всем хватает. Хотя, конечно, для порядка поднимают измазанные кровью морды, рычат и делают вид, что хотят броситься. Сороки отлетают на метр, но секунду спустя опять принимаются за свое.

Пир продолжается день, а то и два. Все это время за бревенчатой стеной стайки перетаптывается, тревожно взмывает корова. Она никак не может понять, куда подевался ее бычок. Хотя могла бы уже привыкнуть – такое происходит каждый год...

Незамысловатый слепок нашей жизни. Одним радость, другим горе. То и другое по одному и тому же поводу.

ЗИМНИЕ ЗАКАТЫ

Удивительные закаты бывают зимой. Чистый нежный свет заполняет полнеба, переходы от розового к палевому, потом к изумрудному и светло-синему почти неуловимы. Впечатление глубины и неохватности простора над притихшей вечерней землей.

Скучными и ненужными в этот час кажутся и желтые огни деревни, и черные, резко обрисованные верхушки елей на шафранном фоне внизу заката, и сумеречно синий снег.

Смотрел бы и смотрел, не отрываясь, на чистый простор на западе, на сокровенный нежный свет зари. И молчал бы благодарно, затаив дыхание.

В такие минуты верится, что есть душа. И что она бессмертна.

ДРЕЙФУЮЩИЕ ВО ЛЬДАХ

Про себя я зову его «Фрамом». Взгляд каждый раз спотыкается о него, когда я смотрю с высокого берега Ваха вверх по течению. Вмерзшее в реку далекое суденышко, одинокое на ровном снежном просторе, чужое среди прибрежной тайги и редких следов «Буранов». Отсюда оно кажется странным, загадочным.

Сравнение с «Фрамом», конечно, неточное. Там – Северный Ледовитый океан, мужественный норвежец Нансен, корабль, специально построенный так, чтобы его не могли раздавить мощные льды. Здесь – заурядный работяга буксир, по небрежению или обстоятельствам оставленный зимовать посреди реки...

Все так. Но почему почти физически чувствуешь одиночество этого брошенного людьми суденышка, его упорное стремление к обжитому берегу? Тяга, чудится мне, такова, что полуметровый лед потрескивает под ее напором, вот-вот разойдется зигзагами похожих на молнии трещин.

Так, наверно, и «Фрам» стремился сквозь бесконечный ледяной простор и замороженную полярную ночь к людям, одинокий и неприкаянный среди пурги и выжидающе бродящих вокруг белых медведей.

Сделанное человеческими руками выглядит без человека сиротливо. Оно чуждо природе, великой и равнодушной. Это так ясно понимаешь, глядя с высокого берега на замерзший вдали кораблик...

ТРЕВОЖНЫЕ ПТИЦЫ

И раз, и другой замечаю на окне синичку. Стремительно появляется в углу рамы, беспокойно крутит головой, словно старается кого-то высмотреть через стекло. В ее маленьком быстром тельце, в цепко ухватившихся за крашеное дерево лапках мне чудится что-то тревожное, какая-то недобрая весть.

Ведь было же. В напряженном ожидании сидела едва ли не вся родня в городской нашей квартире, ждали у телефона, чем закончится тяжелая операция. И вдруг в стекло стал биться голубь. «То Артемова душа, – заплакала бабушка, – нет его больше!»

Слава Богу, отец в тот раз остался жив. Но то, что он был между жизнью и смертью, совершенно точно. Позже я сопоставил время. И может, отлетевшая душа превратилась в птицу, понеслась к своим, чтобы попрощаться. Кто знает, как оно бывает там, на грани...

Бросаю все дела и, проваливаясь по колено в свежесвыпавшем снегу, иду за деревню, на релейку. Не слишком послушными пальцами набираю мамин номер. Немного отпускает, когда слышу ее особенно дорогой сейчас голос. «А как у Лени?» У брата тоже все в порядке. Несколько секунд сажу неподвижно, будто после тяжелой, взявшей все силы работы.

– Пап, ты знаешь, синицы дергают из щелей вату, – встречает меня дома пришедший из школы Никита. – Мы с тобой конопатили окна, а они вытаскивают. Для гнезда, наверно.

Смущенно улыбаюсь. Вон, оказывается, в чем дело!.. Но я не расстраиваюсь, не досаую на птиц. Милые, да хоть всю вату из рам выдергайте! Я вам целую упаковку дам, сам к гнезду принесу!..

Лишь бы все хорошо было.

МИНУС ПЯТЬДЕСЯТ

Такого в городе не услышишь. Там суетливо и шумно, а нужны тишина и сосредоточенность.

Мороз под пятьдесят. Тихо так, что слышен злой визг снега под чьими-то ногами на другом конце деревни. И то лишь изредка. В такую стужу люди сидят по домам, топят печки, а на улицу выходят при крайней необходимости.

Топим печку и мы. Дров уходит уйма, в очередной раз одеваюсь и иду в сарай к поленице. На минуту задерживаюсь во дворе. Горизонт затянут мутной пеленой, которая бывает только в большие морозы. Ни Шаманской горы, ни леса на той стороне реки не видно. И полная, какая-то неестественная тишина. Такую, наверно, и зовут мертвой.

Впрочем, нет. Легкий шуршащий звук все же можно расслышать. Он где-то рядом, но откуда идет – не могу понять. Звук возникает и пропадает с периодичностью моего дыхания. Отлетит от лица облачко, и секунду спустя – тихий шорох, будто разом лопаются пузырьки в открытой бутылке с минералкой...

Да ведь это замерзает пар от дыхания! Почти сразу превращается в кристаллики льда, и те, невидимые, таинственно шуршат, трутся друг о друга... Бывает же!

ПОСИДЕЛКИ

Едва забрезжит куцый январский день, они уже тут как тут. Рассядутся на высокой березе через дорогу, самые смелые – на крыше сарая. Мерзнут, втянув головы во взъерошенные перья, терпеливо ждут, когда я выйду кормить Мэрку.

Наверно, понимают: шансов поживиться немного. Со своей верхотуры видят, с какой жадностью пес набрасывается на разведенную горячей водой кашу. Но в

торопливой неаккуратности Мэрки для сорок своя корысть. Разлетается в стороны и замерзает на снегу разваренная перловка. Мэрка на такие крохи не обращает внимания, насытившись, прячется в будку. А сорокам того и надо. Дождутся, когда я уйду в дом, осторожно спланируют на забор. Потом – на крыльцо...

Риск большой. Как бы ни был пес сыт, инстинкт есть инстинкт. Не одна сорока оставила в его зубах свой хвост. Но голод не тетка, зимой поживиться особо негде. Вот и рискуют.

Мне стало жалко сорок. Ведь живые существа. Как все птицы, чудо – умеют летать... С некоторых пор ложку-другую каши выкладываю на утопанный снег подальше от Мэрки.

Чтобы не зря сорокам мерзнуть.

ВОРОБЬИНЫЙ СКОК

Не знаю, как вас, а меня в январе охватывает особое чувство. Будто в душе начинает тихо пульсировать радостный родничок.

Позади темный декабрь, когда ночь растягивается едва ли не на целые сутки. Солнце поднимается над верхушками близко подступивших к деревне елей всего-то пальца на два. Это в ясный день. А в пасмурный так и вовсе кажется, что немощный рассвет, не набрав понастоящему силы, сразу переходит в сумерки.

Глухая, безрадостная пора!

Но вот наступает январь. Схлынули праздники, которыми так богата его первая половина. И вскоре явственно чувствуешь – в жизни произошло хорошее.

Дело не в знании, что день начинает прибывать, а следовательно, и весна неизбежна, пусть даже и не скоро. Дело именно в чувстве. Тебе кажется, что и снег блещит теперь по-особому, и небо стало глубже, и деревенские дома как-то повеселели.

В полдень вытягиваешь руку, прикидывая толщиной пальцев расстояние от верхушек елей до солнца. Да, уже не два, а целых три пальца помещаются в прогале. И хотя тени даже сейчас вытянулись почти до другого берега Ваха, смеркаться начнет заметно позже.

Как говорили наши предки, день в январе прибывает на воробьиный скок. Всего-то. А сколько затаенной, сокровенной радости доставляет это чуткой душе!..

ТРОПИНКИ

Февраль – кривые дорожки... Для малоснежной европейской зимы такое утверждение, быть может, и справедливо. В Сибири же все по-другому. Задуют февральские ветры, наметет на тропинки сугробы, а деревенский люд не очень-то старается их обходить, на-таптывать новые дорожки. Так напрямик и двигает по старым следам, порой утопая в снегу по колено.

Эта бескомпромиссность показалась мне странной. И я решил поступать иначе. Как-то, встретив на пути наметенный за ночь сугроб, шагнул в сторону, собираясь благоразумно обойти...

Снег вытряхивать пришлось долго. И добро бы только из валенок, а то из карманов брюк и даже куртки. Ухнул, что называется, по пояс.

Что ж, всякий опыт имеет свою цену.

ЖДУТ И НАДЕЮТСЯ

Всего лишь февраль, мороз по ночам такой, что лопается лед на Вахе. Все стынет в мертвой неподвижности, и кажется, что до весны – как до Марса.

Но постоят два-три солнечных дня, и смотришь, уже краснеют кончики березовых веток, исподволь наливаются слабым зеленым светом осины в лесу и тальник вдоль берегов.

Нет им дела ни до морозов, ни до метровых снегов. Как женщина ловит малейший знак внимания со стороны любимого, так и они радостно отзываются на крепнущее солнце.

Всю долгую зиму ждут и надеются. Надеются и ждут.

О ЗИМНЕЙ СВОБОДЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Сразу оговорюсь, речь о «безлошадных». Для владельца «Бурана» особой разницы нет, что начало зимы, что конец. Ему главное, чтобы снег был. А вот для пешехода...

Лучше всего в конце октября. Снега еще мало, и ходи себе где хочешь – хоть в лес иди, хоть по деревне углы спрямляй. В начале зимы, как летом. Даже свободней. Потому что болота подмерзают, можно ходить уже и по ним. Брать, например, клюкву там, где она в обычное время недоступна. Делов-то – смахнул с кочки легкую порошу и выбирай темно-красные ягоды, твердые, как бусины.

Но катятся один за другим дни, недели, все подваливает и подваливает снега. Смотришь, уже и в лес без широких, надежно держащих лыж-подволоку не сунешься. И по деревне нужно ходить только по дороге или по редким натоптанным тропинкам. Можешь, конечно, двинуть напрямик, если имеется такое желание. Только получится себе дорожке – снега в валенки наберешь и запыхаешься, штурмуя снежную целину.

И уж совсем строгие времена наступают в февралемарте. Свобода передвижения жестко ограничена, будто живешь по армейскому уставу. Мало того, что морозно, из дома лишний раз не выйдешь, что само по себе уже несвобода. Так еще ходить изволь только по дороге. Изза сугробов до березы, что в двух метрах от дороги, не доберешься. О лесе или пойме Ваха говорить не приходится – недоступны. Там снега по пояс. Утонешь.

Одно и остается – ждать весну. А с ней свободу ходить, где душа просит.

ТАК ХОЧЕТСЯ В ЛЕТО!..

В том, что наш пес Мэрка предпочитает теплый подъезд холодной будке, ничего удивительного нет. Когда неделю температура на дворе под сорок, здесь уж самую морозоустойчивую собаку потянет в тепло. Особенно если она, как Мэрка, немолода, и шерсть у нее не такая густая, как раньше.

Но чтобы синицы...

Подобного не припомню. Стоит открыть на кухне форточку, синицы тут как тут. Прямо аномалия какая-то. Шустро проскальзывают в проем, а натолкнувшись на людей, начинают панически носиться по комнатам. Однако убираться не торопятся. И стоит немалых трудов выгнать их через форточку обратно.

Бывает, синицы прошмыгнут в квартиру, когда дома никого нет. Вот уж когда им раздолье! Начинают во всю хозяйничать. Расклеивают оставленные на виду пакеты с крупами, пытаются раздолбить кедровые орешки в вазе – это с их-то тоненькими, на вид такими хрупкими клювиками!.. Только насорят везде. И «визитных карточек» в самых неподходящих местах наоставляют.

А как-то синицы наловчились пробираться в квартиру через балкон. Балкон, конечно, уже не улица, но и не квартира с ее теплом. Так что синицы придумали? Прodelали, будто аккуратно сверлом просверлили, лаз в марле, которой была еще летом затянута от комаров форточка, – с комнаты на балкон выходит окно.

Я долго ломал голову, прежде чем обнаружил этот лаз. Вроде, все пути синицам перекрыты, а они опять носятся по комнатам. Мистика!..

Говорят, голод не тетка. Холод, похоже, к родственникам тоже не относится.

ВЕСНА СВЕТА

На дворе не так уж тепло, двадцать градусов ниже нуля. В ноябре такие градусы не то чтобы повергали в уныние, но настраивали бы на суровую долгую зиму. А сейчас...

Радостно, ярко бьет в глаза солнце, взлетающее с каждым днем все выше. Блестят пухлые, нанесенные февральскими ветрами сугробы. И небо уже не зимнее, а лазоревое, глубокое, взгляд в нем тонет, бездонно проваливается.

В избушке, спасавшей всю зиму, сидеть никак не хочется, тянет во двор, на солнце. Выхожу – и сразу же слышу азартную воробьиную разноголосицу. Уселюсь на рябине, звонко обсуждают свои дела, а может, просто радуются жизни, солнцу, предстоящей весне. И наш пес поблизости. Забрался на завалинку с южной стороны избушки, блаженствует у нагретейшей бревенчатой стены, умиротворенно щурит темные звериные глаза.

Двадцать градусов, а не холодно. Уши на шапке опускать не надо, и все слышно далеко и четко. На той стороне реки, метрах в трехстах, разговаривают приехавшие на «Буранах» за сеном мужики. Снежный простор вокруг залит чистым, праздничным светом. Дома, деревья, грузные копны отбрасывают резкие синие тени, сказочно заиндевелые березы похожи на застывшие дымы...

Вот она, первая – по Пришвину – весна. Весна света.

УТКИ

Не знаю, поймете ли меня, особенно если вы охотник. Но каждый раз, когда я вижу колыхающуюся, как бы переливающуюся в воздухе утиную стаю, в голову приходит одна и та же мысль.

Эти небольшие, суетливо бьющие крыльями пти-

цы прилетели к нам, миновав огромные пространства. Едешь, скажем, из Москвы до наших мест в поезде – и то устаешь, хотя не прилагаешь никаких усилий. А им, уткам, каждый метр их воздушного пути надо преодолевать. И расстояния, которые они покрывают, намного большие, чем от Москвы до наших мест. Орнитологи утверждают, что за время перелета птицы набивают костные мозоли. Не знаю, что болезненней – кровавые мозоли или костные.

И вот прилетели. Родные места встречают их не очень приветливо. Большинство рек подо льдом, и надо искать редкие оконца чистой воды. По крайней мере так было в этом году. А тут еще пронзительный ветер с севера, или вдруг пойдет снег, морозец прихватит. Человеку что, он в доме спрячется, печку затопит. Уткам же надо терпеливо мерзнуть, стойко пережидать, надеясь, что инстинкт не подвел, не сорвал раньше времени с теплых и богатых кормом болот где-нибудь в дельте Нила. И хорошо еще, если запоздалая весна – единственное испытание. И если опустились утки на дальних озерах и малых реках, куда человеку добраться непросто...

Гулкие выстрелы рвут майские сумерки. В испуге затаилось все живое. Ладно бы, голодали семьи у охотников, упрекающими глазами смотрели бы жены, мол, давно не было в доме мяса. Так ведь нет. По крайней мере, у большинства из них. Просто тешат свой инстинкт – пещерный инстинкт убивать.

Выстрел – и падает трепещущее от боли тельце. Выстрел – и оказываются напрасными многокилометровые перелеты, холод и голод ранней весны, мозоли на крыльях...

Не понимаю.

Не хочу понимать.

ВЕСНА ВОДЫ

По Пришвину, она приходит после весны света. Но если с весной света все бывает благополучно, то с весной воды в этом году вышло не очень ладно – припозднилась.

Уже казалось, никогда не растает огромная масса снега, выпавшего за зиму. Но теплые ветры, все дольше не уходящее за горизонт солнце день за днем делали свое упорное незаметное дело.

Впрочем, не такое уж незаметное. Где-нибудь в болотистой низинке, по которой за зиму ты привык ходить без опаски, вдруг предательски провалился утоптаный снег. Твои ноги по щиколотку, а то и выше оказывались в воде. Сюрприз не из приятных. Но вместе с тем и обнадеживающий. Значит, весна все-таки наступила, и не только по календарю!..

Начало мая – пора ручьев. Вода, скрытно накопившаяся, как штурмовые колонны перед атакой, вырвалась наконец из-под снега и бурно устремлялась к реке. Обрывистый берег Ваха, уже высохший на солнце, покрывался грязными потеками. Но сам Вах невозмутим в своей ледовой крепости. Вот уже и последние ручьи отшумели, а он все такой же. Ну разве что лед потемнел и отошел местами от берега. Но мощь ледового монолита, протянувшегося на сотни километров, кажется по-прежнему несокрушимой.

Наконец наступает то, во что почти не верилось. Река трогается. Подмытый течением и тальми водами лед на стрежне начинает крошиться и двигается вперед узким длинным языком. Борьба идет мучительная, напряженная. Движущаяся полоска в сплошном поле льда то и дело останавливается, тяжело громоздя торосы. Порой надолго замирает. Но начало все-таки положено. Через день шуршащие серые льдины идут сплошным потоком. А еще через сутки-двое очистившийся Вах отсвечивает пронзительно синей сталью.

Это еще не все, весна воды продолжается. Заливает противоположный низкий берег, по пояс в воде стоит серо-зеленый тальник, половодье подступает к березовым колкам, покрытым вишневым дымом просыпающихся почек...

Из иллюминатора рейсового вертолета картина захватывающая. Неоглядный простор во все стороны, и в просторе этом неизвестно чего больше – земли или воды. Перепрыгивая через кедровые гривки, несется внизу отраженное солнце, вокруг горстки домов мерцают зеркала многочисленных озер...

И тут со всей ясностью понимаешь, почему односельчане считают, что живут на острове.

ВРЕМЯ

Неумолимость времени, как это ни странно, особенно чувствуешь весной.

После недели тепла и солнца вдруг холодные дни с мокрым снегом и низким небом. Нелюдимо насупился лес вокруг деревни. Кажется, в такую пору весна останавливается и затаивается, будто зверек, пережидающий непогоду.

Но выходишь из дому и понимаешь, что все не так. Холодно, но со вчерашнего дня заметно прибавилось пепельного цвета побегов на рябине, зеленее стали пригорки, и в пронзительном ледяном воздухе все тянутся и тянутся на север утиные стаи.

Двойственное чувство охватывает тебя. Радуешься напору весны, которую ничем не остановить – ни холодом, ни снегом. Но и пугает такой напор – неотступный, цепкий, почти остервенелый.

Это не весна сама по себе. Это – Время. Сейчас время расти, зеленеть, тянуться вверх. А с первыми сентябрьскими днями, быть может, раньше – время гибнуть.

И не остановить это движение. Ни даже задержать. Время – одно из имен смерти.

КОНТРАСТЫ

Сколько нареканий можно услышать по поводу северной погоды!.. В общем-то, справедливых. Иной раз температура за сутки прыгнет градусов на пятнадцать, а то и больше. С утра дети бегают по деревенским улицам в футболках и шортах, толкуются возле колонки, галдя и обливаясь водой, а к вечеру на улице хоть шаром покати.

Солнце еще высоко, но ребяшня предпочитает сидеть по домам, смотреть телевизор или играть на «денди» – сменился ветер, знобко дохнуло не такой уж далекой Арктикой. Чтобы выйти гулять, впору надевать теплые куртки. Это в июне-то месяце!..

Помню, как однажды с Никитой сажали картошку. Где-нибудь на большой земле ее в эту пору уже окучивают, а мы дождемся, когда минует заряд мокрого снега, и спешим на огород с лопатами. Пройдем два-три ряда – и опять в дом пережидать, когда пронесется белесая снежная полоса.

Так и сновали весь день между огородом и домом. Подбадривала нас одна надежда: прямо завтра может наступить лето. Резко, почти без подготовки, как и бывает на Севере.

Примеров сумасбродств погоды можно привести множество. То возьмется откуда-то смерч, пронесется над деревней, ломая деревья и срывая с крыш шифер. То уйдет под снег картошка – в начале сентября землю и зеленую ботву прихватят настоящие морозы...

Но есть и противоположные примеры. Запала в память такая картинка. Разгар зимы, Новый год на носу, а прежде ясный морозный горизонт неожидан-

но затянуло влажной дымкой, и зачастили, запрыгали с крыш тяжелые ядренные капли...

Или то, что было недавно. Солнце не греет, а печет, над обрывистым берегом носятся в синем небе стрижи. Я вольготно стою на крыльце, по-пляжному одетый, вернее – раздетый. Ну чем не юг где-нибудь под Алуштой!..

Если бы не одно обстоятельство. По реке, что рядом с нашей избушкой, плывут, шурша и позванивая, задержавшиеся в верховьях льдины. И мертвяще, ознобно дышит черная непроглядная вода.

Контраст. Еще какой!

НОЧНАЯ КУКУШКА

Сказать, что весной можно услышать множество птиц, – значит повторить общеизвестное. Кто не знает, что в эту пору птичий гомон заполняет все окрест. Радуюсь молодому солнцу и пахучей юной листве, самозабвенно поют, играют горлышками пичуги. Овсянки, синехвостки, синицы... Даже вездесущие воробьи как-то по-новому, бодрее и веселей, выдают свое неизменное «чиф-чиф». Довольны, что перезимовали, что выдержали самые свирепые морозы.

Односельчане говорят, что к нам залетают даже соловьи и по ночам на опушках можно услышать их пение. Не знаю, не приходилось. А вот другую птицу, о которой и не подумаешь, что она может подавать голос ночью, мне довелось услышать еще в первый год жизни на Севере.

Конец мая, час ночи. В реке отражается чистый свет то ли вечерней, то ли уже утренней зари. Все вокруг полуявь, таинство, будто отразившееся в глубоком, потемневшем от времени зеркале. И вдруг начинает куковать кукушка. Ее голос в пространстве белой ночи кажется печальным, зыбким, кукушка словно благо-

словляет и заранее прощает грехи всему живущему.
«Ку-ку, ку-ку, ку-ку...»

Сочетание алой чистой зари, молочно брезжащих березовых колков и этого голоса такое, что совсем не хочется думать ни о яйцах, которые кукушка подкладывает в чужие гнезда, ни о кукушатах, выбрасывающих других птенцов, ни об остальных жестокостях жизни.

«Ку-ку, ку-ку, ку-ку», – печально доносится из-за реки. Будто капли горчащего меда падают в рассветный воздух.

А ЧЕРЕМУХА...

У Толстого в «Казаках» есть удивительное место. Его герой едет на Кавказ, и еще среди ровной степи ему вдруг открываются далекие заснеженные вершины. На что бы с той поры ни смотрел герой, о чем бы ни думал, он постоянно помнит: «А горы...»

Похожее ощущение было у меня, когда цвела черемуха. Пройдет ли человек по деревянному звучному тротуару у нашей избушки, проедет ли редкая машина – смотрю в окно и сразу же натыкаюсь взглядом на цветущее дерево.

«Черемуха!..» – радостно отзывается душа.

Выхожу на крыльцо и первое, что чувствую, это густой, тяжелый аромат.

«Черемуха!»

Вожусь у расправляющей нежные листья малины или готовлю грядки под огурцы – вдруг наплывает, подавляя все остальные запахи, мощная душистая волна.

«Черемуха!..»

Привыкнуть к ее запаху невозможно. Он плотным облаком обволакивает двор, огород, часть улицы. Кто только не слетается на этот запах – ровное гудение окружает крону в неброских белых соцветиях.

И всю неделю, пока цветет черемуха, меня не покидает ощущение праздника, почти счастья.

МЕНЬШЕ МЕНЬШЕГО...

Только вечером и можно рассмотреть этих мошек. Светятся полупрозрачными крылышками, они толкутся в пологих лучах солнца. Кажется, каждая окутана светящимся нимбом. Вдруг какая-нибудь из мошек резво подскочит вверх в переменчивом роящемся столбике. Потом опять провалится вниз. За ней другая, третья... И так – час или полтора, пока не станет прохладным солнце.

Что означает этот танец едва заметных существ? Для чего? Какая у него цель?..

Я где-то читал, роение мошек (на первый взгляд, бессмысленное) – это брачные игры. Оплодотворенные микроскопические личинки падают в траву. Чтобы через какое-то время стать новыми мошками. Всего на день или два – такой у них век.

Среди мыслей, которые возникают, когда видишь этот колеблющийся столбик, есть пронзительные. Как чувствуют мир эти крохотные существа, столь отличные от нас и пришедшие в него на такой короткий срок? Как воспринимают свет солнца, запахи травы, упругость воздуха? Время, наконец?..

Между ними и нами – бездна. Но есть и общее: дышим, двигаемся. Они по-своему, мы – по-своему, но любим...

Как все-таки странна Жизнь. И непостижима.

СОПЕРНИЦА БАМБУКА

Считается, что быстрее всех растет бамбук. Его побег прибавляют по несколько десятков сантиметров в сутки. Можно сказать, растут практически на глазах.

А вот у нас чемпионкой по скорости роста можно считать малину. Только утром обследуешь грядки, выдернешь, стараясь поглубже захватить пальцами, мясистые побеги (они пробираются на грядки от ближней

шпалеры малинника), а к вечеру посмотришь – опять побегов полно! Словно никто их и не трогал.

Фиолетового цвета копыцеа пронзили землю, готовы раскинуть быстро зеленеющие листки. Чуть зазеваешься – и начнут глушить морковь или свеклу...

И то сказать, коротко северное лето. А сколько всего малине надо успеть!

Набрать цвет, зацвести, налить ягоды и о будущем позаботиться – этими самыми побегам, рассылаемыми под землей во все стороны.

РОДНЫЕ И ПРИЕМНЫЕ ДЕТИ

Прополка грядок – дело не мужское. Однако приходится. И я всякий раз поражаюсь изнеженности ростков свеклы, моркови, укропа – и жизнестойкости сорняков. Дай им волю, вмиг все на грядках заглушат. Никто сорняки не сеет, никто за ними не ухаживает, а они так и прут. Словно в них заложена какая-то особая сила.

Вспоминаю где-то прочитанное. Один из учеников спросил у Сократа, отчего происходит так. «Кого мать больше любит, родных детей или приемных?» – вопросом на вопрос ответил великий философ. «Конечно, родных», – сказал ученик, ничего не понимая. «Сорняки – это родные дети земли. А то, что сажает человек – приемные. Отсюда и отношение земли к тем и другим».

Не совсем, быть может, научно, но остроумно. Или так оно на самом деле?..

СОРОЧОНОК

То, что это сорочонок, понимаешь не сразу. По виду – вполне взрослая птица. Разве что угловатая какая-то, будто после линьки.

А вот ведет себя для осторожной сороки странно. Села на теплицу и принялась у всех на виду отдирать клювом целлофан. И особо не боится, когда ее гонят. Нехотя отлетит на метр-два, будто одолжение сделает, сядет на забор или край сарая и удивленно крутит носатой башкой – чего, мол, прогоняете?

Не успеешь оглянуться, эта странная сорока опять на теплице. А то норовит похозяйничать на противне с малиной, которую мы рассыпали сушить. Наглая какая!..

Не сразу сообразишь, что это не наглость, а неопытность и доверчивость. Не знает еще сорочонок – всего в жизни ему надо опасаться. И человека, и коршуна, и нашего пса Мэрку, из миски которого так заманчиво поживиться.

Недели полторы сорочонок летал вокруг избушки. Потом куда-то исчез.

Дай-то бог, чтобы знакомство с миром закончилось для него благополучно. Чтобы никто не воспользовался простодушием входящего в жизнь существа.

Ведь жестока она, взрослая жизнь. Наивности не прощает.

ВАХТОВИКИ ИЗ АФРИКИ

А может быть, не из Африки, а из Индии. Или какой-нибудь другой теплой страны, где эти маленькие стремительные птицы проводят большую часть своей жизни. Чем стрижи там занимаются, можно только предполагать. А вот к нам на Север прилетают работать.

Весь бесконечный летний день они мелькают над рекой, лишь на секунду-другую скрываясь в норках в обрывистом берегу. И так два с лишним месяца. Если бы птицы умели потеть, то стрижи эти оба месяца были бы мокрыми от работы. Углубляют или делают новые норки, высиживают птенцов, кормят их, безобразно

прожорливых, потом ставят на крыло... Дел невпроворот. Ни минуты покоя.

Разве что за несколько дней до отлета на юг усядутся всей прибавившейся колонией на провода, издали напоминая нотные знаки. Это мелодия умиротворенности и довольства.

Еще бы, сделано главное – продолжен род. Ради этого и поработать как следует можно.

КАРТОШКА ЦВЕТЕТ...

Казалось бы, такая проза – картофель. Пусть даже в пору цветения. Но думаешь о модном когда-то обычае при французском дворе – носить на груди бутоньерки из цветов картофеля. И понимаешь этих давно ушедших людей галантного века.

Кавалеры в напудренных париках и дамы в широких кринолинах считали верхом утонченности сиреневые и нежно кремовые соцветья с выступающей оранжевой сердцевинкой. Наслаждались их нежным запахом.

Это уже потом польза от плодов картофеля затмит скромное обаяние его цвета. Что и понятно – есть хочется всем, а почувствовать неброскую красоту удел немногих.

Взметнулись над темно-зеленой ботвой белые и сиреневые розетки. Тонкий медовый запах плывет над огородом...

Картошка цветет. Июль на исходе.

НЕПОСТИЖИМОЕ

Я им говорю:

– Извините, ребята, вы здесь ни к чему. – И вырываю с корнем.

В самом деле, сорнякам на грядках не место.

Но вырвать с корнем удается не всегда. Сорняки удивительно приспособлены к жизни и этим вызывают досаду, смешанную с уважением.

У подорожника, например, скорее оборвешь все листья, а из земли не вытащишь. О пырее не говорю. Чуть зазеваешься, его прочные, словно проволока, корни пронизуют всю грядку. Попробуй потом избавься.

Однажды в августе замечаю в неприметном месте кустик лебеды. Она, видимо, взошла поздно, к тому же давно не было дождя. Это даже не кустик, а росток – чахлый, с несколькими крохотными листиками. Но, удивительное дело, на его верхушке примостились шарики семян.

Росток чувствует, что лето на исходе, и изо всех своих малых сил старается успеть вызреть, дать потомство. Быть может, надеется, что хоть его семенам повезет, вырастут они в высокие крепкие растения – такими, как природой определено.

Это мы, люди, считаем лебеду сорной травой. Росток себя таким не чувствует. Старается сделать все, что ему положено. Передать эстафету, не им начатую и не имеющую право на нем закончиться.

Для чего она, эта эстафета, забирающая все силы, но неукоснительная? Куда ведет, к какой цели? И существует ли цель?

РЭКЕТ В МАЛИННИКЕ

Отношения с малиной у меня цивилизованные. Я ее удобряю, по весне, чтобы не мешали другим, вырезаю лишние побеги. Где надо, делаю подпорки под особо урожайные ветки – кланяться земле, конечно, следует, но не так, чтобы ягоды купались в пыли...

Малина отвечает взаимностью. Благодарит урожаем. Ветки протягивают ко мне крупные рубиновые ягоды – на, бери, заработал. И все было бы гармо-

нично и по совести, если бы не комары. Эти нарушают идиллию.

Стоит зайти в малинник, как кровопийцы набрасываются со всех сторон. Трава внизу и молодые побеги служат для них засадой. Как от комаров ни отмахивайся, возьмут-таки свою дань. Я уже в избушке, ем малину с молоком или варю варенье, а места укусов еще долго зудят и чешутся.

Досада двойная. Мало того, что покусали, так еще крови даром напились. Я-то, прежде чем сорвать ягоды, сколько за кустами ухаживал!..

Видно, потому никто и не жалуется любителей «шары». Ты поработай сначала.

НА ГРАНИ

Среди холодных пасмурных дней вдруг выдастся яркая солнечная пауза – и радостно встрепенется душа, уже смирившаяся было с неизбежностью осени, а там и бесконечной зимы.

Броско зеленеет по-сентябрьски сочная трава, в солнечной тишине млеют у оград пестрые деревья. И даже черные ели вокруг деревни не кажутся угрюмыми.

Простор вокруг такой, что, кажется, взмыл бы вверх и счастливо парил над осенней тихой землей, задыхаясь от любви к этим чистым далям, пропитанному солнцем холодному воздуху, к незамысловатому человеческому житью-бытью.

Но рядом со счастьем – печаль. Потому что понимаешь, ненадолго этот умиротворенный яркий день. Завтра опять стылый ветер, дожди, бесприютность...

И оттого он еще дороже, такой день. До боли, до комка в горле.

ДЕСАНТ В ЛЕТО

День в сентябре. Холодно и ветрено. Большое солнце изредка мелькает среди быстрых облаков. Безнадежностью веет от почерневшей крапивы у забора, от огуречных плетей, недавно еще всю зеленых, буйно расплывшихся во все стороны с грядки, а сегодня – побледневших, почти желтых...

Что ж, осень. Северная, ранняя. Тоскливо вскрикнет речная чайка халей, планируя над знобкой, рябой от ветра водой. Воздух острый, предзимний.

И вдруг замечаю пушинки, бойко летящие по ветру. Откуда, почему?.. Для одуванчиков поздно, их парашютики разлетались еще в июле. Да и форма другая, эти пушинки мельче, какие-то мятые, неаккуратные.

Выхожу к обрыву над Вахом, и все становится ясно. Иван-чай, который радовал своим густым лиловым цветом пол-лета, сейчас белесо опушен вызревшими семенами. На глинистых осыпях у реки его целые заросли, и ветер поднимает вверх тучи светлых пушинок.

Смотрю на их бойкий лёт, и на душе становится теплее. Да, безотраднa осень, да, впереди полгода снегов и стужи. Но эти разлетающиеся пушинки, другие травы, молча роняющие свои семена, – обещание того, что опять все вокруг зазеленеет и зацветет. Что опять будут весна и лето, солнце и молодая радость...

В конце концов, не так уж плохо все в этом мире устроено. Не так уж и плохо.

*П*РОСТЫЕ ВЕЩИ

* * * * *

БЛАГОДАРЕНИЕ

Вот я и сам уже дед, а все вспоминаю свою бабушку Глафиру Матвеевну. Невысокая, грузная, она стоит на коленях перед образами и шепчет:

– Отче наш, Иже еси на небесех...

Позади наполненный бесконечными крестьянскими заботами день, подоена коза, закрыты в хлеву куры. Горит на столе керосиновая лампа, мы с братом (оба приехали на летние каникулы) устроились с книжками по краям стола, читаем.

Вслушиваюсь в полупонятные церковно-славянские слова молитвы и не могу взять в толк, за что бабушка благодарит Бога. День как день, скучноватый, обыденный. В Ямполе, где остались отец и мама, намного интересней – друзья, кино, купание в Днестре...

Бабушка шепчет молитву и крестится. Из-под потолка на нее смотрят непреклонные лица святых. В окладах из фольги дробится свет лампы...

Это я уже потом пойму, за что благодарение. Бабушка, потерявшая на войне мужа и пережившая много других горьких событий, благодарит Бога за самое простое. За то, что ничего плохого за день не случилось. Что жива-здорова сама и не бодем мы, ее дети и внуки. Что не голодаем, не мерзнем, что есть крыша над головой...

Обычные вещи, которые не замечаешь, когда все хорошо. И которые становятся недостижимым счастьем, если случается беда.

ОБ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ПОНЯТИЙ

Порой знакомые говорят, куда ты, мол, забрался – деревня, такая глушь! Ни театров, ни музеев, ни близких по духу людей!..

Можно подумать, они только и делают, что ходят по театрам и музеям. Статистика утверждает, больше

всего в московских театрах приезжих. Сами москвичи тяжелы на подъем. Да и многих ли обитателей сытого мегаполиса по-настоящему интересует культурная жизнь?..

Впрочем, я знакомых не осуждаю. Как-то и себя поймал на сходном чувстве. В тот раз мы пошли за клюквой. Хотя это болото и ближе к деревне, а все равно пришлось добираться не менее получаса. Редкие, какие-то недокормленные березки, высокая жесткая трава, мелкие ягоды, красные только с одного бочка...

И такая тоска, показалось мне, исходила от всего, такая глушь и заброшенность вокруг! Умер бы от неприкаянности, доведись здесь остаться навсегда. Столицей мира представилась мне в ту минуту наша деревня.

Но чем дольше я присматривался, тем слабее становилось это чувство. Ведь и деревья здесь растут, и трава, и ягоды тихо зреют. Болото совсем не кажется им тоскливой глушью, и никуда они отсюда не хотят. Более того, весь остальной мир для них чужбина, а настоящая жизнь только здесь, на болоте, и существует.

БОИ В АРЬБЕРГАРДЕ

Перед глазами до сих пор такая картинка. Перерыв между парами в Литинституте. По лестнице на второй этаж поднимается Валентина Александровна Дынник. Она читает курс западноевропейской литературы, в ней самой есть что-то от этого предмета – достоинство, благородная сдержанность, легкая ироничность...

Валентина Александровна так советовала вести картотеку прочитанного. «Рекомендую купить пачку сухого печенья, – сказала она на первой своей лекции. – Печенье можно с удовольствием съесть, а полупрозрачную бумагу, которая под оберткой, порезать на прямоугольные листочки для карточек, будут долго служить. Польза, как видите, двойная...».

Мы, люди другого поколения, переглядывались – не понимали ее усмешливой речи. Дынник переводила с французского, была дружна со многими известными людьми тридцатых-сороковых годов, в том числе с теми, кого репрессировали. Репрессирован был и ее брат, человек, по слухам, уникальных способностей. Помню старомодно изысканные комплименты, которыми Валентина Александровна обменивалась с приглашенным как-то на лекцию классиком перевода Вильгельмом Левиком.

... Наша старая профессор поднимается на второй этаж, она твердо ставит ногу на каждую новую ступеньку, лицо непреклонно. Она старается доказать, что подниматься по лестнице ей ничего не стоит, что семьдесят – это не возраст и что сдаваться она не намерена.

Не нам, молодым оболдуям, доказать. Себе, судьбе, Богу.

ПАМЯТЬ КРОВИ

– Почему Оксана? Не знаю, бабушка придумала. Она у нас была большая выдумщица, любили необычные имена. Нет, не украинка. Здесь родилась, здесь выросла...

Женщине около сорока, но выглядит она моложе. Может, потому, что крупная, налитая – этакий кустодиевский тип, когда молодят румянец и полное, без морщин лицо. Среди прочего женщина рассказывает, как в юности переживала, что нос у нее не вздернутый. У всех подружек вокруг такой, а у нее прямой и короткий. Почему – узнала позже, когда побывала по туристической путевке в Греции.

– Не поверите, хотелось упасть на колени где-нибудь у Акрополя и целовать камни. Не знаю, что на меня нашло. Казалось, я здесь когда-то жила, только забыла... Посмотрите на меня, разве я похожа на истеричку? А вот такое, потом самой стыдно было.

На истеричку она действительно не похожа – женщины такого сложения истеричками не бывают. Спокойные, рассудительные, немного замедленные. Вернувшись домой, она стала расспрашивать у старших родственников, не было ли в их роду греков.

Оказывается, были. Прадед. В конце двадцатых он приехал в наши края, женился на местной девушке, здесь родил детей, здесь и умер. Кровь, разбавленная русскими, украинцами, татарами, казалось, навсегда заглохла, растворилась в крови чужих народах.

И вот дала себя знать в правнучке. Чтобы опять на десятилетия умолкнуть, жить своей скрытной бессмертной жизнью?..

С ИЗУМЛЕНИЕМ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Видимо, это возраст. То, мимо чего раньше проходил не задумываясь, сейчас вызывает теплые чувства. Благодарностью наполняется душа, когда после промозгой улицы оказываюсь, например, в сухом уюте избушки. Ведь это надо было кому-то (когда еще ничего такого в помине не было!) придумать жилище, способное защитить человека от непогоды. Чтобы не дуло со всех сторон и чтобы не поливало сверху.

Нежно прикасаюсь к беленому боку печки. И ее кто-то придумал со всеми ее хитроумными, сохраняющими тепло ходами, поддувалом для тяги и задвигающейся вьюшкой. Мы сейчас печкой пользуемся, и еще долго люди будут пользоваться этим древним изобретением. Или, скажем, подпол. И рядышком все, под рукой, достаточно откинуть крышку и спуститься на полтора-два метра вниз. И не померзнут продукты в подполе зимой, не испортятся летом.

А часто ли задумываемся над тем, сколько понадобилось ума и терпения, чтобы изобрести обычную ткань? Ту, из чего наша одежда и многое вокруг. Ведь

это надо было сообразить переплести нити так, чтобы они образовали плотную материю, которую и постирать можно, и покрасить, и размер которой зависит от желания человека. А для этого сначала придумать кросна – станок для изготовления ткани, что само по себе остроумнейшее изобретение. Не говорю уж о том, что сначала из шерсти нужно было изготовить пряжу, а как соединить короткие шерстинки в бесконечную нить тоже не каждый мог додуматься. Еще сложнее с нитями из льна, крапивы, конопли. Шерсть готова изначально, ее дают животные, а здесь требовалось подметить, какие растения могут пойти в дело, а какие нет. Догадаться выдержать их в воде, отделить волокна от древесной основы, сделать мягкими...

Обычному, среднему уму это не под силу. И ничего удивительного, что в преданиях многих народов упоминается бог или неведомо откуда явившийся герой, который научил людей всему тому, что кажется нам теперь привычным и обыденным.

Да что жилища или одежда! С детским изумлением смотрю на обыкновенную пуговицу. Кажется, ничего проще не бывает, почти не замечаешь, когда застегиваешься. А ведь еще несколько веков назад вместо пуговиц были завязки. Попробуй справишься с ними, если пришел с мороза и пальцы не гнутся!

На каждом шагу нас окружают озарения неизвестных гениев. Имена этих людей затерялись в тысячелетиях, но придуманное ими стало кирпичиками, из которых состоит наш быт. А в конечном счете – цивилизация.

СТРАДА

Лето в этом году неважное. Однако всё тем не менее спешит, торопится отцвести, созреть, дать потомство – выполнить от века предназначенное. Вон уже пры-

гают по забору, заполошно стрекочут какие-то худые, словно мокрые сорочата. Пустили по деревне свои семена одуванчики. Нежно, упоительно пахнет цветущий шиповник, в обычное время такой неказистый, колючий.

Страда в теплице тоже. В тишине и покое наливаются помидоры. Там и тут в огуречных плетях видны желтые звезды. Цветки терпеливо ждут шмеля, пчелу, на худой конец – муху. Лишь бы перенесла пыльцу, оплодотворила, дала завязаться плоду, а с ним и семенам, этому обещанию новой жизни, ее непрерывности.

Утром открываю в теплицу дверь – и невольно отшатываюсь. Незаметная сразу паутина неприятно ложится на лицо. Быстро стираю ее рукой. Постарался паук за ночь!..

Его расчет, в общем-то, верен. Именно через проем двери попадают в теплицу насекомые. Вот паук и натянул свои тенета – надеется поживиться. Причем небезуспешно, на сохранившейся в уголке паутине несколько высохших трупиков мошек. Каждое утро я рву эти сети, а паук их всякий раз упорно восстанавливает.

У каждого своя страда.

МЕРА

Долго не могу понять, чем так хорошо пахнет.

Запах тонкий, нежный, едва осязаемый. В огороде ничто так пахнуть не может, да и рано – зелень на грядках только-только пробилась. У черемухи в палисаднике запах другой, к тому же она уже отцвела. Дело сделано, идет молчаливое таинство, завязываются плоды, так что завлекательные ароматы черемухе уже ни к чему.

Как гончая, берущая верхним чутьем, иду на запах. Это непросто – он то есть, то пропадает. Впору рыскать из стороны в сторону, как настоящая гончая, ловить в воздухе нежной ток.

Сухой древесный запах избушки, горьковатый – черемухового ствола, пресно пахнет затененная редкая трава в палисаднике... О рябине-то я и забыл! Она притулилась в конце палисадника, именно сейчас и цветет. Но напоминать, как рябина пахнет, мне не надо. Мылом. И не туалетным, ароматизированным, а зловонным хозяйственным. Однако пахнуть вокруг больше нечему, и я на всякий случай тянусь носом к одному из пышных соцветий...

Лучше бы я этого не делал. И что может привлечь в этой вони букашек, самозабвенно копошащихся в бело-зеленоватых розетках?!

Но чем дальше отхожу от рябины, тем сноснее запах. Разбавленный воздухом, он в конце концов становится приятным, приобретает изысканную пикантность, тонкость...

Все-таки великое это дело – чувство меры. Только с ним и возможна гармония.

ЩЕНОК

Он – глупейшее милое существо, жизненный опыт которого практически равен нулю. Но кусок хлеба, который ему, сытому, брошен, старательно зарывает в укромном месте. Справившись с делом, открыто, доверчиво смотрит. Нос в земле, хвост ходит из стороны в сторону, голова, как у собак бывает, клонится то вправо, то влево. На физиономии – любовь и преданность...

Откуда ему, дурачку, знать, что не всегда может быть сытно? Что возможны времена, когда будет рад корке запорошенного, пропахшего землей хлеба? Что в этом мире, жестокости которого щенок еще и в малейшей степени не испытал, ему, малому и слабому, нужно найти покровителя, хозяина, который защитил бы от напастей? И что хозяину необходимо показывать свою любовь и преданность, чтобы тронуть его сердце и обеспечить покрови-

тельство не только сейчас, но и на будущее?..

А такие простые слова – инстинкт, желание жить.

КЛЫКИ ВЫРАСТАЮТ РАНЬШЕ...

Целиком выражение звучит так: клыки вырастают раньше, чем зубы мудрости. К сожалению. И даже несчастью. Каждый раз вспоминаю его, когда слышу ерничание какого-нибудь полуграмотного мальчишка или девочки, оценивающих прошлое и его знаковые фигуры. Человек проживший не позволил бы себе говорить подобное по телевидению или в газете. Эти позволяют.

Им еще невдомек, что их используют. Молодое, по сути своей животное желание ниспровергать, отвоевывающая место под солнцем, циничные умные дяди берут на вооружение, направляя на то, что этим дядям мешает. Так было во время гражданской войны с ее жестокими юными комиссарами, потом – в коллективизацию, когда пионеры писали доносы на отцов, а комсомольцы с остервенением раскулачивали. А оголтелые хунвейбины в Китае? Их руками власть расправилась с интеллигенцией, наследницей великой культуры.

Пройдет время, у вчерашних мальчишек и девочек прорежутся зубы мудрости. Многие из них поймут, что были неправы. Особенно тогда, когда на них самих власть натравит новых молодых, глупых и клыкастых.

ДОБРОЕ СЛОВО

Оно, как известно, и кошке приятно. С недавних пор я стал нахваливать растения на грядках:

– Вот молодцы! Дожди, холодно, а они держатся. Будет, хорошие мои, вам еще и солнышко, и тепло. Потерпите, милые, немного!..

Не то чтобы я не знал об опытах ученых-ботаников

– просто решил сам проверить. Разговаривал с июньскими несмелыми ростками, как с малыми детьми:

– Ну что ты, дружок, накуксился? А вот мы сейчас удобрим тебя, сорняки с грядки выгоним. Уходите, не хорошие, не мешайте нам расти и сил набираться!..

Послушал бы кто со стороны, подумал бы: крыша у дяденьки поехала. Но вот что любопытно. Лето по-прежнему теплом не балует, а свекла, капуста, морковь заметно пошли в рост.

Можно сказать и так: просто настала пора, генная память у растений сработала. Но как тогда быть с молодым кустом смородины? Он, казалось мне, не перенес морозной зимы, не проснулся. Но я не выдернул безжизненный прутик, а каждый день разговаривал с ним.

И что бы вы думали – проснулся мой кустик, выбросил побег! Потянулся к солнцу первыми нежными листиками!..

Прав поэт. Всё в мире движется любовью.

ПРЕДОСЕННЕЕ

Июль на исходе. Казалось бы, впереди целый месяц лета, будет еще тепло и солнечно. И особые простор и благодать, которые бывают только летом, тоже никуда не денутся. А тем не менее прозрачные ранние ночи с каждым разом становятся всё темнее, всё больше наливаются тяжелой синевой. Того и гляди появятся первые звезды.

И еще. Вдруг замечаешь, что в небе над речным обрывом стало как-то тихо и пусто. Чего-то в нем не хватает. Не сразу понимаешь – это улетели стрижи. Выкормили, поставили на крыло птенцов и не мелькают больше над рекой, не слышно их голосов.

И тут с особой остротой осознаешь: лето на исходе. Не много осталось этих благодатных – светлых и просторных – дней. И таким понятным становится отчаян-

ный крик в тоске бросившегося на землю бунинского героя: «Ах, улетели журавли, барин!..»

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Вдруг среди ночи слышишь вертолет. Думаешь: час неурочный, это скорее всего санрейс. Кому-то в дальней деревне понадобилась срочная помощь, везут человека в городскую больницу.

Два чувства возникают в тебе. Это понятное сострадание к неведомому больному и еще одно чувство, более мощное и полное, – благодарности людям, нынешней цивилизации.

Сколько мы ей предъявляем претензий (и порой справедливых!), но вот нужно спасти жизнь – и поднимается в ночное небо придуманная человеком машина, ведут ее специально обученные люди. Другие люди примут больного, сделают операцию, назначат лечение – все это благодаря цивилизации. И пациент вносит свой вклад в существующий порядок вещей. В обычное время рыбачит, учит детей, добывает пушнину, работает у нефтяников...

Все мы вместе, как пчелиный улей или муравейник, где у каждого свое предназначение. И если есть в этом что-то обезличивающее, то оно перекрывается общей пользой.

Помощь друг другу и зависимость друг от друга – условие существования нашей цивилизации. Быть может, самой гуманной из всех, что были на земле. Не смотря ни на что все-таки гуманной.

ВРЕМЯ И МЕСТО

Никто за ним не наблюдает, не отвлекает разговорами (в том и другом случаях человек невольно бывает

не вполне собой), и этот сорокалетний мужик сейчас таков, каков есть на самом деле. Характер как на ладони. Мощные надбровья, безжалостный взгляд глубоко сидящих глаз, аскетически впалые щеки фанатика старовера, яростного кавалерийского рубаки или убийцы. Он бездумно смотрит на подступивший к воде тальник (возвращаемся на аппарельке в деревню), на трепещущее на воде солнце. Вполне мирная, даже идиллическая картина. Однако лицо мужика заставляет думать о беспощадных казаках-первопроходцах, об отцах-инквизиторах, о хладнокровных киллерах больших городов.

В деревне он известен тем, что не дурак выпить, в меру бьет жену и по пьяному делу любит гонять на машине – уже не раз разбивал свою «девятку».

Одним словом, ничего особого. Мужик как мужик. До поры до времени.

ДАВНИЙ СЛУЧАЙ

На Черновицком машиностроительном заводе, где я в юности работал, была одна женщина. Столько времени прошло, а сих пор помню ее фамилию – Карпова. Эта крановщица была по-своему легендарной личностью. Она обладала несгибаемым чувством справедливости и не боялась говорить правду в глаза начальству. За это Карпову на заводе уважали и не раз избирали председателем профкома.

Я тогда был молодой, собственной семьи еще не было, так что быт меня интересовал мало. Однако знал, что насчет квартиры или места в детском саду лучше всего идти к Карповой. Тетка грубоватая, но поможет, если действительно надо. Многие с ее помощью улучшили, как тогда было принято говорить, свои жилищные условия, получили садово-огородные участки или устроили детей в заводской детский сад.

И вот Карпова умирает.

Я тогда на машзаводе уже не работал, счастливый студент Литературного института, приезжал в Черновцы только на каникулы. Мама, которая на заводе работать продолжала, в один из приездов пожаловалась: «Знаешь, Карпову почти никто проводить не пришел. Семьи-то у нее не было, одинокая... Погрузили гроб на заводскую машину и отвезли на кладбище. Всего два или три человека было. А скольким помогла!..»

С возрастом я все чаще вспоминаю тот случай. Сводить все к обычной человеческой неблагодарности не хочется. Хотя, видимо, и она была. Мне кажется, главная причина в другом. Люди не видят особой заслуги тех, кто помогает добиться справедливости. Им кажется, так и должно быть – ведь они правы. Даже пословица есть: правда, дескать, сама дорогу себе пробьет.

Если бы так, если бы!..

ТЕРПЕНИЕ БУКСИРОВ

С нашего огорода Вах как на ладони. Конец июня, но вода в реке еще прибывает, все ниже становится кромка противоположного берега. Заливные луга на той стороне вполне соответствуют своему названию – покрыты мелкой водой.

Но не на это обращаешь внимание прежде всего. Суда на реке – вот предмет интереса. Ловишь себя на мысли, что за зимние месяцы соскучился по их виду.

Большие, с двухэтажной рубкой теплоходы, толкающие перед собой тяжело груженные баржи со щебнем – кажется, вода вот-вот захлестнет низко сидящие борта. Теплоходы поменьше, гонящие вверх по течению одну, а то и две аппарельки, прилепившиеся к их бортам. Какой-нибудь чумазый буксир, натужно тянущий на длинном тросе посудину с жилым вагончиком и видавшим виды бульдозером... Заказчикам не до шика,

фрахтуют любые суда, лишь бы успеть по большой воде доставить на место грузы.

Смотришь, как появляется из-за поворота реки таковой буксир, как томительно медленно, по-черепашьи двигается в твою сторону. Ты уже половину грядки успел прополоть, а буксир все еще на подходе, никак не одолеет эти несколько сотен метров.

Невольно думаешь: а ведь впереди у него сотни не метров, а километров! Какое надо иметь терпение, чтобы одолеть этот путь, его выматывающие душу медлительность и однообразие!..

Не так ли и наша жизнь? Достигает цели тот, кто последователен и упорен. Кто способен преодолеть тоску и медлительность бытия.

Терпеливые буксиры на реке – метафора жизни.

ОБЫЧНОЕ

Сидит старик, с трудом натягивает валенки. Дрожат немощные руки с пугающе проступающими под кожей костями. Прерывистое дыхание тяжело вырывается через беззубый и оттого кажущийся черным рот. Запавшие щеки давно не бриты, седая щетина похожа на примятую стерню. В глазах – полное равнодушие ко всему на свете, мертвая вода...

Тебя вдруг пронзает – а ведь и он был молодым! Азартно тискал девок, до крови, бешено вскрикивая, дрался с другими парнями. Был не дурак выпить. А когда в яруге завалился колхозный трактор, вместе с дружкой поставил его на гусеницы.

Вокруг тогда собрался народ – девки и молодые бабы тоже, – все говорили, что дело безнадежное, надо посылать в МТС за помощью. Но они с дружкой Федькой лишь перемигивались, подводили под радиатор и

кабину следи и, небрежно кривя губы, шутили. Наконец разом скинули на едва просохшую землю телогрейки и подсели под следи, со всей молодой дурной силой надавили на крякнувшее дерево...

Глухо звякнув утробой, трактор встал на гусеницы. Девки смотрели на них во все глаза, молодые бабы – с интересом, будто приценивались. И от этих взглядов, от сознания своей силы, от веселого пьяного воздуха и простора вокруг парней переполняли молодечество и счастье.

Так было. Сейчас – немощная старость, болезни, безрадостное доживание... Но не течение времени, беспощадное и неумолимое, занимает тебя на этот раз. Глядя на старика, думаешь о другом.

Есть в жизни примелькавшиеся вещи, которые отстраненно понимаешь умом. Например, то, что старик не всегда был стариком. Что раньше был крепким мужчиной, до этого – молодым парнем, еще раньше – пацаном... И вдруг будто глаза у тебя открываются. Осознание всего того, что понимал умом, проходит уже через душу, сердце.

И тогда ужасаешься обычным вещам.

ВЕРА

С юности сидит в памяти картинка. Киево-Печерская лавра, катакомбы, темные низкие переходы, выхватываемые фонариком мощи чернецов с открытыми руками – проступающие суставчатые кости обтягивает коричневая высохшая кожа...

Я в составе разношерстной экскурсии. Душно и жутковато. Особенно поражают одиночные кельи с замурованными входами. Единственный способ общения схимников с миром – небольшие отверстия, похожие на бойницы.

Экскурсовод говорит, что многие монахи проводи-

ли в своих подземных кельях годы и десятилетия. Здесь же в одиночестве, без дневного света умирали.

То, что схимники жили в постоянной темноте, без света солнца, меня поражает особенно. Прикидываю на себя и понимаю – нет, не смог бы. И, молодой, двадцатилетний, думаю, что лучше уж смерть.

Это же какую надо иметь силу воли и какую веру, чтобы жить так!.. О том, каким должен быть замаливаемый грех, не думалось.

ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ

Папа уже болел. После операции его привезли на родину, в Дзыговку, где жила бабушка. Обычно полный, папа за месяцы в больнице очень похудел, медленно ходил с палочкой – плохо слушалась правая сторона. Мог часами в одиночестве сидеть на «долыне» – так называлась дальняя, у речушки, нижняя часть бабушкиного огорода.

О чем он, бедный, тогда думал, столько всего перенесший за последнее время?..

Настоящего выздоровления не наступало. Папу мучили головные боли, приходилось все время принимать таблетки. С речью было неважно, папа с трудом, нечисто говорил. Ему не хватало слов, и он здоровой рукой показывал, как ему нехорошо. Мы, конечно, жалели его и во всем помогали. Но здоровые не могут взять на себя даже часть боли близкого человека, как бы ни любили его.

Бывали дни, когда папе становилось лучше, ему удавалось что-то внятно сказать. Случалось это не так уж часто, наверно, потому некоторые фразы запомнились мне. Стоял июль с частыми дождями, погожих солнечных дней было мало, наконец выдался один из них. «Завтра по радио опять обещают дождь», – подо-
садовала мама. У папы мучительно напряглось лицо,

он хотел что-то сказать. «Один хороший день – тоже хорошо», – получилось наконец у него.

Перенесший многие страдания, он, думаю, вкладывал в эту фразу значительно больше ее прямого значения. И когда я ловлю себя на желании постоянной радости и счастья от жизни, вспоминаю эти слова.

НОВОСЕЛЫ

Голуби – птица городская. Как-то привычней их видеть расхаживающими возле лавочек с пенсионерами, которые бросают хлебные крошки и семечки. Или греющими лапы на канализационных люках, если на дворе зима.

А вот в деревнях я голубей видел только однажды. Их хозяин жаловался, что нужен глаз да глаз, чтобы уберечь птиц. Стоит голубю зазеваться, как он оказывался в когтях ястреба, которых в окрестных лесах хватает.

Недавно в наше село кто-то завез несколько голубиных пар. А может, они сами залетели. Скорее всего, так и было, потому что поселились птицы не в специально сколоченной голубятне, а вольно, на чердаке многоквартирного дома. Первое время я опасался – не стали бы эти безобидные симпатичные птицы добычей хищников. В деревне это не только ястребы, но и кошки.

Однако прошло лето, а число голубей не только не сократилось, но и прибавилось – появился молодняк. Совсем как в городе, сердобольные обитательницы многоквартирного дома стали подкармливать их. Не обошлось, конечно, без вездесущих сорок. Стоит людям, отряхнув ладони, уйти, сороки тут как тут. Шныряют среди неповоротливых голубей, выхватывают из-под носа, точнее – клюва, крошки... Деревенская специфика. В городе сороки голубям конкуренцию не составляют.

Может, благодаря людям голуби и пережили суровую зиму. А на днях под окном на солнечной стороне я услышал такие знакомые звуки, от которых почти отвык за годы жизни в селе, – воркование.

Чтобы не испугнуть, подходить к окну не стал. Просто представил, как похаживает, крутится голубь вокруг голубки, говорит на своем языке что-то невразумительное, сбивчивое, влюбленное – ей такое необходимое и желанное... Весна!

ПОТОМУ ЧТО ПОРА...

Смотрю на опадающие осенние деревья, которых с каждым днем становится все больше. И на ум приходит прочитанный в детстве рассказ.

Там мальчик уговорил отца выкопать и перенести в дом любимую березку. Мальчику не хотелось, чтобы листья на ней пожелтели и опали. Он хотел, чтобы и зимой радовала их шелковистая зелень.

Отец нашел подходящий бочонок, осторожно выкопал березку, пересадил и занес в теплый дом. Мальчик был счастлив – не побьют теперь листья утренники, не сорвут их холодные ветры! Всю зиму березка будет стоять зеленой и нарядной!..

Но однажды утром он с обидой увидел, что березка пожелтела, как и ее подруги на воле...

Сейчас уже не помню, к чему подводил читателя автор рассказа. Возможно, воспитывал чувство коллективизма, столь пропагандируемое в те времена. Мол, нельзя быть наособицу от других. Надо делить со всеми общую судьбу. Даже если она и горькая.

Сейчас, зрелым умом, понимаешь, что иначе не бывает. У всех одна участь. Рождаемся, любим, хороним родителей, радуемся внукам... И так – по кругу, поколение за поколением. А если и бывают отклонения, то незначительные, случайные, извечного порядка не меняющие.

И все же живет, живет в каждом из нас тот мальчик из рассказа, желающий изменить этот порядок, задержать время! Наивный, милый...

Золотым нежным светом горят березы. Далеко видны бордовые осины в лесу. Роняет перезревшие сморщившиеся ягоды почти облетевшая черемуха в палисаднике...

Потому что пора.

ИЗБЫТОЧНОСТЬ

Вижу отцветшие, во всю пушащиеся одуванчики – и поражаюсь: как все-таки расточительна природа! Миллионы белесых парашютиков разлетаются по деревне. То же с тополиным пухом, устилающим в июле городские улицы, со многими другими растениями. С человеческим семенем, наконец.

Но тут же и мысль: это расточительное изобилие оттого, что природа старается подстраховаться. Ведь сколько пушинок погибнет, не прорастет. Попадут на бесплодный песок, на асфальт, на воду, затопчутся людьми, скотом – да мало ли.

И все же в душе поражаешься такой избыточности. Все доводы логики бессильны.

СТАДО

Пожалуй, одни из самых глубоких художественных произведений – сказки. Как ни странно это звучит. И даже не столько народные, сколько авторские. Не перестаяю, например, удивляться уму автора «Голого короля». Так проникнуть в массовую психологию дано не каждому.

Тусовочный народ (а тусовки в том или ином виде были всегда) настолько боится прослыть неподвину-

тым, что готов восторгаться любимыми модными проходимцами. Примеров в истории сколько угодно, особенно – в искусстве.

Что как не шарлатанство «Черный квадрат» Малевича? Или эпатажные опусы нашего современника Сорокина, по своим данным вполне посредственного литератора?.. Нет же, «знатоки» находят в них глубины, а туса, боящаяся доверять собственному вкусу (если, конечно, он у нее существует), с умным видом кивает и поддакивает.

Андерсоновский мальчик в конце концов все ставит на свои места. Чаще всего в его роли – Время.

ГОЛУБИНАЯ ИСТОРИЯ

Оказывается, у миниатюры о деревенских новоселах – голубях есть своя предыстория. О ней, прочитав мою миниатюру в газете, поведала одна из жительниц села. Предыстория эта романтична и заставляет что-то дрогнуть в сердце.

По словам женщины, первую пару в Большетархово привез городской парень. Ему нравилась дочь рассказчицы, и он решил подарить ей голубей. Возможно, как намек на желательность отношений, которые бывают между этими безобидными нежными птицами. А может, как символ возвышенной любви, поднимающей нас над землей, тянущей в небо.

Что именно вкладывал в свой подарок тот неизвестный городской парень, утверждать точно не берусь. Очевидно одно: подарок необычный и со смыслом. Но жизнь по-своему расставляет акценты, она далеко не всегда романтична. Отношениям между парнем и дочерью рассказчицы не суждено было вылиться во что-то более значимое, чем ухаживание. Сейчас у девушки своя семья. Да и городской парень, думаю, не остался одиноким. И он, и она, хочется верить, счастливы.

И все же мне становится немного грустно, когда вижу возле дома голубей. Рассказанная односельчанкой история – это по сути о каждом из нас. К сожалению, не реализуется молодое чувство, самое нежное и светлое в нашей жизни. Не дано первой любви воплотиться во что-то долговременное, не говоря уж о постоянном, навсегда.

И ничего с этим не поделаешь.

ОБЩЕЕ МЕСТО

Десятки раз слышал фразу: мир принадлежит молодым. И вот недавно в очередной раз попадаю по телевизору на довоенный еще фильм «Серенада солнечной долины» с оркестром Гленна Миллера.

Легкие жизнерадостные мелодии, искрящийся снег, ловкие лыжники двадцати с небольшим лет, невероятные трюки, которые то ли в ресторанчике, то ли в солнечно ярком баре выдают два юрких негра-танцора...

Мир и в самом деле принадлежит молодым! И никакая житейская мудрость, никакая власть над другими, никакие деньги не дают такой полноты чувств!..

ЛЮБИТЕ ИСКУССТВО, ГОСПОДА!

«... Ввиду того, что Вы, Ваша Светлость, принадлежа к числу вельмож, столь склонных поощрять изящные искусства, оказываете радушный и почетный прием всякого рода книгам, наипаче же таким, которые по своему благородству не унижаются до своекорыстного угождения черни, положил я выдать в свет Хитроумного идалго Дон Кихота Ламанчского под защитой достославного имени Вашей Светлости и ныне с той почтительностью, какую внушает мне Ваше величие, молю Вас принять его под милостивое свое покровительство...»

И так далее – еще с десяток строк изысканно-веле-речивого текста.

Господи, думалось мне в молодости, зачем самоуничижался Сервантес перед каким-то вельможей?! Он, великий писатель, – и так прогибался перед надутым грандом в гофрированном воротнике и широкополой шляпе с перьями! Где, в конце концов, его испанская гордость?!

Став постарше, я с грустью понял, что художнику – писателю ли, живописцу, актеру – приходится искать покровительства у сильных мира сего. Ведь что такое наше искусство? Эфемерность. Настоящая власть в руках других. Людям искусства приходится угождать им, чтобы заработать на кусок хлеба. Какие уж тут достоинство и гордость. В большинстве случаев они только поза.

В последнее время мне все чаще думается о другом. Кто знал бы сейчас, спустя столетия, об этом герцоге Бехарском, маркизе Хибралеонском, графе Беналькасарском и прочая, прочая, если бы не Сервантес? Посвящение ему «Дон Кихота» вырвало имя испанского гранда из забвения, в которое канули и более известные в свое время имена.

Любите, любите искусство, господа!..

С НАТУРЫ

* * * * *

МУРАВЕЙ

Он большой, темно-коричневый, лоснится в дневном свете продолговатое хитиновое брюшко. На большой земле такие муравьи неторопливы, вальяжны и напоминают солидных отцов семейств. Одним словом, отличаются от мелких собратьев не только размерами.

А этот суетливо бегаёт по дощатому настилу, заглядывает в щели, быстро прядает усиками. От него шарается другая живность, пауки и присевшие передохнуть комары. Муравей то ли ищет, чем поживиться, то ли вход в свою норку потерял.

Я его поведение не одобряю. Ведь можно делать всё это более достойно, неторопливо. Экое несоответствие формы и содержания. Вернее, размеров и поведения.

Но тут же ловлю себя на мысли: это на большой земле можно благодушествовать. Там и лето как лето, и весна с осенью длинные. А у нас все надо успеть за несколько теплых недель. И норку поправить, и запастись на зиму провиантом, и о потомстве подумать...

Трудись, дружок. Надо.

ПРЕДПРИИМЧИВАЯ БУРЕНКА

Гении бывают не только у людей. И среди животных встречаются уникамы. Где-то я читал, то ли в двадцатые, то ли в тридцатые годы в Германии жил гениальный пес. Он научился печатать на машинке и таким образом сообщал хозяину о своих желаниях.

Не знаю, насколько это правда. А вот в нашей деревне, как мне рассказывали, была удивительная корова. От других она отличалась тем, что могла попасть в любой двор.

Ведь как селяне защищают огороды от потрав? Забором и хорошим крючком на калитке. Так вот, бурен-

ка догадалась приподнимать рогами калитку, крючок соскакивал – и заходи, делай что хочешь.

А ей много не надо было. Предмет буренкиных вожделений – сочная картофельная ботва. Понятно, не отказывалась она и от того, что росло на грядках. Не всякий раз хозяева сразу замечали, что по их огороду ходит корова. И если бы только одна. В открытую калитку заходило порой все стадо. Случалось, люди спохватывались, когда спасать на огороде уже было нечего.

Не знаю, как закончил свою жизнь гениальный немецкий пес. А вот гениальная большестарховская буренка... Но не будем о грустном.

БЕЛОМОР

Так Никита окрестил нашего кота. Почему – неизвестно. Я бы его назвал Джентльменом. Он и вправду напоминает английского аристократа. Я никогда не видел его вышедшим из себя. Кот неизменно сдержан и корректен. Даже тогда, когда сын заставляет его лечь на спину, закинуть передние лапы за голову, а задние положить одна на другую. Поза, прямо скажем, для кота экстравагантная.

Но Беломор самообладания не теряет и в такой ситуации. Единственное, что заставляет его забыть о чувстве собственного достоинства, это запах рыбы. Тогда кот принимается тереться о наши ноги, трубой поднимает хвост, просительно мяукает и заглядывает в глаза.

В остальном же – истый аристократ из старинного рода. Он даже туповат, как это случается с представителями вырождающихся родов. Может, например, часами смотреть на блюдце с молоком, решая, полакать или не стоит. К тому же Беломор никак не в состоянии усвоить, что спать надо в ногах у хозяев, а не лезть обязательно на подушку.

Впрочем, случай, о котором пойдет речь, заставил меня усомниться в тупости нашего кота.

Как-то я сидел на кухне, читал и вдруг краем глаза уловил движение в углу. Между кошачьим блюдцем и засохшим куском хлеба сновала мышь с вытянутой, как у крота, симпатичной мордочкой. Приподнявшись на задние лапки, она опиралась передними на край блюда, пила из него, потом опять скользила к хлебу...

Не знаю почему, но я почувствовал к ней расположение. Может, потому, что мыши нашей семье особо не досаждали, продукты не портили. А может, потому, что я представил, как в темном тесном пространстве где-нибудь между бревнами сосредоточенно трудится, грызет неподатливое дерево маленький теплый комочек. Ведь для чего-то живет, трется шерсткой о стенки бесчисленных ходов, наверно, бывает счастлив...

У печки дремал Беломор. Услышав шебаршание, приоткрыл глаза. Представляю, какие чувства обуяли нашего джентльмена. Мышь покусилась на его еду! Это был плевок в лицо, кровное оскорбление!..

Что удержало кота от немедленной расправы, не знаю. Видимо, он был сыт. А может, почувствовал мое настроение. Кошки бывают удивительно чутки к состоянию людей.

Как бы там ни было, я решил кота поощрить за выдержку. Когда мышь нырнула за плинтус, достал из холодильника кусок рыбы и дал ему. Оба мы, как говорится, испытали чувство глубокого удовлетворения. Я потому, что осталась в живых эта малая искорка жизни, – мышь. А Беломор, разумеется, от рыбы.

С тех пор это стало чем-то вроде ритуала. По вечерам мне особенно было уютно читать на кухне, если время от времени слышалось шуршание и из-за плинтуса выглядывала продолговатая, похожая на кротиную мордочка.

Я исподтишка следил, как короткими порывистыми движениями мышь обследовала угол, отыскивала что-

то для себя съедобное и принималась быстро работать зубами. Кот, если он находился в это время на кухне, каждый раз получал от меня за лояльное поведение кусок рыбы.

Однажды, когда я сидел за письменным столом в комнате, Беломор принялся тереться о мои ноги и призывно мяукать.

– Ну чего тебе? – Я был недоволен. Беломор меня отвлекал.

Однако кот не отставал. Всем своим видом показывал, что нужно подняться и куда-то идти. Чертыхнувшись (все равно уже не работа!), я встал и двинулся за ним. Беломор привел на кухню и остановился в дверях. Он дергал кончиком хвоста, оглядывался на меня и словно говорил: «Видишь?..»

В углу, забыв о всякой осторожности, хозяйничала мышь.

«А я ее, заметь, не трогаю, хотя это очень тяжело – инстинкт, сам понимаешь... – было написано на кошачьей физиономии. – Рыбы дашь?»

Я рассмеялся. Сообразительный, оказывается, у нас котяра! Быстро разобрался, за что рыбой балуют. А я его тупым считал!..

Но смеялся я недолго. А если у нас разведутся мыши, подумалось мне, и Беломор примется будить меня по ночам? Станет подводить к каждой норе, откуда будут торчать усатые мордочки. «Видишь, хозяин, я их не трогаю... Рыбу давай!»

ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ

Отношения нашего пса Мэрки с соседскими собаками безоблачными не назовешь. Стоит ему появиться за калиткой, как они тотчас набрасываются. В этих свалках Мэрке, как правило, достается.

Он для соседских собак чужак, причем вдвойне. Во-

первых, живет в другом дворе. А во-вторых, большую часть времени сидит на цепи. Так что в сближающих собачьих тусовках он участия не принимает.

За исключением зимы. Держать в морозы пса на привязи у меня, что называется, рука не поднимается. Свобода – другое дело. Бегая по деревне, можно согреться. Не говоря уж о других собачьих радостях, без которых жизнь мало что значит. Не все же время приходится отбиваться от других псов...

Но наступает весна, и Мэрку опять приходится сажать на цепь. Пес он, в общем-то, неглупый, однако никак не может усвоить – топтать грядки крайне нежелательно. Наши увещевания ни к чему не приводят.

– Ску-у-чно!.. – заводит первое время Мэрка. И, гремя цепью, пытается освободиться от ошейника.

– Тоска-а-а!.. – откликаются соседские собаки через дорогу.

Они тоже теперь на привязи. Их хозяйева, как и мы, беспокоятся за свои грядки. Соседским собакам особенно тягостна неволя, потому что непривычна. Практически круглый год они бегают на свободе.

– Ску-у-чно!..

– Тоска-а-а!..

Редкостное единодушие заклятых врагов.

И ВОТ ТАКАЯ ВЕСЕННЯЯ ПРИМЕТА

Зимой их не слышно. Может, потому, что близко к окну не садишься – как щели ни затыкай, все равно от окна тянет. А в марте то и дело начинаешь подходить к стеклу, посматриваешь на занесенные снегом грядки и прикидываешь, где что через месяц-другой посадишь.

Тут-то и слышишь непрерывные, тихие и частые, будто ход ручных часов, звуки. Они едва уловимы. Чтобы различить их, в избушке нужна тишина – ни включенных радио, ни телевизора. Это начали рабо-

ту жучки-древоточцы – шашли, как называла их моя украинская бабушка Глафира Матвеевна.

Дробят древесину подоконника и рам своими неутомимыми челюстями, проделывают в них круглые, будто шилом проткнутые, дырочки. А то вдруг обнаруживаешь на крашеной поверхности подоконника самого жучка-шашеля. В движениях его недоумение. Он тычется в разные стороны, словно наталкивается на невидимые преграды. Жучок явно не понимает, зачем инстинкт выгнал его из тесного родного тоннеля, куда ведет. За первым жучком появляется еще один, потом третий, четвертый...

Может, усмешливо думаю я, у них настала пора весенней миграции. Почему бы и нет? Мигрируют же, почуввав весну, птицы, рыбы, животные. И что с того, что все путешествие жучков составит десяток-два сантиметра. До неосвоенного зубастыми собратьями куска подоконника.

КТО СКАЗАЛ, ЧТО РЫБА ДОРОГАЯ?..

В теплый мартовский денек едем с Виталием ставить сети. Гудит «Буран», я и Никита лежим в прицепной коробушке. Рядом – пешни, широкая лопата, чтобы откидывать снег, другой необходимый инструмент.

Коробушку немилосердно трясет. Почти на уровне глаз бежит вдоль низких бортов снежная целина. Далеко позади остался увязавшийся за «Бураном» наш пес Мэрка и лишь порой мелькает едва различимой черной точкой на белом фоне.

Нам с Никитой беспокожно и радостно. Первый раз едем ставить сети, да еще под лед. Это для Виталия такое дело привычно – он коренной деревенский житель. Мы с сыном недавние горожане. Если и рыбачим, так только летом, и то на удочку.

Слева прошла Шаманская гора. Из деревни она ка-

жется выше и как-то значительней. Будто крутая спина всплывшего из пучины кита, фонтаном над которой геодезическая вышка. Из коробушки все проще, обыденней. Едем дальше. Места вокруг уже незнакомые, под стать погоде – хмуроватые, неприветливые. Да и затянувшаяся тряская дорога притушевывает радостное предвкушение.

Наконец, приехали. Виталий заглушил «Буран», ходит по снегу, прикидывая, где долбить первую лунку. Из его объяснений понимаю, что мы не на самом Вахе, а на старице (по-местному – соре), и потому важно сразу попасть на глубокое место. Не будь снега, почти сравнявшего берег и лед, сделать это было бы просто. Но сейчас многое зависит от удачи.

Первая лунка идет легко, играючи. Большими угловатыми кусками отскакивает под пешней толстый лед – сначала желтый, потом все более и более прозрачный. Попеременно выгребаем металлическим сачком ледовое крошево, отбрасываем в сторону. Вес сачка и пещни почти не чувствуется. Разогреваются, просыпаются мышцы, ликующе втягиваются в работу – хорошо!..

Вот уже и зеленоватая вода забила родничком из первой сквозной пробоины, заполняет лунку. Но тут на лице Виталия замечаю смущение. Пешня упирается в дно. Мелко. Значит, не подведешь под лед шест, который должен тянуть за собой веревку с сетью. Надо бить еще, отступив от берега подальше.

Никита расчищает снег на новом месте, и мы с Виталием опять начинаем попеременно долбить лед. С сожалением оглядываюсь на прежнюю лунку. Это даже не лунка, а целая полынья. Иначе нельзя – шест не пройдет. Столько работы пропало! Что ж, первый блин.

Комом оказывается и второй блин. Слишком низкой была вода в Вахе осенью. Делать нечего, долбим третью полынью. Я разогрелся, сбрасываю куртку и перчатки, мне даже начинает казаться, что от меня валит пар. Прежней легкости уже нет, но и особой усталости

не чувствуется. Долбим лунку и шутливо рассуждаем по поводу происхождения слова «сачковать». Уж не рыбаки ли его придумали – выгребать железным сачком ледовое крошево несравнимо легче, чем работать пешней.

С вытянутым красным языком появляется Мэрка. Упорный, бродяга! Несколько минут пес устало отдыхает, часто ходят его бока, высунутый язык кажется необыкновенно длинным. Затем пес принимается заинтересованно нюхать наполнившую лунку воду. Она, должно быть, пахнет рыбой. Мэрку этот запах волнует

Все чаще приходится отдыхать и мне. Сила удара пешней уже далеко не та, с каждой новой лункой кажется, что лед становится толще и неподатливей. В голову приходят мысли о нехватке кислорода, что, говорят, характерно для Севера. А тут еще ладони вдруг стало саднить. Смотрю на них. Оказывается, я не только умудрился набить мозоли – они уже и лопнули...

Когда наступает черед заводить под лед сеть, мы успеваем несколько раз вспотеть и снова высохнуть. Еще бы, почти полтора десятка лунок пробили в полуметровом льду! Единственное, что не высыхает, так это ноги. На Виталии нырики, а на нас с Никитой обыкновенные валенки, которые жадно впитывают расплзающуюся из лунок воду. Ощущение такое, будто в обуви по куску льда.

Все трое устали, молчим, почти не разговариваем. Лишь Виталий время от времени замечает, что нам еще повезло с погодой. Будь мороз, заводить сети было бы намного тяжелей. Их надо расправлять, а порой и распутывать, что лучше делать голыми руками... Даже Мэрка утомился, перестал нюхать воду и поскуливать. Улегся на снег калачиком и дремлет, прикрыв хвостом нос.

...Возвращаемся в деревню, когда уже начинает смеркаться. Коробушку трясет, но мы с Никитой этого не замечаем. Мышцы устало мозжат, поднывают, и как

хорошо, что больше не нужно двигаться. Лежать бы вот так и лежать. Никаких других желаний. Ну, разве что борща бы горячего и стопку-другую – с устатку и для профилактики...

Когда через несколько дней приезжаем проверять сети, в них оказываются две небольшие щучки. Мы с Никитой разочарованно переглядываемся. Затраченные усилия явно не соответствуют результату. Однако Виталий считает, что две щучки – не так уж и плохо. Тем более что в следующий раз улов может оказаться больше.

Дай-то бог. А то придется искать для сетей новое место, опять долбить лед. Некстати вспоминаю, как месяц назад отказался купить рыбу. Она мне показалась дорогой.

Погорячился. Теперь это я ох как понимаю!..

СИТУАЦИЯ

Среди многочисленных слабостей нашего пса Мэрки есть и такая. Он любит, когда ему чешут живот. Уляжется на бок возле будки, намекаяще поглядывает на меня и даже лапы слегка приподнимет – почеши, дескать.

Это у него с детства. В летние дни Мэрка мог часами валяться на солнце, подставив ему свое голое щенячье пузо. Как здесь устоишь, не подойдешь и не начнешь, ласково и насмешливо приговаривая, гладить это пузо, тугое и гладкое. Нас всегда тянет к началу жизни – к щенкам, котяткам, маленьким детям...

Мэрка уже вступил в пору собачьей мудрости. Ему девятый год. Но он по-прежнему любит, чтобы чесали живот. Я подхожу, присаживаюсь на корточки, разведенными на манер расчески пальцами ерошу шерсть на брюхе. Вполголоса приговариваю:

– Как не стыдно, такой большой пес...

В последнее время я стал замечать – что-то в Мэркином поведении изменилось. Приятной процедуре животочесания он предается без прежнего энтузиазма. Живот подставляет, но при этом посматривает на меня как-то снисходительно, понимающе.

С чего бы это?..

Черт возьми! – вдруг осеняет меня. Мэрка думает, что доставляет мне удовольствие, позволяя чесать свой живот. Я считаю, что доставляю удовольствие ему, а он – что мне!.. Вот такие мы деликатные.

ХИТРАЯ СЕВЕРНАЯ ГЕОГРАФИЯ

– Ты знаешь, где восток находится? – спрашиваю я у соседского мальчишки.

– Ну, – говорит он. – Там, где солнце всходит.

– А где солнце всходит?

Мальчишка долго не думает.

– Вон там! – машет он рукой вверх по течению Ваха.

– Когда в школу иду, вижу.

– Хорошо, это сейчас, весной, – не отстаю я. – А зимой?

– Зимо-о-й... – тянет мой малолетний знакомый. – Зимой еще темно, когда я в школу иду.

– Но потом солнце все же всходит. Где?

Мальчишка молча кивает на вышку релейки. Он несколько озадачен. Релейка едва ли не под прямым углом по отношению к месту, где солнце поднимается теперь.

– Странно, – говорю я. – Получается, зимой восток в одном месте, весной – в другом... А где солнце летом поднимается, знаешь?

Мой собеседник чувствует очередной подвох и поэтому отвечает уклончиво:

– Летом я в это время еще сплю.

– Вон там, – показываю я на Шаманскую гору. Она намного левее места, где солнце всходит сейчас. И тем

более левее места, где оно встает зимой. – Летом солнце поднимается почти там, где заходит. Почему так?.. Представь, заблудишься в лесу, тебе нужно будет сориентироваться по солнцу. А как ты это сделаешь, если точно не знаешь, где восток?

Мне хочется, чтобы соседский мальчишка сказал, это, мол, только на экваторе точка восхода солнца круглый год строго на востоке, а захода строго на западе – географию-то в шестом классе уже проходят. А у нас Север, здесь многое по-другому. Полярного дня, правда, не бывает, но белые ночи есть. Все из-за солнца, которое летом поднимается очень рано и почти на севере...

– А компас для чего? – находится мой собеседник. – Компас точно покажет, где какая сторона света. Так что не заблужусь!..

И, довольный своей находчивостью, с достоинством удаляется.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Перефразируя Булгакова, он испортил не только людей. Недавно наблюдаю такую картину. От обрывистого берега, где круглый год зелено кудрявятся кедры, поспешно летит взъерошенная ворона. Ее преследует, возмущенно стрекоча, сорока.

Во всем виде вороны, в ее тяжелом, каком-то не-ряшливом лёте – вороватость. Ворона чувствует, что разоблачена и опасно крутит головой. А вот сорока – сам праведный гнев. Она пикирует на тихходную противницу и пытается побольнее долбануть.

Всю долгую зиму сорока мерзла в своем гнезде на кедре, а теперь, понимаете, появляется какая-то южанка и претендует на ее жилплощадь. Нахалка!..

А может, и не гнездо хотела занять ворона. Они ведь большие охотницы до чужих яиц. Не исключено, что ворона пыталась разорить сорочью кладку. Отсюда, возможно, и возмущение белобокой.

А вот воробья точно подвело желание занять чужое жилье. Он, как и ворона, на зиму откочевывал на юг, а когда прилетел обратно, устраивать собственное гнездо поленился. Решил основаться в одной из норок стрижей, которые те вырыли в речном берегу.

Появившимся вскоре стрижам это не понравилось. Густо мелькая в воздухе, они чуть ли не всей колонией пытались выжить воробья. А тот, распушив перья, чтобы казаться побольше и пострашней, уселся в устье норки и отважно отбивался от хозяев.

Тем в конце концов такое нахальство надоело. Помелькав у норки еще какое-то время, они принялись носить комочки глины и заделывать вход.

Воробью бы бросить свою затею, убраться подобру-поздорову. Но упрямство помешало. Так стрижи и заделали норку вместе с бедолагой.

КОМАР

Во всем его виде – алчность. Суетливо топчется на руке, перебирает членистыми длинными ножками, пробует погрузить хоботок то в одном, то в другом месте.

Судоржная жадность сквозит в длинных ворсистых усиках, в прижатых к спине радужных крылышках. Наконец, нашел. Хоботок идет вниз, вслед за ним опускается хитиновая голова со сферическими бессмысленными глазками. В какой-то момент комар замирает и становится похож на уткнувшуюся в землю нефтяную качалку.

Видно, как полнится темной кровью его полосатое брюшко, как сгибаются в коленках тонкие ножки, не в силах выдержать прибывающую сладостную тяжесть.

Присосался. Хозяин. Блаженствует.

И почему-то считает, что ничего ему за это не будет.

ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ

Как вы думаете, чем деревенские кошки отличаются от городских? На первый взгляд, вопрос странноватый. В самом деле, чем они могут отличаться? Те и другие не упустят случая поймать мышь, любят приласкаться, обожают рыбу... И уж тем более одинаково выглядят. Разве что городские более ухоженные.

Я тоже так думал, пока не перебрался в деревню. Сейчас покажите мне кошку, и я скажу, откуда она. Научил меня этому наш Беломор. У него полукруглые уши и короткий – короче, чем у большинства собратьев, – хвост. Таких кошечек в городе я что-то не встречал.

А все любовь к улице. Порой за окном такой мороз, что лишний раз из дома нос не высунешь, а Беломор сядет под дверь и принимается настойчиво мяукать.

– Ты джентльмен горячий, спора нет, но ведь не весна, не март, – пытаюсь образумить я кота. – Сидел бы лучше дома!

Но на Беломора мои увещания не действуют. По-прежнему упорно мяукает. В такие моменты даже кусок рыбы не может его отвлечь. В конце концов я машу рукой:

– Бог с тобой, иди! – И открываю дверь в тамбур, а потом на улицу.

Несмотря на мороз, кот может пропадать сутки, а то и больше. Где он все это время находится, сказать не берусь. После первой такой экскурсии он вернулся домой с обмороженными кончиками ушей, которые со временем отпали, сделав уши полукруглыми. И ладно, если бы только это. Однажды, сильно озадачив моих домашних, у Беломора отвалилась добрая треть хвоста...

Уж такова цена зимних прогулок.

ПУТЬ СОМНЕНИЙ

У близорукого человека есть одно несомненное достоинство – очень хорошо видеть вблизи. Достаточно снять очки и поднести мелкий предмет к глазам. Лупы не надо.

Вот и я внимательно рассматриваю крохотного жучка, ползущего по поручню аппаратки, которая везет меня и односельчан в деревню. Внизу за бортом лепечет вода, тальник вдоль берегов стоит в ней по пояс, а жучка на поручне обуревают сомнения. Он проползет несколько сантиметров, постоит, в нерешительности шевелия усиками. Потом повернет обратно, опять растерянно постоит...

Надкрылья у жучка коричневые, цветом похожи на шелуху кедровых орешков. Они шершавые на вид, в едва заметных золотых блестках. Такое впечатление, что надкрылья в солнечной пылице. Жучок время от времени шевелит ими, приподнимает, и тогда показываются почти прозрачные, напоминающие тончайшую папиросную бумагу крылья в темных прожилках.

Но взлетать жучок не спешит, все чего-то ждет. Вот опять смыкает створки надкрылий, неаккуратно оставив снаружи белесые, медленно уходящие внутрь концы. В замешательстве трет одна о другую лапки, шевелит коленчатыми усиками...

Ждет ветерка? Но ток воздуха на движущейся аппаратке достаточный. Может, поднять его выше?.. Я подставляю палец, дожидаясь, когда взберется жучок, и поднимаю палец вверх.

Нет, не летит. У него какие-то свои соображения.

Даю сползти жучку опять на поручень. Надеваю очки, смотрю по сторонам... Не дай Бог оказаться в этой разлившейся на сотни метров холодной июньской воде! Человеку страшно, а что говорить о крохотном существе. Лапкой дрыгнуть не успеет, как пойдет на корм рыбам.

Да уж, тут подумаешь, прежде чем решиться покинуть поручень. Цена ошибки – жизнь, как любят говорить авторы триллеров. И с этим не поспоришь.

ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА

Деревенский мужичок. В меру хитроватый, в меру простодушный. Встречаемся в переулке, он куда-то направляется.

– Ты представляешь, весь огород окучил! – радостно, словно сам себе удивляясь, говорит он. От него слегка пахнет водкой. – В семьдесят-то лет! Сам! Один! У бабки моей с ногами проблема, ты знаешь...

Обычно он не очень говорлив, не всегда поздоровается, а тут принимается подробно рассказывать, как хотел приватизировать дом, который ему, ветерану, построили на деньги из районного бюджета, а оказалось, нужно столько всяких справок собрать. И туда пойдешь проси, и сюда... Боится, что не выдержит, психанет и пошлет всех.

Это так понятно, десятки раз встречалось, и я спрашиваю о том, что интересней. Не видел ли он на днях гусей. Конец июня, а они только летят на север. Когда им птенцов выводить, ведь лета не так много осталось...

Оказывается, он тоже видел несколько клиньев. Низко летели, лапы различить можно.

– Теперь жди какой-нибудь херни, – понижает голос и подается ко мне лицом мужичок. – Это тебе не просто так, точно что-нибудь будет!..

Спрашиваю:

– Почему обязательно плохое? Может, к хорошему?

Мужичок на шаг отступает, смотрит с насмешливым отчуждением.

– Ага, подставляй карман шире! Дождешься от них!..

Кто «они» – не уточняет.

ГОРОД, КАРТОШКА, ОЧЕРЕДЬ...

Вижу из окна: на площадке между домами стоит грузовик с высокими бортами, а возле него полный мешок и несколько согбренных фигур. Продают картошку. Отыскиваем в кладовке большую черную сумку, и я спускаюсь во двор. Картошка в доме на исходе.

Весна, начало апреля, но с утра идет быстрый мокрый снег, с крыш громко капает на оцинкованные отливки под окнами. Иду по чьим-то мокрым, черным на белом снегу следам к машине. Картошкой торгует молодой мужик в сапогах, черной кожанке и в черной же кепке-восьмиклинке. Помогает ему говорливая пожилая женщина, видно, мать или теща. Пока жду своей очереди, сбоку подходит какая-то бабка.

– Почем картошка? – спрашивает она и заранее поджимает губы.

– Четыре на рубль...

– Двадцать пять копеек! – недовольно перебивает помощницу молодой мужик. «Четыре на рубль» ему не нравится. Он накладывает в подставленные сетки добрую – видно, из деревенского погреба – картошку, затем взвешивает, зацепив за крючок пружинных весов.

– Дорого, – говорит старуха с поджатыми губами. – Вы б еще три на рубль продавали.

– Хе! – выпрямляется молодой мужик и с неопределенным выражением смотрит по сторонам. Лоснятся его мокрые от тающего снега куртка и кепка-восьмиклинка. – Весной и два на рубль можно!..

– И семьдесят копеек за килограмм можно, и во семьдесят, – медленным упрекающим голосом говорит старуха. Она смотрит в мешок, из которого набирают покупателям (мешок стоит на брошенной на землю соломе), на картошку, которая быстро становится рябой от частых мокрых снежинок. Берет картофелину, подковыривает ногтем и нюхает. Вид у нее значительный.

– Удобрения? – спрашивает старуха и строго смотрит на мужика.

– Да что ты! – машет на нее руками помощница. – На чистом навозе. «Удобрения»!.. У нас корова есть! Вот молоко только продали!

– На удобрениях, так в рот не возьмешь. Пахнет, – не смягчается старуха. И по-прежнему строго смотрит на молодого мужика.

Тому неловко, видно, не так уж часто приходится ему торговать.

– Беда с этими старухами, – жалуется помощница, принимая деньги и отсчитывая сдачу. – Молодой раз, два, взял и ушел, а эта...

Очередь ухмыляется, помощница не многим моложе привередливой покупательницы. Наконец, взвешивают картошку мне. Я ухожу и слышу, как за спиной вдруг громко начинают говорить. Подошла очередь старухи, и она спорит по поводу каждой картофелины...

ВОРОБЬИ КУПАЮТСЯ

Налетели воробьи, обсели со всех сторон лужицу посреди асфальта. Лужица небольшая, с мокрыми черными краями. Воробьи напились, потом один посмелее прыгнул в середину лужи, стал плескаться.

Трепеща хвостиком, окунет клюв, неуловимо быстрыми движениями покрутит в мелкой воде головой, потом откинется назад и трепещет крыльями. Кайф во всем воробьином виде.

За первым, смелым, воробьем попрыгали в лужу другие. Приседают, бьют в воде крылышками, образуя прозрачную серую завесу. Наслаждаются. Некоторые купаются до изнеможения. Наконец выбираются из лужи, бойкими прыжками проносятся по бордюру, ограждающему памятник Алексею Толстому, оставляют на полированном черном камне следы. Взлетают, громко треща мокрыми крыльями...

Один подскакал ко мне, взглянул, повернув голову

боком. Разве что не спрашивает: хлеб не крошишь, не кормишь – чего тогда здесь сидишь?..

В АВТОБУСЕ

Она появилась откуда-то из-за спины и села напротив. Молодая гладкая кожа, нежный румянец, ресницы и брови будто тщательно выписаны художником японской школы – волосок к волоску, черный блеск и свежесть.

О губах следует говорить отдельно, желательно – стихами. Такие только и бывают лет в пятнадцать-шестнадцать. Сочные, яркие, словно спелые ягоды. Все слова в сравнении с их юной прелестью мало что значат – кажутся затертыми, бездарными.

Сидит напротив, прямо держится, поглядывает в окно. Дорогая дубленка облегает ладную фигурку. Судя по всему, родители не жалеют на дочь денег. И правильно делают, думаю я. Молодость должна быть достойно обрамлена, особенно такая.

На остановке, высмотрев кого-то среди вошедших, девушка принимается улыбаться. Я чувствую движение за спиной, наконец в поле зрения появляется ее подружка. Тоже симпатичная и юная, будто омытая родниковой водой. Она садится рядом, начинается разговор...

О, Господи, зачем они только открыли рты!

СОСЛУЖИВЕЦ

Пасха. Хочется сделать что-нибудь хорошее. Не просто сказать доброе слово, а помочь «конкретно», как говорит нынешняя молодежь. Кладу в карман соевую и выхожу на улицу. Может, кому-то она будет очень кстати.

На улице солнце, снег почти сошел, небо словно вымытое. Народу – никого. Видно, все по домам, празднуют, поглядывая в телевизор.

Направляюсь в сторону магазина, там обычно самое оживленное место в деревне. Еще издали вижу Володю по прозвищу Банщик. Он как всегда в затерханной камуфляжной куртке, давно не стрижен, рыжеватая щетина покрывает впалые щеки.

– Здравствуйте! – еще издали здоровается Володя и широко, бесхитростно улыбается. – Христос воскрес!..

Отвечаю, как велит традиция. Нащупываю в кармане купюру – лучшей кандидатуры, чем Володя, не придумать. Он перебивается случайными заработками, кому дров наколет, кому огород вскопает, картошку окупит. Нуждается мужик – устроиться на работу в деревне непросто.

– В Липае сейчас ветер с моря, холо-о-дный! – говорит, во весь щербатый рот улыбаясь, Володя. Когда в деревне еще была ферма, его здорово помял бык. С тех пор Володя немного не в себе. – Шинелку ветер запросто пробивает. На посту намерзнешься, потом в караулке всю бодрствующую смену отходишь – так и не заснешь!..

В начале зимы Володя у нас колот дрова, тогда-то и выяснилось, что мы с ним в одно время служили, причем в одних и тех же краях – в тогда еще советской Латвии. Даже дивизия одна. Конечно, друг друга не знали.

– Ну, – соглашаюсь я, соображая, как бы так дать денег, чтобы не обидеть. – И хорошо еще, если дрова в караулке есть. А то ведь в хоззвезде еще те орлы!..

– Это точно, не перетрудаются!

Странная все-таки штука, армия. Чем больше времени проходит, тем приятней вспоминать. Кроме Володи в деревне живет еще один человек, который проходил срочную в тех же краях, что и я. Правда, уже не в Прибалтике, а в Калининской области, куда наш полк затем перебросили. Мужичок этот намного старше, за-

хватил пятидесятые годы. Оказывается, уже в ту пору на территории части стоял одинокий самолет. Это, чтобы американских шпионов обманывать – часть-то была ракетная... Здравуюсь с этим пожилым мужиком я всегда с особым чувством.

– Лабусы нашу пасху не отмечают, – говорит между тем Володя, по-прежнему бесхитростно глядя прямо в глаза. – У них своя пасха, типа, католическая.

– Или протестантская, – предполагаю я. – Прибалты к немцам всегда тянулись.

– Ну. Многие лабусы немецкий язык знают. Спроси по-русски, не ответят. А если по-немецки – пожалуйста!..

Лабусами мы называли латышей. И ветер с моря, действительно, пронизывал наши шинелки, несмотря на весну. И некуда было пойти в увольнение – вокруг станции Приекуле (Приехали, говорили мы) одни хутора. В гарнизоне на каждом шагу патруль, даже пива не выпьешь. И мошка нас жрала белыми ночами, забираясь под байковые солдатские одеяла...

Я так и не сунул Володе деньги. Почему-то неловко стало.

КОЛЫБЕЛЬ ДЛЯ ШМЕЛЯ

Подсолнухи в наших краях не вызревают. Если даже посадить их рассадой, зацветают только в августе. А что такое август? Почти осенний месяц. Частое ненастье, холодные дожди, а то и первые утренники, серебриющие толевые крыши сараев и стаек.

...Один из таких дней. Напористо дует сырой ветер, летят первые желтые листья с берез. Подсолнухи на этом безрадостном фоне – как маленькие солнца. Они впитали в себя частичку лета и упрямо не хотят расставаться с ней.

Подхожу к одному из подсолнухов. Тарелка повернута «спиной» к ветру, на ее изжелта оранжевой середине шмель. Лакированные черные лапки, полосатое

мохнатое туловище, хитиновая голова – всё в пыльце. Шмелям сейчас несладко. В буквальном и переносном смысле – из цветущих растений остался разве что тысячелистник. Так что подсолнухи пользуются повышенным вниманием шмелей.

Но этот почему-то не двигается. С неуклюжей хлопотливостью не ползает по бесчисленным, концентрическими кругами расположенным пестикам, не залезает в них хоботком. Пригрелся в уютном затишке, задремал. А подсолнух раскачивается под ветром и навеваает, должно быть, шмелю сны о лете...

ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ

– Вон там Шаманская гора, – со значением говорю ребятам и показываю на приметную возвышенность за излучиной Ваха.

Однако ребят, Вову и Вадика, детей наших знакомых, мои слова не особенно впечатляют. Слова «шаман», «шаманская» им, видимо, мало что говорят, – Вове десять, а Вадика и того меньше, шесть лет.

Тогда я решаю сделать свое сообщение понятней для современных детей. Глядя на покато вытянутую, словно могучая спина всплывающего кита, возвышенность, на далекую, будто тонко прочерченную иглой вышку на ее гребне, говорю:

– Если человек поднимется на эту гору, у него появляется связь с космосом. Он становится сильным, ну... как черепашки-ниндзя. Космические силы ему помогают.

И, чтобы окончательно сразить ребят, добавляю, как мне кажется, безотказное:

– Она волшебная, эта гора. Выполняет любое желание. У вас ведь есть такие желания, правда? Что бы вы загадали?

Вова и Вадик притихают, усиленно соображая. По-

том Вова, белокурый, яснолицый, неуверенно говорит:

– Чтобы зарплату не задерживали...

– Что-что? – не сразу понимаю я.

– Чтобы зарплату папе дали, – уже смелее повторяет

Вова. – А то три месяца не дают.

Я хмыкаю. Вот тебе и заветное желание!.. Мне почему-то неловко перед ребятами.

ГОРДОСТЬ БЕДНЫХ

1.

Один из приездов в Подмосковье. Расслабленный знакомой обстановкой, сажусь в электричку. Благодарю, глядя по сторонам. Народа в вагоне не много, и после северного малолюдья, к которому я уже привык, это тоже приятно.

Стучит дверь из тамбура, появляется немолодой мужик. Еще до того, как он начинает громко предлагать свой товар – дешевые целлофановые сумки, – вижу, что мужик неблагополучный. Куртка на рыбьем меху, стоптанные и давно не знавшие крема ботинки, потерявший форму вязаный «петушок» на голове...

Вспоминаю где-то прочитанное: в Европе считается неприличным просить милостыню. Поэтому нищие делают вид, что продают спички или еще какую-нибудь мелочь. Может, за год, пока меня не было, что-то изменилось и в московских обычаях?.. Когда мужик подходит ближе, протягиваю ему купюру, но целлофановую сумку не беру.

– Не понял, – говорит мужик.

– Сумку не надо.

Мужик на мгновение застывает, соображая. И тут же возвращает деньги:

– Не надо.

– Возьми, – настаиваю я. Мне кажется, он стесняется.

Но мужик уже не смотрит на меня, идет дальше. Ни

вызова, ни обиды в его виде. Одна озабоченность занятого делом человека.

2.

В городе он считался бы бомжем. Обитает в почерневшей от времени избушке, нигде не работает, на что живет – неизвестно. Его пробовали было нанимать окучивать картошку, но он отшвырнул тляпку, когда хозяева сказали, что мало нагрывает под кусты земли. Выпивает тем не менее регулярно. Выручают его река и лес – покупатели на рыбу и ягоду находятся.

Меня он выделяет среди односельчан:

– Ты нормальный. А другие сразу: по морде хочешь? Чего я им?..

У меня остались пиджак и брюки, которые не ношу, – с возрастом стали тесны. Я предложил их ему. Вещи вполне хорошие и на него впору.

Он хитро ухмыляется, щурит глаза, ведет в сторону головой.

– У меня тоже есть костюм. Красивый, в золотую нитку такой, на сцене выступать запросто. Ни к чему он мне, тебе подарить могу. Хочешь?.. – В его голосе издевка.

Стоит жаркий июль, однако он в резиновых броднях, которые не снимает ни зимой, ни летом. Футболка под мышками проедена потом. На шее вздулся след от укуса слепня, в уголках губ желтая накипь.

ПСИХОЛОГ

Он коренаст, плотен, модно пострижен. Взгляд сметливый, оценивающий. Стоит в застекленном переходе между жилым и лечебным корпусами, продает электромассажеры.

– Наша фирма выбирает только достойных, вам повезло! – с такими словами он перехватывает проходя-

щих мимо отдыхающих. Тут же ловко прикладывает громко, будто трактор, заработавший массажер к спине приостановившегося человека. – Не пугайтесь! Очень нужная для здоровья вещь! Отпускная цена семьсот пятьдесят рублей плюс пятьдесят рублей за пересылку, а мы продаем за четыреста. Чувствуете разницу?!

Застигнутый врасплох человек неловко топчется. Массажер, похоже, ему не нужен, но сразу отказать как-то неудобно. Торговец усиливает натиск:

– Вас смущает цена? Это рекламная акция, потому так дешево. Вам просто улыбнулась удача!..

Кроме приятных чувств, доставленных потенциальному покупателю лестью и словами о выгодности покупки (по здравому размышлению – весьма сомнительной), торговец задевает другую отзывчивую струнку человеческой души – боязнь, что не достанется:

– На ваш санаторий выделено всего пятьдесят массажеров. Остались последние. Вы сейчас не купите, так кто-нибудь другой перехватит. – И доверительно добавляет, слегка понизив голос: – Не упускайте шанс, совету. Четыреста рублей – разве это деньги?..

Видя, что покупатель заинтересовался, хотя сомнения все еще не покидают его, коммерсант бросает последний козырь:

– Второй массажер бесплатно! Подарок фирмы! Два массажера по цене одного!..

Устоять невозможно. Очень уж выгодно. Какие, оказывается, бывают великодушные люди!..

Отдыхающий лезет за деньгами. Коммерсант вручает ему две коробки с массажерами. Но делает это уже как-то небрежно, вскользь. Он нацелился глазами на нового клиента, выходящего из-за толстого стекла дверей лечебного корпуса.

И продавец, и покупатель довольны. Один потому, что впарил лежалый товар отдыхающему лоху. Второй – что дешево купил вещь, которой вряд ли когда-то воспользуется.

ПРОСТЫЕ ДУШИ. 70-Е ГОДЫ

– ... Негры! Они их за людей не считают – за скот! Вот статья в газете, заметочка. Там же в правительстве одни богачи, миллионеры!.. А в другие страны со своими шпионами лезут, лезут. У себя не могут для негров школы построить – это ж надо учителей нанять, жалованье платить! А со шпионами лезут!..

– Ага, ага, – поддакивает вторая старушка.

– Вообще загнали народ. Как еще не перемерли эти американцы – не понимаю! Безработица, на улицах стреляют, разврат, наркоманы... И народ терпит! На мой характер, я бы этому их Рейгану всё в глаза высказала, всё!..

– Правильно говоришь, ой, как правильно!

И вторая старушка от полноты чувств громко сморкается в платок.

ЧЕМ БОГАТЫ...

Раннюю весну мало кто любит. Туман, снежная каша на дорогах, бесприютно бьются на сыром ветру ветви деревьев... Ощущение общего неблагополучия. Природа болеет, все вокруг – ее мучительное возвращение к жизни.

Голый куст осины над обрывом. На нем сорока. Эти птицы прагматичны, просто так сидеть не будут. Пытаюсь понять, что сороку привлекло. Никакой поживы вроде не видно, всё еще под снегом. Но сорока не улетает, развернувшись клювом к ветру (так теплее, ветер не забирается под перья), качается на голой ветке. Даже на человека не реагирует.

Неожиданно слышу непонятные звуки. Это не пение, но и не привычное сорочье стрекотание. Что-то среднее, похожее на скрежет плохо смазанного механизма, причем, небольшого.

Ничего похожего раньше мне слышать не доводи-

лось. Поза у сороки тоже странная: присела, напряженно вытягивает голову – изо всех сил пытается выразить обуявшие ее чувства.

Как-никак весна. Пусть даже такая неприятная.

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

После ремонта дел вокруг нашей избушки невпроорот. Ее теперь избушкой-то называть неловко. Тепло светятся обшитые вагонкой и проолифенные стены, еще издали притягивают взгляд броские наличники...

Но и работы для меня непочатый край. Строители, как водится, мусор вокруг и не подумали убрать. К тому же – весна, работы на огороде тоже хватает. Вот я и кручусь с утра до вечера. Сгребаю и выношу щепу, битый кирпич от разобранной печки, вырезаю и жгу сухие ветки малины, копаю грядки...

Даже отпуск на работе пришлось взять.

Смирившийся со своей участью Мэрка лениво поглядывает на меня. Он вольготно устроился в холодке, и цепь, похоже, ему уже не мешает. Порой мне кажется, в Мэркином взгляде мелькает ирония. «Странные все-таки существа, эти люди, – должно быть, думает он. – Работают, суетятся... Зачем? Вот я, к примеру. Никогда не работал, а сыт и жизнью вполне доволен. Опять же перед глазами у других не мельтешу и думать не мешаю».

Мэрка прикрывает веки. И мне кажется, что на его морде проступает надменно-брезгливое выражение.

КАК МЫ С СИНИЦЕЙ ПЕРЕСМЕШНИЧАЛИ

Нашему молодому псу Мистеру-Твистеру не сидится возле избушки. Чтобы накормить, приходится долго звать его. Свистом. Не станешь же кричать на всю деревню.

Вот и недавно стою у калитки, зову уже несколько минут. Но не несется мой пес по апрельской подтаявшей дороге, не повизгивает от радости, что кормильца-хозяина увидел.

Однако что это? Будто эхо отзывается. Такие же два незамысловатых коленца, как в моем свисте. Оглядываюсь на рябину в палисаднике. Синица! Пристроилась на верхней ветке, послушает меня, выдержит паузу и передразнит.

О Мистере-Твистере я уже не думаю. Выдам руладу, жду. Синица свои фа и ре в ответ. Я опять. И уже непонятно, то ли она мой зов передразнивает, то ли я повторяю ее весеннюю песенку.

Так мы и пересвистывались, пока синице не надоело и она не улетела.

А Мистер-Твистер так в тот раз и не появился, негодник.

*М*ИМОХОДОМ

* * * * *

КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ

Казалось бы, столько весен у зрелого человека за плечами, а всё радуешься каждой новой. Даже самым малым, первым ее признакам.

Вот день стал длиннее. Три часа, а еще светло.

Тальник за Вахом наливается салатovým светом – впитывает крепнущее с каждым днем солнышко.

Откочевавшие на юг вороны вернулись. Не улыбайтесь, в наших северных краях это тоже весенняя примета.

Ну и само собой, ожили воробьи, их еще неделю назад не было слышно и видно. Устроили сходку на высокой березе, громко радуются жизни.

И уж абсолютный признак недалекой весны – освободившаяся от снега земля. Правда, пока только на припеке, на крутом склоне реки, смотрящем на юг. Снега там было немного, он первым и растаял местами. Склон теперь выглядит непривычно – пегий.

То ли еще будет!.. – ликует каждый раз душа, почуяв весну.

НИЧТОЖНА И НЕИСТРЕБИМА

Много раз проходил мимо этого обрыва, а на гумусный слой обратил внимание только теперь. Дай бог, если его полоска вверху обрыва составляет человеческую пядь. Всё остальное вниз – метры и метры глины.

Несколько тысяч лет минуло, как по здешним местам прошел вал последнего обледенения, стирая все на пути. А возникший после него гумусный слой, эти перегнившие за тысячи лет травы, составляет от силы двадцать сантиметров.

Всего!.

Останавливаюсь, пораженный. Насколько ничтожна жизнь, оставившая после себя считанные сантиметры! И как неистребима.

БЕЗОТВЕТНЫЕ

Самыми обделенными из всех живущих мне кажутся деревья. У зверей и птиц жизнь тоже несладкая, но они хоть могут двигаться. Следовательно, находить себе пищу и воду. А дерево где выросло, там и вынуждено весь свой век стоять. Земля может быть сухой и скудной, но на новое место оно перебраться не может.

И самое, быть может, скверное. Животные убегают, если их хотят убить, а вот дерево сделать это не в состоянии. И кто скажет, что оно чувствует, когда к нему приближаются с топором?..

ВЕЧНОЕ

С визгом и хохотом несется по деревне прицепленная к «Бурану» коробушка. В ней раскрасневшиеся девчата. Набились в коробушку до отказа, счастливы скоростью, ветром, теснотой, своей молодостью.

Когда-то так носились по деревне их бабушки. Разве что вместо коробушки были сани, а вместо снегохода – лошадь. Но молодое счастье, бьющий в лицо ветер, ошметки снега, радостный визг – все те же.

Они и есть вечное, главное, неизбывное.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Поразительно, как быстро власть разправилась с Иисусом! Я лишь недавно задумался об этом. В воскресенье Иисус вошел в Иерусалим, а в пятницу уже был распят. Всего несколько дней между триумфом и смертью.

Потому, что Иисус попал прямо в логово власти? Что главенствующая идеология мгновенно расправляется с любой другой, если это в ее силах? Потому, что власть не хочет знать правды?..

То, другое и третье. И это лишь часть причин, по которым власть имущие не желают соглашаться с очевидными вещами.

ОБРАЗ

Сосульки вдоль кромки крыши смахивают на клыки – прочные у основания и опасно заостренные на конце. Часть из них хищно загнута (когда росли, дул ветер), и это усиливает сходство.

«Оскал зимы», – думаю я. Но тут же ловлю себя на мысли: сосульки – признак весны, при чем здесь зима?.. Хромает образ.

Но верткий ум не хочет сдаваться. Признак весны – вода, а если она не течет, не капает, а замерзла – это признак зимы, ее оскал. «Как бы не так, – не соглашается трезвое благоразумие. – Снег, сугробы – это зима. А сосульки – предвестие весны!..»

В конце концов приходим к компромиссу. Сосульки – оскал уходящей зимы.

«ЧУТЬ ПОМЕДЛЕННЕ, КОНИ!..»

«Петр и Павел – час убавил, Илья-пророк – два уволок». Но то в центральной России, где не так все резко. А у нас нет меры ни в чем. Если мороз зимой, то ниже сорока, а порой и под пятьдесят. Если день летом, то бесконечный, когда короткая белая ночь мало чем отличается от дня.

Стремительно прибывающему дню радуешься. А вот когда в августе так же стремительно день начинает убывать, становится грустно. Никак не можешь избавиться от ощущения, что тебя обманули. Только недавно солнышко закатывалось едва ли не на севере, а глядишь, сегодня уже намного левее, западнее. И темнеет с

каждым днем всё раньше, звезды на небе появились. А вон и первые желтые листья на березах...

Тут-то и вспоминаешь Высоцкого. Ведь уходит не лето – жизнь.

НЕБЕСНЫЙ ВАМПИР

С чем только не сравнивают месяц! И с ломтиком дыни, и с краюхой деревенского каравая, и с куском сыра... Если говорить о последнем сравнении, белесый полупрозрачный серпик месяца и в самом деле бывает похож на тонко и неровно срезанную пластину, скажем, адыгейского сыра. А темные лунные «моря» – дырки в нем.

Но примечательно еще другое. Удивительно меняется цвет месяца, когда он поднимается над горизонтом. Бывает, солнце и бледный, как полурастаявшая льдинка, месяц видны на небе одновременно. И чем больше клонится к закату солнце, тем отчетливей и ярче месяц.

Вот он уже потерял свою полупрозрачность, стал плотнее, осязаемей. А стоит солнцу скрыться за горизонтом, месяц и вовсе наливается золотом, становится ярким. Будто выпил из ушедшего дня весь свет.

ВСЕГО ЛИШЬ ВОЗДУХ С ВАШИХ ГУБ...

Сжимающую сердце надпись расшифровали египтологи в одной из древних гробниц. Сквозь тысячи лет, сквозь бесчисленное количество человеческих поколений, сквозь забвение, затягивающее все, что было, есть, будет – донесся слабый голос: «Произнесите мое имя. Для вас это всего лишь воздух с губ. Для меня – возвращение в мир живых...»

Как ужасает человека уход в никуда! Как хочется ему остаться в этом мире хотя бы «воздухом с губ»!..

ДУША ЛЕТА

У каждого времени года свой запах. Зимой это морозная свежесть, терпкий дух хвои из обступившего деревню ельника. Весной – тяжелое благоухание черемухи, которой засажены палисадники. Осенью – винный запах палой листвы...

А вот лето ассоциируется у меня с запахом клевера. Неброские его цветы светлыми полянами разбросаны по деревне, на них, быть может, и не обратил бы особого внимания, если бы не медовый аромат.

Он устойчивыми озерами стоит над полянами, вместе с воздушным током растекается окрест. Вдыхаешь его – и ясные теплые дни, буйство зелени, голос кукушки из леса наполняются особым смыслом, делают их полнее, объемнее. Будто у лета появляется душа.

О ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯ

Знакомые попросили помочь заготовить сена. Коса, мягко говоря, не самое знакомое мне орудие труда – деревенским жителем я стал недавно, – но согласился. Не отказывать же хорошим людям.

И вот пот заливает глаза, мошка настырно лезет под рубашку и кусается, коса то и дело втыкается в землю.

Да, это не за пишущей машинкой сидеть и рассказы сочинять. Часто приходится останавливаться, выдергивать косу и подправлять затупившийся кончик бруском. В общем, несладко.

Спросить у мужиков, что делаю не так, неловко – давно уже взрослый, сам должен знать. По той же причине мужики не торопятся с советами, боятся обидеть. И тут вспоминаю где-то читаное о косьбе. «Ты на пятку налегай, на пятку! – наставлял внука-подростка в какой-то книжке дед. – Носок и не будет в землю тыкаться!..»

Соображаю, где у косы носок, а где пятка. Чуть при-

поднимаю кончик косы, а ту ее часть, что ближе к державу, прижимаю к земле.

И что вы думаете – пошло дело!..

«ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ...»

Никогда не понимал, почему остановившееся мгновение – это плохо. Мне всегда чудились в подобном утверждении метафизическое умствование и фальшь. Мол, мгновению, пусть даже прекрасному, нельзя останавливаться, потому что не состоится будущее. Но почему целью жизни должно быть неведомое будущее, а не существующее вот теперь, сейчас счастье?.. Этакое движение ради движения.

Я, например, хотел бы навсегда остаться в юности, когда еще были живы папа с мамой, бабушка. Когда сам был полон надежд и света. Находиться в таком состоянии и таком окружении – разве не счастье?

И разве не покойной, с тихими радостями вечной жизнью награждается в итоге булгаковский Мастер? Да и что такое наш христианский Рай? Навсегда остановившееся прекрасное мгновение. А уж религия-то знает, что пообещать человеку, лишь бы он не оскотинился.

ОТТАЯВШИЕ ЗАПАХИ

Оттепель – это когда тепло, пусть даже относительно, в пределах нуля на градуснике. Но не только. Это ещё изменившийся цвет снега. В нем (и в воздухе тоже) появляется едва уловимый желтоватый оттенок.

Но главное все же не это. По крайней мере, в деревне. Выходишь за порог и невольно раздуваешь ноздри – пахнет весной. Это оттаяли запахи. И главный среди них – запах отсыревших еловых стволов.

Высокие и острые, похожие на пики, ели близко

подступили к деревне, заполняют ее своим духом. Они будто очнулись на время, дают знать, что зима не вечна. Что наступят другие времена, когда будут и голос кукушки из леса, и солнечный простор реки, и белые ночи со светящимися стволами берез.

ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ ИЗ МЕЗОЗОЯ

Мороз. Из труб деревенской котельной вовсю валит дым. Смотрю на его темные клубы и думаю: как все-таки странно! Мы привыкли к теплу солнца. Летом, весной, ранней осенью оно греет землю, ну и нас, людей, заодно. И редко кто задумывается, что солнечное тепло может быть консервированным.

Те же дрова, к примеру. В печи они отдают то, что взяли у солнца за свои семьдесят-сто лет в бытность деревьевыми. Но во много раз древнее тепло нефти, которая сгорает сейчас в котлах.

Миллионы лет назад питали солнце бесчисленные существа, ставшие затем нефтью, деревья и папоротники, превратившиеся в каменный уголь. Нынешнее их тепло – отзвук яркого солнца тех времен, солнца, державшего в своих объятиях юную землю.

ОРАТОР

Так я порой называю нашего молодого пса Мистера. Обычно он спит в будке, но в присутствии хозяев любит показать свою бдительность – облаивает каждого проходящего мимо избушки.

– Не ори! – в сердцах бросит кто-нибудь из прохожих.

Отсюда и пошло второе имя Мистера.

Есть еще черта, роднящая его с пламенным оратором. Полаяв, Мистер бросается к миске с водой, чтобы

промочить горло. Потом опять за свое.
Истинный оратор!

ИВАН-ЧАЙ

Я его называю свечками лета. Свечки эти необычные – «горят» не сверху, как свечкам полагается, а снизу. Горение начинается в июне, и почти три месяца лиловый огонь движется вверх по стеблю. Он закрашивает глинистые склоны у реки, заброшенные огороды, любой подходящий уголок. Посмотришь на лиловую гроздь – распустилась только наполовину своей высоты. Значит, есть еще время, еще много лета впереди...

Оглянуться не успеешь, август на пороге. Вместе с летом догорает иван-чай. Отцветают верхушки, прежний цвет превратился внизу в длинные стручки, наполненные пушинками. Вертикальные грозди иван-чая напоминают в такую пору елочки. А первые пушинки – намек на не такой уж далекий снег.

Отгорели свечи лета...

ПРАВЫ

Один мой знакомый вполне серьезно утверждает, что собаки – те же люди. Разве что покрытые шерстью и с хвостами. Так же, как люди, они помнят добро. И уж не дай бог их обидеть – тоже запомнят.

Лично я к собакам всегда относился с симпатией. А в последние годы стараюсь и подкармливать. Для этого в кармане куртки ношу сушки. И если на деревенской улице встречаю щенка или покалеченного пса, бросаю им. А то и просто угощаю первую попавшуюся собаку. Жизнь у них известно какая, почему бы не пожалеть.

Одни псы в ответ благодарно виляют хвостами, за-

глядывают в глаза, долго сопровождают по улице. Другие сушку не берут, смотрят с подозрением – зачем, дескать, тебе это понадобилось? какую цель преследуешь?.. А третьи и вовсе занимаются вымогательством, если не сказать, разбоем. Завидев меня, становятся поперек дороги и разве что зубы не щерят – гони сушку!.. Что удивительно, в глазах у них не только злоба, но и презрение. Таких псов, правда, не много, но они встречаются.

Воистину прав мой знакомый: собаки, как люди. Диаметрально разные реакции на одно и то же дело. Доброе, в общем-то.

ПОДЛОСТЬ

Если вдуматься, какое это все-таки подлое занятие – рыбалка.

Используется желание всякого живого существа утолить голод, продлить свою жизнь. Рыба хватается за пищу, а в ней оказывается хищное жало крючка.

Оно вонзается в нежную плоть, безжалостно разрывает ее, когда человек подсекает добычу. А особенно, когда вытаскивает из рыбьего горла крючок.

Какое счастье, что рыбы не умеют кричать.

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Зимний вечер. На дороге у клуба дурят, толкают друг друга в снег мальчишки. Им лет по девять-десять, в них еще не проступила подростковая скрытность и подлинка – ребята прямодушны в плохом и хорошем. Увидев меня, останавливаются.

– Правда, что вы писатель?.. А вы свои книги сами написали?..

Дети, что с них возьмешь. Отвечаю. Мальчишкам,

видимо, надоело дурачиться. Один из них, проведя варезкой под носом, говорит:

– Расскажите, о чем в ваших книгах написано.

Предложение неожиданное, нахожусь не сразу:

– Так это ж сколько надо рассказывать!.. Ты возьми да прочти.

– Неохота, долго!

Впору почесать в затылке. Мои-то сочинения ладно, но ведь они, поколение компьютерных развлечений, и Толстого с Набоковым читать не станут – долго и скучно... Обратная сторона прогресса.

ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ

Великолепный летний день. Такие на Севере бывают нечасто. Синее небо с редкими вспененными облачками, солнечный простор от горизонта до горизонта, медовый запах дикого клевера, светлыми лужайками разбросанного по деревне.

Ни малейшего ветерка! Вах будто застыл, нежась под солнцем.

– Пойдем рыбачить, – зовет приехавший в гости внук. Он живет в большом поселке, практически – городской, его тянет на природу, к реке.

Поймать с десяток чебаков и в самом деле не помешало бы. Недавно появившийся у нас щенок уху обожает.

– Нет, – говорю я. – Сегодня не пойдем.

В такой день не хочется, чтобы кто-нибудь умер. Пусть даже это будут чебаки.

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

Город. Довольно оживленная его часть. Откуда ни возьмись выскакивает пес. Это вполне ухоженная ов-

чарка, и даже странно, что она без поводка. Видимо, пес на время удрал от хозяина – в токах воздуха учуял запах самки. По крайней мере, пес бежит в одном направлении, целенаправленно. Хвост независимо поднят.

Но вот на его пути дорога с плотным движением. Машины идут едва ли не сплошным потоком. Пес умными глазами смотрит в одну сторону, потом в другую. Улучив момент, перебегает улицу. При этом его независимо поднятый прежде хвост поджимается. Понимает, кто тут главный.

СЧАСТЛИВЕЦ

Сентябрьский солнечный день. Воздух на улице холодный, с предзимним льдистым привкусом. Горизонт далек и чисто выметен ветрами.

А в теплице почти лето. Убраны кусты помидоров, пахнет нагретой сухой землей. Рассеянный солнечный свет в небольшом замкнутом пространстве создает ощущение уюта.

Вдруг слышу кузнечика. Самого его не видно, где-то сидит в уголке теплицы, самозабвенно стрекочет, радуется жизни. Вовсе не подозревает, что это один из последних погожих дней. Дальше – дожди, холод, гибель...

Может, это и есть счастье – не знать, что тебя ждет?

50 +

* * * * *

ЛЮБОВЬ ПО ЭСАМБАЕВУ

Махмуда Эсамбаева люди старшего поколения помнят. Да и среднего, думается, тоже. Слава этого танцовщика была действительно всесоюзной. Народный артист СССР, Герой Соцтруда, депутат Верховного Совета...

Особенно популярным Махмуд Алисултанович стал после фильма «Земля Санникова». В нем Эсамбаев играл шамана, вернее, танцевал. Резкий, колоритный, олицетворение зловещих сил, самой судьбы – роль получилась яркой и запоминающейся.

С танцами народов мира Эсамбаев объездил весь Союз. Не раз бывал и в западноукраинском городе Черновцы, в котором прошла моя юность. На сцене областной филармонии я его впервые и увидел.

Рассказывать о танце все равно, что петь об архитектуре. Нонсенс. Расскажу о том, чего от Эсамбаева никто не ожидал. После аплодисментов и поклонов он не ушел с цветами за кулисы, как в таких случаях бывает. Махмуд Алисултанович подошел к рампе.

– Мне часто говорят... что любят меня... это приятно, – прерывисто заговорил он, еще не восстановив после танца дыхание.

На смуглой коже блестел пот, тело поджарое, гибкое, ни складочки жира. Он чем-то напоминал йога. Надо сказать, Эсамбаев танцевал босым, без какой-либо балетной обуви.

– Но слова в жизни еще не всё, – продолжил он, немного успокоив дыхание. – Говорить можно что угодно. А когда сцена подготовлена как следует, когда доски гладкие и в ноги не впиваются занозы, не течет кровь – это и есть любовь...

Не стану утверждать, что точь-в-точь передаю слова Эсамбаева – все-таки прошло время. Но смысл был именно такой.

Зрелый человек, он знал, что говорит. Главное –

дело. Слова, даже самые искренние, любящие, идущие от души, – всего лишь слова.

ГРУСТНЫЙ АНЕКДОТ

В свое время меня позабавила история о старом актере Марке Прудкине. Наиболее, пожалуй, известная его работа в кино – отец Карамазов в «Братьях Карамазовых» режиссера Пырьева. Там Марк Исаакович очень колоритно сыграл старого сластолюбца.

Так вот. Якобы после очередного своего юбилея (а прожил Прудкин долгую жизнь) взрослая внучка услышала рыдания из его комнаты. «Дедушка, что с тобой?» – «Милочка, – сквозь слезы ответил девяностолетний Прудкин. – у меня никакой творческой перспективы впереди!..»

Тогда мне казалось это смешным. Будь благодарен судьбе, что дожил до таких лет, а не о творческой перспективе думай!

Сейчас понимаю: человек искусства не может смиренно доживать отпущенный срок. Из другого теста творческие люди. Не для них растительная жизнь. И как печально, если такое все-таки происходит.

«... ДЕСПОТ СРЕДЬ ЛЮДЕЙ»

Наглядней всего это проявляется в прическах. Сидим на диване, смотрим чемпионат мира по биатлону. В телевизоре вполне милая девушка, но волосы почему-то свисают беспорядочными длинными сосульками. Впечатление неряшливости – ее будто только что подняли с постели и она, заспанная и неумытая, еще не успела причесаться.

– Мода, – говорит жена. – Ты мужские прически вспомни. Не лучше.

Да уж. Искусственный беспорядок, нечто вроде сорочьего гнезда, волосы торчат во все стороны. Какой-нибудь стилист (именно так, не парикмахер!) вроде Зверева еще возьмет за это несколько тысяч долларов. И ведь находятся любители, и в немалом количестве!

С чего эта антиэстетика пошла, не знаю. И когда – тоже. Подоплека, скорее всего, в желании перемен. Ну и, разумеется, паразитирующая на этом желании индустрия моды. Чтобы существовать, ей нужно все время нечто новое. А насколько это вписывается в сложившиеся понятия красоты, дело десятое.

Помню появление «платформ» – обуви на уродливо высокой подошве. Люди зарабатывали себе плоскостопие, подворачивали и даже ломали лодыжки. Но ни индустрию моды, ни самих модников это остановить не могло. Прослыть непродвинутым, отсталым было страшнее.

Особенно забавляют меня джинсы. Похоже, все забыли, что изначально это рабочая одежда американских фермеров. Нельзя без усмешки смотреть на какого-нибудь представителя (или представительницу) офисного планктона. Вся их физическая нагрузка – тыкать пальцами в клавиши компьютера, но джинсы вытерты до непотребства, будто ребята целыми днями работают в поле под дождем и солнцем. А у многих джинсы еще и специально порваны или порезаны, через прорехи сквозит голое тело.

Интересно, станет ли модным, например, сморкаться двумя пальцами, а пальцы вытирать о прохожих? Почему бы и нет – в русле тенденции, вполне антиэстетично! Шокировать будет не больше, чем опущенные до лобка шорты или выглядывающие из джинсов ягодичцы, если девушки приседают.

О ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ

С изумлением смотрю на телеведущих утренней программы. Бодры, деловиты, то и дело шутят...

Это у нас восемь, а в Москве шесть часов. Когда же надо было подняться, чтобы успеть приехать в студию, посидеть в кресле гримера, хотя бы пробежать глазами сценарий, выслушать наставления режиссера!.. Как удаётся ведущим побороть такую естественную в утренний час заторможенность, когда эмоции еще спят?

Естественно, крепкий кофе. Наверняка какие-то профессиональные приемы. Видимо, что-то еще. Но все равно непростое это дело – в шесть утра быть улыбочивым и бодрым. А надо. Настроение телеведущих передается миллионам людей, готовит к наступившему дню, к битве с жизнью, как ни расхоже это звучит.

«А сам? – говорю себе. – Разве нормально, естественно твое существование?» Как не хочется порой садиться за письменный стол, а все же уговариваешь себя. От скольких радостей жизни отказывался, потому что отнимут время, силы, собьют настрой, нужный для сочинительства. Удачен день или нет для тебя зависит от того, как поработал, что удалось написать.

Но в чем тогда разница между профессионализмом и рабством?..

МОНОЛОГ

«А почему бы и нет? – говорит он и смотрит на меня сметливыми глазами. – Государство как предприятие, которое приносит прибыль. Дойная корова, бизнес-проект!.. Распил бюджета – мелочевка, семечки. Типа, я тебе госзаказ, ты мне откат. Этим пусть чиновники средней руки промышляют. А вот если всерьез, повзрослому...

Скажи, кто у нас бюджет контролирует? Дума? Не

смеси мои тапочки! Эти ребята примут все, что им скажут, лишних вопросов не зададут. К тому же есть закрытые статьи. И вот, представь себе, находится большой человек, который доходы государства может перегонять за бугор. Естественно, в сугубой тайне и по схемам, в которых черт ногу сломит. Что-то, конечно, будет оставлять здесь – бюджетникам, социалка и т.д. Но не много, лишь бы курица не сдохла, а то золотых яиц не будет.

Я не про стабилизационный фонд, который наши в Штатах держат. О нем все знают. Я о триллионах, о которых знают несколько человек. А может, один. Это его бизнес. Не компания, не предприятие, не банк – государство! Представляешь, целое государство!..»

Внимательно смотрю на собеседника, пытаюсь понять его отношение к гипотетическому жулику вселенского масштаба. Однако на его лице лишь зависть и восторг первооткрывателя.

ПЕРВОЕ МАРТА

Слушаю передачу окружного радио. Есть у них программа, посвященная прошлому. Что-то вроде «Из фондов радио».

Семидесятые годы, в Югре так называемый писательский десант. Читают свои стихи Юлия Друнина, Маргарита Агашина, чеченка Раиса Ахматова. Речь о Самотлоре, о новых городах, о первопроходцах. Ну и, конечно, о любви – как же без нее весной. Тем более перед 8 Марта.

Такое впечатление, будто не было в ту пору ни непролазной грязи вокруг, ни очередей за мясом, ни нефтяной штурмовщины, гробящей природу. Умом понимаю, лукавят поэтессы и радиожурналист. Но душой с ними.

Может, потому, что день за окном яркий, солнеч-

ный, настоящий весенний? Или оттого, что осточертели выпуски новостей московского радио, в которых одни несчастья?..

Как сказал классик, тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман. А еще лучше: сотри случайные черты – и ты увидишь, мир прекрасен. Особенно весной!

ОБМАНКА

«Не так уж всё и плохо! – думаю я, глядя на колющееся поле. – Совхоз приказал долго жить, зато фермеры хозяйствуют. Вон какой клин засеяли!..»

С моим давним знакомцем Толей Кривоносовым мы идем в Переторги. В Переторгах, единственном из окрестных населенных пунктов, можно купить хлеб. Целых два магазинчика в этой то ли деревне, то ли поселке.

– Толь, кто хозяин? – Я киваю на желтеющее поле. Пора бы уже убирать хлеб, а то зерно осыплется.

Тропинка меж высоких бурьянов узкая, Толя идет впереди. С возрастом у него появилась привычка говорить тихо, и я иногда прошу «прибавить звук». Но сейчас он не слышит меня, продолжает говорить о чем-то, мне не разобрать. Видимо, все о том же – запустении и одичании брянской деревни.

Толя – московский писатель, но уже много лет живет здесь. Одно время даже держал корову. Я в гостях у него, приехал вчера, всю ночь мы просидели за разговорами под рюмку. Тогда-то я и услышал о совхозных землях, которые никто не обрабатывает – для купившего их местного олигарха это вложение денег. Толя рассказал, как этот человек приказал перепахать дорогу вместе с молодыми березами, которые он в одиночку посадил. Рассказал о соседе, который благополучно пропил жеребенка, лошадь, корову и сторел в конце концов от самогонки. О бывших райкомовцах, кото-

рые пересобачились, деля при Ельцине должности... О многом мы в ту ночь говорили.

Не верить Кривоносову у меня нет оснований. Но, Господи, как надоели эти разговоры об одном и том же! Куда ни приедешь, с кем ни заговоришь – все плохо.

Потому я и обрадовался, увидев колосющийся клин. Жив русский человек, сохранилась в нем хозяйская жилка, не все запиваются от безысходности!..

Сворачиваю с тропинки и, путаясь в бурьянах, иду к желтеющему полю. Должно быть, это озимая пшеница, яровая поспекает позже, сейчас только август. А вон и сам фермер. Вышел из дома, смотрит в мою сторону.

Стараясь выглядеть как можно доброжелательней – ничего дурного не замышляю, – я наконец добираюсь до колосющегося поля. И чертыхаюсь от досады. Это не пшеница и не рожь, а какой-то полуболотный сорняк. Но как издали на них похож! И как ровно, в четких границах растет, будто специально посеян!

Хорошо, что Толя шел впереди и не заметил, как я свернул. Не удивлюсь, если местное название бурьяна «обманка» или что-нибудь в этом роде. Но литератор и в такие минуты дает себя знать. Думаю, что эта обманка – символ.

Ладно бы я обмишулился, это куда ни шло. А то обмишулилась вся деревня, весь народ. Что людям власть обещала? Колхозы и совхозы неэффективны, земле нужен настоящий хозяин. Под этим лозунгом и распродала ее.

Ох и доверчив русский народ!.. Безнадежно доверчив.

АКМЕ

Одна из главных несправедливостей жизни в том, что старших начинаешь понимать поздно.

Когда они, зрелые люди, могут рассказать, что чувствуют и думают, ты еще не готов. Ты пацан со своими

интересами, потом парень, интересы тоже соответствующие. А когда созреешь для понимания, бабушки Глафиры уже нет. Умерла.

Ты помнишь ее приземистую дородную фигуру, кофту в цветочек, немаркую юбку. То, как быстрым движением она вытирала большим и указательным пальцами уголки рта. Как, усталая, выходила с тяпкой из недр огромного, в полгектара, огорода, который кормил ее. А чем жила, что за свой век передумала – не знаешь. И никогда уже не узнаешь, хотя бабушка Глафира родной тебе человек.

Трагическое несовпадение поколений. Несовпадение возможности понять, зрелости. Акме, как говорили древние.

СТАРЫЕ ИСТИНЫ

Я – подросток. Бравируя своей закалкой, иду по утрам к роднику и моюсь по пояс. Вода ледяная, черная труба, через которую выведен родник, в крупных студеных каплях. В глаза бьет радостное солнце.

Стирающие в речушке женщины ахают: простудишься! Но мне всё нипочем. Я бросаю пригоршнями на грудь и спину обжигающую воду, без надобности напрягаю мышцы и не забываю при этом следить, смотрят ли на меня.

Силы и радости во мне столько, что я перехватываю полное ведро воды у пожилой соседки и бегом поднимаюсь по крутой тропинке к ее хате.

– Вот спасибо! Дай тебе Бог здоровья, хлопчик!.. – чуть ли не со слезами благодарит женщина.

Мне и приятно, и неловко. За что благодарить? Такая ерунда – принести ведро воды, пусть даже в гору!..

Мне вообще непонятны старые люди. С молодым высокомерием думаю: ущербные какие-то. Взять того же деда Кондрата, по-местному, Кондру. По вечерам он не засиживается в бабушкиной хате, куда, вдовец, по-

рой заходит перекинуться словом. Берет свою палочку: «Трэба йты. Щэ чэрэз ричку пэрэходыты, а вжэ тэмно».

Не так уж и темно. А нашу речку вообще можно одним прыжком перемахнуть. Тем более, есть каменная кладка и в руках у деда Кондры палочка для опоры...

Это сейчас, когда мне самому седьмой десяток, понимаю пожилых людей. И соседку, и деда Кондру, и многих других, встреченных в жизни.

Если бы молодость знала, если бы старость могла... Господи, как избито – и как верно!

О ХОРОШЕМ ЦАРЕ И ПЛОХИХ БОЯРАХ

Поражает наивность большинства людей. Закоренелыми злодеями и виновниками репрессий тридцатых-сороковых годов они считают Ежова и Берия. Эти люди не хотят понять, что тот и другой были марионетками, выполняющими волю Сталина. Они – громоотводы народной ненависти.

То же в новейшей истории. Слава Богу, до масштабных репрессий пока не дошло, но мало кто любит Гайдара, Чубайса и Козырева. А если взять ближе к нашим временам, то и Зурабова с Фурсенко.

Можно подумать, эти экс-министры были самостоятельными фигурами. И шоковую терапию, и развал промышленности, и жульнические ваучеры благословил Ельцин. Как позже монетизацию и деградацию школьного образования руками этих людей осуществил Путин.

Слабым утешением служит то, что их потом «ушли». Мавры сделали свое дело.

МИНИСТЕРСТВО ПРАВДЫ

В романе Оруэлла есть Министерство Правды. Среди разнообразных функций этой организации для промывания мозгов была и такая: переписывание задним числом истории. Дается в романе это очень наглядно.

Скажем, лидер государства ошибся в прогнозе. А так как авторитет Старшего Брата должен быть незыблемым, в библиотеках государства поднимаются все газеты прошлых лет. Те места, где давался неверный прогноз, переписываются. Так сказать, в свете новых реалий.

Исправленные варианты старых газет возвращались затем в библиотеки, а предыдущие, настоящие – уничтожались. В итоге даже самый скрупулезный исследователь прошлого не усомнится в гениальной проницательности Старшего Брата.

Великое в своем цинизме изобретение!

Российское министерство правды последних десятилетий – ТВ. Прежде всего центральное. Трактовка советского периода в истории страны, как правило, негативная. Нет даже попыток отделить тридцатые годы от, скажем, семидесятых – самых благополучных в жизни русского народа. Во всех смыслах. Да и в жизни народов других бывших республик СССР, думается, тоже.

Ни в коей степени не оправдывая бесчеловечности раскулачивания и репрессий, надо все-таки давать себе отчет, что история любой страны не благоухающая розами дорога. Идеал наших либералов Соединенные Штаты, прежде чем прийти к нынешним реалиям, уничтожили миллионы индейцев и не спешили избавиться от рабовладения. Еще в конце девятнадцатого века за скальп индейца в некоторых штатах платили по пять долларов. Но не об этом сейчас речь. Повторяемая изо дня в день с экранов телевизоров неправда – преднамеренная, бесчестная – приводит в конце концов к тому, что люди начинают верить в нее.

Особенно молодежь, которая в советские времена не жила.

Еще одно-два поколения – и все будут уверены, что Советский Союз действительно был кошмарной империей зла. Ничего хорошего там не могло быть по определению. О какой великой науке, культуре, достижениях в космосе может идти речь?! И Вторую мировую выиграли американцы. А СССР – так, сбоку припека...

Никакого Оруэлла не надо.

ВЫБОР

Чего, казалось бы, проще: подлаживайся к сильным, говори и поступай так, как они от тебя ждут, – ведь всё так очевидно в этом лучшем из миров!.. Будешь в итоге благополучен, проживешь спокойную жизнь. Если повезет, станешь богатым и влиятельным.

Однако нет. Находятся люди, которые в словах и поступках руководствуются не выгодой и житейской пользой, а другим. Если по Канту, нравственным законом, по Евангелию – заповедями Христовыми.

То и другое выгод и благополучия не сулит, скорее – наоборот. А все же находятся те, кто Заповеди и кантовский нравственный императив ставят выше. Да что упущенная выгода, как говорят юристы, – жизнью своей порой жертвуют!

Непостижимо. Нелогично. И прекрасно.

АНАТОМИЯ УСПЕХА

Восемьдесят лет – а память феноменальная. Не только помнит все свои поездки за границу, но и то, как они ему доставались. Мелькают фамилии функционеров пятидесятилетней давности с точным упоминанием должностей, именами-отчествами, с примечательными

чертами. Историки, изучающие ту пору, могут ему позавидовать.

Казалось бы, поэт, по определению человек не от мира сего, а как знает рычаги и пружины власти! До тонкостей представлял, на кого и как надо было «выйти» из бонз писательского, партийного или государственного мира, чтобы добиться своего. В том числе дефицитных в ту пору поездок за рубеж.

Человек он талантливый, это несомненно. В шестидесятые-семидесятые его знала вся страна. Да что страна – полмира. Говорят, такой славы в России не было даже у Пушкина. Но в чем он более талантлив – как поэт или как мастер выстраивать отношения – сказать трудно. Не уверен, что так же широко отмечались бы юбилеи его соратников Вознесенского, Окуджавы, Рождественского или Ахмадулиной, доживи они до его лет. И это при нынешнем равнодушии к поэзии.

«Да что отношения с людьми, – думаю я. – С парками он нашел общий язык!..»

И мистический холодок пробегает по спине, когда в очередной раз вижу на телеэкране старческое лицо человека, пережившего свою славу.

ТРЕТИЙ КЛЮЧ

Один из героев моей ранней повести видит высоко в небе самолет. Время предвечернее, на земле вот-вот наступят сумерки, а серебряный крестик все еще освещен солнцем.

Мой герой – только что вернувшийся из армии парень – замирает. Его душа рвется в высь за самолетом, он становится для него символом настоящей, яркой, праздничной жизни. Так не похожей на будни родного городка и тем более – на армейские будни...

Самолеты с тех пор изменились. Сейчас они в основном турбореактивные, оставляющие за собой инверси-

онный след. Сначала этот след в высоком небе ровен и четок. Но потом все больше и больше расплывается, перестает быть ровным – его размывают ветра, дующие высоко над землей. Потом след и вовсе исчезает.

Какие чувства испытал бы мой герой теперь, глядя на высокий самолет? Этот вопрос я задаю, в общем-то, себе – едва ли не каждый значимый персонаж это альтер эго писателя. Жизнь моего постаревшего героя уже не «ключ юности, ключ быстрый и мятежный», который «кипит, бежит, сверкая и журча». А завершающие строки пушкинских «Трех ключей» звучат так: «Последний ключ – холодный ключ забвенья, / Он слаще всех жар сердца утолит».

Метафора. Тающий инверсионный след – след от мечты, от самой жизни человека. Но знать это нашему сознанию скорее горько, чем сладко.

КУДА НЕСЕШЬСЯ, РУСЬ-ТРОЙКА?..

Магазин рыбкоопы в отличие от двух других деревенских магазинов называют Большим. «Где сушки брала?» – «В Большом». «Слышали, в Большой посуду завезли?..» На оба отдела, продуктовый и промтоварный, один продавец. В общем, обычный деревенский магазин, и пахнет в нем классически: селедкой (когда она есть) и то ли мануфактурой, то ли обувью.

Стою в неторопливой очереди. Впереди всего-то два или три человека, но никто никуда не спешит, и стояние растягивается минут на пятнадцать. Продавщица и очередь обсуждают недавнее повышение цен. В голосах ни возмущения, ни досады. Ну разве что легкая укоризна – неизвестно кому. Новых ценников еще нет, по крайней мере, они не на всех товарах, и покупатели часто спрашивают у продавщицы что сколько стоит.

Подходит очередь женщины, которая впереди меня.

Лица не вижу, но по всему чувствуется, молодая.

– Полкило риса, бутылку водки и бутылку вина.

– Ма-а-м, – канючит рядом девочка и дергает женщину за руку. – Жвачку, мам...

– Молчи ты! – цыкает на нее женщина.

Продавщица щелкает счетами, называет сумму. Женщина на мгновение задумывается.

– А перловка сколько стоит?

Перловка стоит дешевле.

– Тогда полкило перловки, бутылку водки и бутылку вина, – меняет заказ женщина.

Уложив покупки в пакет и расплатившись, она уходит. Как мне кажется, довольная тем, что с честью вышла из трудного положения.

ПОКОЙ

Прийти в избушку, здороваясь по дороге с нечастыми встречными. Посмотреть с высокого берега на Вах – начало декабря, а полыньи еще не затянуло, парят. Бросить традиционную сушку Мистеру-Твистеру, вылезшему из будки и сладко потягивающемуся. Взять лопату и не спеша отбросить снег от крыльца, вдыхая вкусный морозный воздух.

Затем проинспектировать подпол – не поедена ли картошка, мыши в эту пору уже возвращаются с огорода, где обитают до холодов. Удовлетворенно окинуть взглядом банки с вареньями и соленьями – постаралась моя Галина Александровна, вполне хватит семье до следующего лета...

На первый взгляд, повседневность, способная надоесть рутина. Но в моей душе покой и умиротворенность. А сознание, что, вернувшись домой, напьюсь чаю и засяду в уютном круге лампы сочинять, делает меня еще счастливей. Ничего другого душе не надо.

В который раз вспоминаю булгаковскую Маргарит-

ту, попросившую для Мастера покоя как награды. В молодости я не понимал, какое это великое благо для прожившего человека.

Созрел...

ДВЕ СТОРОНЫ МЕДАЛИ

– Рая, ты ничего не хочешь мне сказать? – спрашивала Валентина Григорьевна прокурорским тоном.

Наша однокурсница терялась, опускала голову, бледнела. Валентина Григорьевна выдерживала паузу, во время которой девушке полагалось в полной мере осознать свою пока еще не известную, но вину. Оказывается, вчера вечером Рая стояла у двери общежития с каким-то парнем, и Валентина Григорьевна видела это.

Такие сценки разыгрывались обычно на классном часе. Если по школьным меркам, Валентина Григорьевна была у нас классным руководителем. Как такая должность именовалась в техникуме, я не помню. Сценки обычно заканчивались сентенцией на тему: любовь должна тянуть вверх, к звездам, а не в подворотню. И всё это с актерским придыханием.

Вместе с Раей (Лидой, Беллой) опускали головы и мы. Нам, ребятам шестнадцати-семнадцати лет, было мучительно стыдно. Не за сокурсниц – за Валентину Григорьевну. В таком возрасте мир воспринимаешь особенно остро. В нашей группе было всего три девчонки, и обсуждать их жизнь при всех казалось нам бестактно и грубо. Да еще с таким наигрышем, фальшиво.

Валентина Григорьевна была карьеристкой. Разве что на ниве просвещения, выражаясь газетным языком. Она поставила цель сделать нашу группу лучшей в техникуме – и добилась этого. И снова средствами, которые вызывали неловкость за нее. На экзаменах усаживалась рядом с преподавателями и не уходила до

конца. Преподавателям, людям в большинстве деликатным, ничего другого не оставалось, как быть к нам снисходительными. В итоге на третьем курсе все экзамены наша группа сдала без троек. Возможно, этот рекорд держится в техникуме до сих пор.

Помню я и другие экзамены – вступительные. Первым был диктант. Заваливала абитуриентов Валентина Григорьевна немилосердно. Мы писали отрывок из очерка Горького о Ленине, в котором писатель довольно свободно обходится с пунктуацией. Авторское видение. Но в фразе «Владимир Ильич вошел на кафедру, картаво произнес «товарищи» – обычный грамотный человек напишет: «... произнес: «Товарищи!»». Однако это Валентина Григорьевна засчитывала как ошибку. И если бы только это. В итоге из абитуриентской группы в тридцать человек после первого экзамена осталось тринадцать. Да и те получили тройки.

Ларчик, думаю, открывался просто. На первом экзамене требовалось отсеять как можно больше абитуриентов. Прием, как бы помягче выразиться, некорректный. И наверняка сказался на судьбах многих ребят. Я уж не говорю о том, что он не имел смысла. Для учебы в индустриальном техникуме больше необходимо знание математики.

Делом карьеристских устремлений Валентины Григорьевны было и то, чтобы наша группа в полном составе получила дипломы. Один из ребят, Рома Сербеньюк, на последнем курсе безоглядно влюбился, первое чувство заслонило перед ним все, в том числе учебу. Преддипломную практику он с горем пополам еще прошел, но дипломный проект делать не стал. Мы на него наседали: «Ты что, больной?! Два месяца осталось – и всё, защитишься!...». Не помогало. Рома утонул в любви с головой.

Валентина Григорьевна пошла к нему домой, напористо уговаривала, ругала, подсоединила родителей... Наш Ромео появился в техникуме дней за десять до за-

щиты, с общей помощью подготовил диплом и защитился. Своей цели Валентина Григорьевна добилась и на этот раз.

Ладно, карьеристка, бестактный человек, актерствующая дама – думаю я сейчас. Но что в сухом остатке? Может, действительно не дала той же Рае, оказавшейся одной в большом городе, покатиться по наклонной плоскости, как Валентина Григорьевна любила выражаться? Да, изнасиловала экзаменаторов, зато вся наша группа стала получать стипендии. Стипендия была мизерной, но без нее, например, Вася Юрнюк вряд ли смог бы учиться – помогать ему было некому.

С Ромой Сербенюком ситуация тоже неоднозначная. Пусть Валентина Григорьевна преследовала свои цели, но Рома все-таки получил диплом, не пропали четыре с лишним года учебы. Диплом помог ему потом определиться в жизни.

Не могу разве что найти оправдания отношению к абитуриентам. При всем моем нынешнем понимании диалектической сущности событий. Не смягчает меня и предположение, что инициатива могла исходить не от Валентины Григорьевны, а от руководства техникума.

Но я спрашиваю себя: кто сказал, что все в мире должно уравниваться? Плохому должно обязательно находиться хорошее? Не есть ли мое желание примирить одно с другим усталостью пожившего человека?..

Не знаю.

*Р*АССКАЗЫ

* * * * *

СЛУЧАЙ С ОЛЕЙ ГУСТЕШОВОЙ

В этом был свой кайф – с Игорем в такой день останется сидеть свекровь. Ольга не планировала, само вышло, и она, когда сопоставила, усмехнулась. Ваш счет, мадам. То, что свекрови к тому же придется отказаться от поездки на дачу, тоже было неплохо. Мелочь, но приятно, как говорится.

Что-то Ольге подсказывало, лишний раз дразнить гусей ни к чему, но она все же подняла трубку и набрала номер.

– Зинаида Викторовна? Доброе утро. Я Игоря предупредила, сегодня из школы его забираете вы.

– Оля, у меня хорошая память, – после секундной паузы ответила свекровь. И Ольга отчетливо представила ее сдержанно досадливое лицо, полную белую руку с перстнем, прижимающую к уху трубку.

– Так я могу на вас рассчитывать, Зинаида Викторовна? – как бы даже заискивающе и с благодарностью спросила Ольга.

– Вы всегда можете на меня рассчитывать, Оля, – ровным голосом сказала свекровь. – Всего хорошего.

Ольга еще посидела, удовлетворенно слушая гудки. Потом тоже опустила трубку. Лимитчица. Она, коренная москвичка!.. Разнеженный Славка как-то признался в постели, что так свекровь зовет ее. Сказал со смехом, но Ольга запомнила. Она не забывала таких вещей.

Она легко поднялась от телефона и, включив телевизор, принялась за уборку. Обычно убиралась по выходным, но сегодня особый случай, все обязано блеснуть. Антон должен видеть, что она представляет из себя как хозяйка. Секс сексом, но когда мужику за тридцать, он

начинает ценить налаженный быт. И на обед все будет тип-топ, на кухне размораживается индейка. Не пошлая курица, а настоящая индейка. Из духовки да под винным соусом!.. Ольга негромко запела, у нее было глубокое волнующее меццо.

В начале двенадцатого она спустилась в магазин – оказалось, что в доме нет кетчупа. Это кстати. На днях видела в универсаме итальянский. Он вполне хорош, а в их универсаме дешевле, чем в коммерческих ларьках. В доме все должно быть на уровне. Даже в мелочах, Антон наблюдательный, оценит и это.

День был солнечный, по-октябрьски золотой – в окна на лестничных площадках обсаженный деревьями двор как на ладони, – и Ольга опять усмехнулась, чуть сузила глаза. Хорошо сейчас работать с граблями на солнышке, палый лист яблонь вокруг дачи чудесно пахнет, воздух свежий, голубоватый... Увы, мадам!

На втором этаже ставили металлические двери. Какая-то эпидемия с этими дверями, – можно подумать, все поголовно разбогатели, боятся, что ограбят. Двое молодых мужчин в клетчатых рубашках и комбинезонах – под западных рабочих – закрепляли притолоки, покрашенные блестящей черной краской. Один из мужчин окинул спускающуюся по лестнице Ольгу долгим взглядом. Ольга холодно посмотрела на него. И в ту же секунду ее словно током пронзило.

Да! Да!

Она почувствовала, как жарко и сладко дернулось внизу живота, как мгновенно потяжелели, сделав тесным бюстгальтер, груди. Черные усы, откровенный прямой взгляд, крепкое лицо с раздвоенным подбородком – ее тип. Мужчинистый мужчина, как говорили девки на прежней работе, в салоне. Жан Марэ, Александр Серов.

Не меня выражения лица, она прошла мимо. Уж что-что, а владеть собой Ольга умеет.

В свое время у нее было несколько таких парней. С

ними она действительно не знала проблем с оргазмом, минута – и готово. Но эти на вид крутые мужики для жизни не годятся. Вскоре оказывалось, что или здорово зашибают, или такие ничтожества, что противно. А один, майор из академии Жуковского, все время норовил сделать двустволкой. Отлично учился, пояс по тхеквандо, а как ложились в постель, начинал просить изображать мальчика. На Жана Марэ оказался похожим не только внешне.

В общем-то, когда у тебя появляется опыт, понимаешь, жить эмоциями нельзя. Замуж она вышла за Славку, хотя кончает с ним по большим революционным праздникам. Зато надежная семья. Для женщины это много значит. Есть, конечно, и к Славке претензии, иначе не закрутилось бы с Антоном, но по большому счету он не худший вариант.

Ольга подумала о муже почти нежно, даже с легким сожалением, будто они уже разошлись. Если серьезно, все в жизни случайно, в том числе близкие люди. Заменяемо – вот точное слово. Знакомишься с неплохим вроде бы человеком, каких в Москве сотни тысяч, начинаются отношения, привязываешься, но все, если без романтических соплей, – из тебя самой. Ты – главное. Будет другой человек – все окажется таким же, ну, с небольшими вариантами. Этот или другой, разницы особой нет, потому что основное ты сама. Однажды по телевизору Ольга видела сюжет, как шелкопряды вьют коконы. Им бросают сухие ветки, и каждая гусеница устраивается на той, что к ней ближе. Хотя веток этих куча.

У подъезда, толкая перед собой детскую коляску, гуляла Света с третьего этажа. На мгновение Ольга задержала шаг. Совсем ни к чему, что Света увидит ее, – все нормальные люди уже на работе. Она, конечно, не будет знать, к кому в подъезде идет Антон, но береженого бог бережет. Надо что-то делать. Широко улыбаясь, Ольга направилась напрямиком к коляске.

– Как живете, как животик? – Она склонилась над ребенком, зачмокала губами. – Какие мы большие, какие серьезные!.. Не приставай к нам, тетка!..

Света смотрела на нее с недоумением. Что ж, понятно, Ольга не слишком подпускает к себе, подруг в подъезде у нее нет.

– Свет, ваши из деревни картошку в этом году привезут?

Соседка, все еще недоумевающая, пожала плечами.

– Вроде обещали.

Она несколько раз пыталась поближе сойтись с Ольгой – то забежит денег на день-два перехватить, то сообщит, что в овощной дыни завезли, – но Ольга держала ее на расстоянии. Что у нее может быть общего с этой многодетной бабой? Двое в садик ходят, так ей показалось мало, третьего завела. Это по нынешним-то временам.

– Светик, большая просьба. Если будет возможность, мы купили бы мешок, а? Ладно?

– Хорошо. – Соседка опять пожала плечами.

– Ну, побегу. Опоздала – кошмар! Начальник холку намылит, точно. – Ольга сделала рукой в сторону коляски. – До свиданья, маленький!..

Пусть думает, что она из-за картошки подкатилась. Главное, чтобы видела, ее дома нет, ушла на работу. Если даже заметит Антона, его появление связывать с Ольгой не будет. А как уж она проскочит незамеченной обратно, это ее проблемы...

С гуляющими мамашами надо быть осторожной. Очень. Целыми днями ошиваются во дворе, все видят.

До обеденного перерыва в департаменте время еще оставалось, и ванну Ольга принимала не спеша. Приятно было лежать в пахнущей лавандой воде, расслабленным движением отводить от лица высокую легкую пену. Хорошо.

Однако настоящего покоя все-таки не было. Чем

ближе к часу, тем муторней становилось. Ольга знала за собой эту особенность, вернее, слабость. С утра вроде бы ничего, все четко и ясно, никаких комплексов, а потом потихоньку начинал точить червячок, появлялась дурацкая неуверенность. Волей только держалась. И – логикой.

Она отлично понимала, что рискует, но в самом деле наступила пора пригласить Антона к себе. Конечно, лучше бы на нейтральной территории, но снимать квартиру ей не по карману, а Антон ни разу даже не заикнулся. Любовь в конторе для начала, может, и неплохо, но если хочешь серьезных отношений, нужно переводить на другие рельсы. Иначе, Ольга знала, закончится ничем, само собой сойдет на нет, а это в ее планы не входило.

И еще. Был в ее приглашении один момент, может, самый главный. Надо знать, как далеко Антон намерен зайти. Одно дело собачьи радости на работе, другое, когда замужняя женщина приглашает тебя домой. Это уже обязывает. А мужики, в общем-то, трусы. Надо было видеть Антона, когда она попросила отгул и сказала зачем. Опустил голову и принялся один за другим выдвигать ящики стола, будто там его ждало что-то необыкновенное. «Тебе неудобно, что Славка одноклассник, стараюсь, чтобы в голосе прозвучало легкое разочарование, спросила она. – На коллегии ты был без сантиментов. До сих пор помню, как врезал этим мафиози...»

Рассчитала она верно. В них столько мальчишеского, лишь подхвали, в лепешку расшибутся. А уж показаться трусом не бывает хуже. «Хорошо, – сказал Антон и поднял на нее усмешливые глаза. Он все понимал, человек неглупый, а все же делал, делал, как она хотела! – Приду, девушка. Все нормально».

И все же Ольга теперь сомневалась. Может, обычный ее бзик, вдруг накатившая неуверенность, а может, и нет. Каждый человек – ящик с двойным дном, что-то

на виду, а еще больше скрыто. Чего, например, Антону стоит сказать, что как раз перед самым обедом его вызвало начальство? Или неожиданное совещание, и такое бывает. Да мало ли. Вычисляй потом, так ли на самом деле или благовидный предлог. Еще эта заноза – Вика, жена, тоже надо что-то делать. Антон с ней то сходится, то расходится, может, Ольга для него так, сбить охотку, и нынешнее положение его вполне устраивает.

Глухо – сквозь дверь – зазвонил телефон. Ольга потянулась к халату. Полногрудая, белокожая, еще стройная, она приподнялась над ванной, но тут же, улыбнувшись на себя, опустилась обратно. Рефлекс. Ее нет сегодня дома. Для всех, кроме Антона, она в Медведково, в местной командировке, вернется поздно.

Звонки оборвались, однако через минуту телефон зазвонил опять. Дублируют. Интересно, кто? Стараясь не намочить волосы, которые упрямо вылезали из-под шапочки, Ольга откинулась назад, удобнее устроила затылок на крае ванной. Нет никого дома, нет!..

А поначалу она на Антона не обратила внимания. Обычный мужик, уже с залысынами и брюшком, хотя со Славкой они одногодки. Славка их и познакомил на встрече выпускников. Ольга к таким мероприятиям относилась прохладно, в своей школе ни разу не была, да и зачем они, эти надоедливые «а помнишь?» от давно уже чужих друг другу людей? Но Славка ее потянул с собой. «Ты ничего не понимаешь! – Он крутился перед зеркалом, прикладывая к рубашке то один, то другой галстук. Ольга давно не видела его таким возбужденным. – У нас отличные ребята, в школе был самый дружный класс!.. И в бизнесе ребята могут помочь. А что, идея!» Ольга ничего не сказала, но про себя усмехнулась. Бизнесмен по трехпалым рукавицам...

Славкины одноклассники ее в самом деле удивили. Обнимались, кричали, перебивали друг друга, женщины пустили слезу. На столах одно шампанское, а вели себя, как здорово поддатые. Славка прыгал стрекозлом,

цвел и пахнул – Ольга не знала, что он может быть таким. Мужчины сгрудились в кружок, согнулись, как хоккеисты перед матчем, что-то неразборчивое скандировали, потом запели про негра Томми саженного роста, которого линчевали за любовь к белой девушке, хоть кожа черная у нас, но кровь красна...

По всему было видно: этот работяга, этот в конторе где-нибудь сидит, этот из нынешних – смотрит как бы издалека, покровительственно, – но все дурили и бесились, как пацаны. «Оля, я здесь человек! – шептал Славка, глаза у него были сумасшедшие. – Ребята мои, девчонки!.. Оля, счастье!..» – и бил себя кулаком по коленке. Ольга немного даже обиделась – выходит, она счастья мужу не дала, раз он счастлив среди бывших одноклассников.

С Антоном они оказались рядом за столом. Когда он узнал, сколько Ольга получает (салон без работы, клиенты почти не ходят), предложил утроить к себе, в недавно организованный департамент. И устроил. Взял в инспекцию, в котором был замом начальника. Славка, тот только щеки умеет надувать: «Не бойсь, с моими связями ноу проблемс!..» Будто сам не убедился, как бывшие комсомолята шарахаются друг от друга. Не то что ей, ему помочь не захотели. Сообразительные ребята, одни из первых подались в бизнес. Славка у себя в райкоме промедлил, думал, Горбачев устроил великую провокацию, выявляет ренегатов. Дитя. У них вся семья с прибабахом. Это поначалу Ольга считала, что ей повезло – свекр кандидат наук, преподает, свекровь знает французский, что-то там переводит. Все ясно стало потом. Свекр, пока не умер, таскался, уже пенсионер, к себе в институт на партсобрания, после девяносто первого устраивали сходки на квартирах, клеймили, пели «Интернационал»... Свекровь, наоборот, оказалась демократкой, до октябрьских событий ни одного митинга в Москве без нее не обходилось – еще бы, дворянских кровей...

Славка после райкома долго не мог устроиться. С

большим трудом взяли в фирму, которая занимается рабочей одеждой – комбинезоны там, рабочие рукавицы, халаты. Платят немного, меньше, чем она в департаменте получает, но не это хуже всего. Сломался ее благоверный. Может часами лежать на диване, изучает узоры на покрывале. Или вдруг вскочит, давай, мол, схожу в магазин, уберусь в квартире. Как-то даже белье постирал. Суетится, а все равно пришибленный. Тридцать два мужику, мог бы запросто вписаться в ситуацию, сейчас как раз такие делают деньги. Чего-то ему не хватило, хотя данные вроде бы...

Ольга глубоко вздохнула и поднялась из ванны. Скоро час, пора. И надо посмотреть, как там индейка в духовке.

Сегодня все должно быть на высшем уровне. Обязательно!

Антонов приход был смазан. Опять зазвонил телефон и звонил так настойчиво, что Ольге сделалось тревожно. Однако она не шевельнулась, не отошла от окна, из которого видна была остановка. Нет ее дома, нет.

Трубку нельзя было брать ни в коем случае, все так, но времена, когда она ждала от жизни чудес и счастья, давно прошли. Вместе с не по-хорошему упорными звонками выскочила мысль, которая постоянно сидела в ней и которой она боялась, – что-то с Игорем.

Она подошла к телефону, минуту стояла, не поднимая трубки, потом все же не выдержала.

– Да.

– Наконец-то!.. Ты, мать, даешь, полчаса телефон обрываю! На горшке сидела?

Ольга узнала сразу: Женька Веселова, вместе работали в салоне. Первым порывом было обложить ее, но Ольга сдержалась.

– Вы ошиблись номером, – сказала она и положила трубку.

Нашла время звонить, идиотка!

Она знала, что Женьке нужно от нее, откуда эти звонки чуть ли не каждый день и долгий треп ни о чем. Веселова ушла из салона на год раньше ее. Тетка она активная, хабалистая, стала мотаться в Эмираты, торговала в Коньково и одно время звала Ольгу к себе – мол, человек с головой в этом деле не пропадет. Ольга не пошла. Поздно, челноки, кто первым среагировал, сливки сняли. А тут и работа в департаменте подвернулась. Угадала она точно – у Женьки начались неприятности то ли с налоговой инспекцией, то ли с рэкетом. Ей даже мебель пришлось продать. Теперь она искала нормальную работу, клещом впиалась в нее. Ольга могла бы помочь, в хозу есть места и отношения с бабами у нее там хорошие, но что-то подсказывало – не торопись. По-времени. Так будет лучше.

Ольга даже не сразу сообразила, что на этот раз звонят в дверь. А когда наконец поняла – нет, не телефон, – бросилась в прихожую. Но все равно осталось подспудное, тревожащее: почему звонят домой, если она на работе?.. Другие чувства перебили беспокойство. Потом, ладно.

В белом плаще, с дорогим букетом роз Антон смотрелся импозантно. Стоял у порога, улыбался и был несколько смущен. Ольга быстро впустила его, закрыла дверь и почувствовала, как пружина внутри ослабла. Пришел!.. И смущен. Хороший знак.

– Не откажите в милости. – Антон подал потрескивающий целлофаном букет и затоптался, снимая в тесной прихожей туфли. Он не знал, как себя вести и от неловкости переигрывал. Похохатывал, преувеличенно внимательно рассматривал безделушки на трюмо, кивнул на поданные Ольгой шлепанцы: – Славкины?..

– Обижаетесь, начальник. Ненадеванные, – в тон ответила Ольга.

Она опять чувствовала себя уверенно, хотя, в общем-то, все только начиналось. Спрятала лицо в цветы, вдохнула нежный, пахнущий молодостью запах. Да-

рили. Трезво подумала, что придется выбросить в мусоропровод. Славка не должен ни о чем догадываться, все еще так тонко.

– Я тебя такой еще не видел. – Антон удивленно смотрел на нее. Румянощекий, крепкий, словно гриб-боровик, он был по-своему симпатичен и восхищался, похоже, искренне: – Царица!.. Я не шучу.

Ольга, поправив складки на новом платье, не знала, куда девать руки. Она волнуется, встреча с мужчиной дома для нее не обычное дело, Антон должен это видеть. На него она не смотрела, но чувствовала, как в нем что-то быстро менялось.

– Я так не могу. – Антон не сводил с нее глаз. Он сглотнул и подался вперед, обнял жесткими руками.

Ольга хорошо знала, что это значит у мужчин.

– Ты хоть плащ сними...

Хорошо, что не вытащила индейку из духовки, стыла бы сейчас на столе.

Антон шепнул:

– Что-то не так?

– Все нормально.

– Я же чувствую.

– Все хорошо. – Ольга сосредоточенно прикрыла глаза, откинула на подушку голову и принялась с силой поддавать бедрами навстречу Антоновым движениям. – Сейчас, милый, сейчас... минутку... подступает...

Его не обманешь. Это Славка балдеет, когда она избражает негритянскую страсть, а Антон как-то хмыкнул: «Театр одного актера, девушка?..» Самое слабое место в их отношениях. На работе можно было свалить на обстановку, на то, что могут постучать в дверь, а здесь это не проходит.

Таскаешь, таскаешь свои травинки, разные зернышки, всякий нужный сор – муравей! Где улыбнешься, где пригласишь в комнату на чай, где дешево попадутся

маслины, обязательно пару банок для него – вам случайно не нужно, Антон Сергеевич, а то я пожадничала, набрала вот. Или вдруг задумчиво скажешь, нет, мол, душевно близкого человека рядом. Славка, что Славка – вместе растим ребенка, все давно прошло. Хотя, конечно, по-своему дорог, все-таки муж. Что дорог – обязательно, она не профура и не собирательница скальпов. И все нужно мягко, на полутонах, не перегибать палку. Баб, которые откровенно бросаются на шею, мужики боятся. Сколько терпения, унижений и зависимости, кто бы знал!..

Ольга попыталась сосредоточиться, представить что-нибудь из «Калигулы». Антон нес глуповатое, постельное, бог с ним, верит, что женщина любит ушами. Она взяла его руку, просунула между вспотевшими животами – туда, вниз, к заветному.

– Девочка моя... – Антон погладил ее, нежно коснулся уже успевших сбиться волос на подушке. – Не получается, и ладно. Ты мне и такая нравишься, оставь.

Ольга не ответила. Нет уж, на такие штучки она не покупается. Подумает, фригидная. Фригидных мужики не любят. Оставалось одно средство, которое она открыла для себя недавно. Что-нибудь сильное, резкое, жестокое. Последняя коллегия, когда Антон врезал этим лощеным мальчишкам из благотворительного фонда. Она тогда почувствовала почти то же, что и сегодня на втором этаже, где ставят дверь. После коллегии даже пришлось пойти поменять прокладку.

Так, Антоново разгоряченное лицо, жесткие слова, губы четко произносят каждую букровку, сила в борцовских крепких плечах, шее – и перетрухавшие молокососы, устроились, сволочи жидкие, у каждого счет за границей, на иномарках ездят. Антон их давит, размазывает по стенке, в нем сила, гнев, мощь, его не удержат, не запугать, киллеров не боится – бледные, глазки опустили, трещат куриные кости, дерьмо полезло, ничто не поможет, сволочи, подступает, дави их, Антон,

дави, ничтожества, мразь, подступает, подступает, Антон, сволочи, сволочи, Антон!..

Она сама такого не ожидала. И так быстро. Вверху лопнуло множество огней, расцветило небо пронзительное счастье. И еще раз! И еще!..

Праздник, салют. Даже больно.

Ольга обмякла, руки соскользнули с Антоновой спины, голова обессилено завалилась набок.

– Однако!.. – Антон был приятно удивлен. Он грузно опустился рядом, просунул руку ей под голову и притянул к себе. – Умница моя. Мы с тобой дуплетом.

– А то, – слабо сказала Ольга.

Слава богу!..

Момент был самый неподходящий, умиротворенность и полная расслабуха, но именно тут ее осенило. Словно из кубиков с разноцветными боками – такими кубиками еще недавно играл сын, до сих пор где-то лежат на антресолях – вдруг сам собой сложился цельный рисунок. Женьку Веселову она в департамент устроит, ладно. Но сначала та должна помочь с Викой, Антоновой женой. Нужно сделать так, чтобы они разошлись окончательно. Как – не ее проблемы. Если Женька хочет работать в департаменте, пусть думает. Всю информацию она даст, а там Женькино дело. Женька ушла, сумеет.

Все сошлось четко и жестко, едва ли не с металлическим щелчком.

От неожиданной удачи Ольге стало весело. Ее охватило нетерпение, захотелось сейчас же спросить Антона о жене (она ее как-то видела, Вика заходила в департамент – крашеная блондинка, ничего особого). Но Ольга знала, теперь нельзя. Уткнувшись Антону в плечо и посмеиваясь, она стала рассказывать, как обвела сегодня вокруг пальца бдительную соседку, вернулась домой никем не замеченной.

У них должны быть общие истории, свои тайны, понятные с полуслова приколы. Это связывает проч-

нее секса. Антон должен считать, что отлично знает ее, что она перед ним как на ладони. Долгий, осторожный труд. Она терпеливый муравей.

– А как ты вернулась? – Антон по-прежнему обнимал ее, пресыщенного равнодушия не чувствовалось в нем. И Ольга опять порадовалась: похоже, действительно любит.

– А ты не обратил внимания на террасу вдоль четвертого этажа?

– М-м... Что-то такое есть.

– Это на случай пожара. Вдоль всего дома, есть выход на лестницу каждого подъезда... Ну?..

Антон пристально смотрел на нее, его губы расплывались все шире и шире.

– Да ты коварная женщина!.. Вошла в другой подъезд, по террасе – и на свою лестницу?..

– Соображаешь, – Ольга польщено улыбалась. – Сам понимаешь, мне гласность ни к чему, я не Горбачев.

Антон захохотал и принялся тискать ее.

– С тобой надо быть бдительным!

– Не тебе, – шепнула она. – Не тебе, милый...

Уже потом, думая обо всем случившемся, Ольга никак не могла вспомнить, кто из них первый услышал, как задергалась на цепочке дверь.

Выражение Антонова лица запомнила хорошо – мгновенная отчужденность, неприязнь. Наверно, подумал, что она его подставила. «Кто?» Ольга выскочила из постели и метнулась к двери в спальню, где они были, щелкнула задвижкой. Это Славка, ключ только у него. Почему?! Сам говорил, будет весь день занят, у них на складе инвентаризация!..

На какое-то время она потеряла голову. Это только в анекдотах смешно, когда муж приходит домой и застаёт любовника. «Одевайся, посидишь на балконе! – зашептала она и бросилась, комкая, собирать валяющуюся на паласе Антонову одежду. – Быстро! На!..» Глупо, конечно, и тоже из анекдота – прятать любов-

ника на балконе. Позже Ольге будет неприятно вспоминать об этом. Антон усмехнулся и отстранил ее: «Не пори горячку». Он оделся и вышел в прихожую, где сквозь щель, что позволяла цепочка на входной двери, слышался сдавленный Славкин голос: «Оля, что случилось? Оля, открой!..»

Она щелкнула за Антоном задвижкой и принялась быстро одеваться. Глухое бормотание мужских голосов, возня, что-то упало, похоже, Славка рвался к спальней, Антон не пускал. «Ну, блядюга! Я тебе!..» Ожесточенное сопение, может, дерутся.

Ольга уже взяла себя в руки. Здесь ее не должно быть. Пусть мужчины разбираются сами. Она дождалась, когда немного затихло – кажется, Антон оттеснил Славку то ли на кухню, то ли в Игореву комнату, – и выглянула в прихожую. Схватила плащ и выскочила на лестничную площадку. Так, хорошо. Теперь за Игорем. Как бы дело ни повернулось, она его не уступит.

Сын у свекрови, и Ольгу словно обожгло – придется встречаться с этой сукой. То, что Славку навела свекровь, она ни на секунду не сомневалась. Где просчет, что она не учла?!

Из автомата у метро она позвонила матери. Трубку долго не брали.

– Мамун, это я. Сейчас с Игорем приеду, останемся ночевать.

– Случилось что? – хмуро сказала мать.

– Приеду, расскажу. А что у тебя? Голос какой-то...

– С читателем, паразитом, воевала! – заблажила, будто только и ждала Ольгиного вопроса, мать. – Оба ваучера, сволочь, пропил! Хотела сегодня отнести, туда-сюда, их и след...

– Мамун, потом, – холодно остановила Ольга. Хотя в семье она была младшей, мать и сестра подчинялись, признавали ее ум. – Читатель нажрался – вызывай милицию, скажи, хулиганит. Пусть среди бомжей посидит, подумает. Я сейчас приеду.

Мать сразу сбавила тон:

– Может, не надо милицию? Все ж не молодой, еще чего отобьют.

– Решай как знаешь. Но чтобы мой ребенок пьяную морду не видел – поняла?

Читателем в семье прозвали отца, тихого пьяницу. Раньше, когда еще жили в коммуналке на Каляева, мать стеснялась, что он в одиночку пьет, и на вопрос соседей, чего это целыми днями не слышно мужа, кивала на дверь их комнаты, со значением говорила: «Читает!» С тех пор и пошло это «читатель».

В квартиру свекрови Ольга позвонила с каменным лицом. Ни слова не говоря, быстро одела Игоря и лишь перед самым уходом, уже в дверях, неожиданно, остро взглянула, рассчитывая что-нибудь заметить в Зинаиде Викторовне. Уж она бы ей все тогда сказала!.. Но столбовая дворянка делала вид, что ей жалко расставаться с внуком. Придерживала на вислой груди халат, сладко пела:

– Игорек, не забывай бабушку, хорошо, дружок? Приезжайте с папой в воскресенье, в зоопарка пойдем.

Стерва! Где, где она прокололась? Неужели, когда Женьке Веселовой ответила, а эта набрала номер, было занято, и она что-то сообразила?..

В метро Ольга подумала, что документы дома оставлять нельзя. Славка, хотя в прошлом и комсомольский работник, бывает дурным, может с ними что угодно сделать. На Пушкинской она пересела и через полчаса, держа Игоря за руку, стояла перед своим домом.

– Игорек, иди к ребятам в песочницу. Я быстро.

Сын посмотрел на нее своими серыми глазами, удивленно взмахнул длинными ресницами.

– Я уже большой, мама... Домой не пойдем?

У Ольги мягко, как ласковый звереныш, повернулось в груди сердце.

– Ты побудь пока здесь.

Совсем ни к чему ребенку быть свидетелем того, что

может произойти. От Славки можно ожидать сейчас любой выходки.

Однако то, что она услышала, осторожно повернув ключ, озадачило. В квартире пели пионерские песни. В первый момент Ольга подумала, что это радио на кухне, но потом поняла – нет, Антон и Славка.

Она ждала чего угодно, но то, что Антон еще здесь, более того, они вдвоем расппевают песни, заставило растерянно остановиться. Из прихожей было видно, что постель в спальней все так же разбросана, на паласе валяются мужские носки. А на кухне между тем пели:

Птица крыльями машет,
За собой нас зовет.

Пионеры, друзья и товарищи наши,
Собираются в дальний поход...

– Старик, – вдруг отчетливо послышался Антонов голос, – я перед тобой виноват, старик! Я не имел права так поступать. Ударь меня, я сволочь!..

У Ольги все внутри оборвалось. Она сделала шаг к кухонной двери, задержала дыхание.

– Ты не виноват, Тошка! Любовь всегда права! – Это уже Славка. – Я пас. Вы любите друг друга. Я не буду мешать, я не эгоист херов – уйду!..

– Категорически возражаю! Дай мне по морде, старик.

– Я не эгоист! Любите друг друга. Я к матери уйду, квартира ваша!..

– Оля твоя, старик! Я виноват, извини, Оля – твоя жена...

У нее лицо пошло пятнами, она с силой толкнула дверь. За кухонным столом сидели, обнявшись, муж и Антон. Под остатки индейки подтекало пролитое шампанское, которое она приготовила к Антонову приходу. Здесь же высилась неизвестно откуда взявшаяся и уже пустая бутылка «Распутина».

Увидев Ольгу, Антон поднялся. Выглядел он не та-

ким уж и пьяным, как можно было подумать по голосу.

– Я пойду.

– Нет, я пойду! – Славка ухватил Антона за плечи и попытался посадить на место. Крепкий Антон не сдился. – Это я лишний!..

Ольга переводила злые глаза с одного на другого. То, что она сейчас услышала, было оскорбительно само по себе. Но за всем этим всплывало еще одно, намного хуже. Ее сдали оба!.. Какое к черту благородство, какая порядочность. Просто оба от нее отказались!..

Она шагнула в прихожую, распахнула дверь на лестничную площадку и принялась срывать с вешалки и вышвыривать одежду.

– Пошли вон! Вон, козлы!

– Оля, ты неправа. Мы как интеллигентные люди...

– Вон!

Все так же в обнимку, задевая плечами углы и мебель, Антон и муж вывалились из квартиры. Ольга с остервенением захлопнула дверь. И остановилась, не зная, что делать дальше.

Красиво ее сделали, грамотно! Кто бы подумал!.. Недоценила, как недоценила!..

– У дороги чибис, у дороги чибис, – пели на лестничной площадке. Голоса постепенно удалялись в пролеты, становились гулками, бубнящими. – Он кричит, волнуется, чудак. А скажите, чьи вы? А скажите, чьи вы?..

Даже сквозь дверь было слышно, что кто-то из поющих то ли смеется, то ли рыдает. Кажется, Славка.

ОСКОЛОК ИМПЕРИИ

Участковый Плесовских копал картошку, когда услышал недалекий выстрел.

Удивляться, в общем-то, было нечему – охотничий сезон на водоплавающую птицу уже открылся. Настораживало другое: стреляли близко. Хотя и это можно было объяснить – озера и старицы подступали к поселку вплотную. Как раз на них опускались пролетающие утки.

Когда спина участкового под адидасовской курткой уже взмокла, ударила калитка на тугой пружине.

– Опять кого-то черти несут, – проворчала жена Лена, распрямляясь и глядя в сторону дома. Неполное ведро картошки покачивалось в ее руке, обтянутой грязной резиновой перчаткой. За почти десять лет службы Плесовских она так и не привыкла, что к мужу могут обратиться в любое время. – Гос-с-поди, греческая смоковница!.. Опять у нее проблемы.

В голосе Лены слышалась чисто женская неприязнь. Мало того, что идущая от калитки Машка Сардакова напропалую гуляла, так весной у нее еще умер ребенок. Выполз вечером за порог и угодил в лужу. За ночь вмерз в нее. Машка в это время спала пьяная.

– Евгений Сергеевич, – еще издали заговорила Сардакова льстивым голосом, – вам из сельсовета дозвониться не могут. У Батаева чэпэ. Осколок империи его медведя застрелил... То есть Ефим Егорович Сигильев медведя застрелил.

То, что почти у каждого здешнего жителя была кличка («погоняло» – говорила молодежь), Плесовских знал. Знал и то, что многих называли по имени-отчеству не из уважения, а потому, что иначе легко было

запутаться в многочисленных членах нескольких хантских родов, проживающих в поселке.

А вот почему Машка Сардакова заговорила таким голосом, он мог только догадываться. Машка закодировалась и уже третий месяц не пила. Ее даже взяли техничкой в поселковую администрацию, где она по совместительству выполняла обязанности посыльной.

«На всякий случай прогибается, – подумал Плесовских. – Похоже, не надолго ее кодирования хватит...». Сильно пьющих участковый не любил, и в поселке это хорошо знали.

Через несколько минут он – уже в форме и с официальным выражением лица – шагал в сторону рыбооповского магазина. Низкорослая Машка Сардакова едва поспевала следом. Что, впрочем, не мешало ей без умолку тараторить.

– Этот Ефим Егорович вообще оборзел. Считает, все ему можно. Отец рассказывал, он такой крутой раньше был! Если олени в колхозе пропадут, сам воров находил, милицию вызывать не надо. Всем говорил, скоро коммунизм наступит, нужно только хорошо работать и не пить. Прикольно, ага?.. Совсем одичал на своем стойбище! За что медведя застрелил? На него даже нефтяники приезжали смотреть. Медведь как негра увидел, так забился в угол клетки, испугался. Нормально, ага?..

Машка забежала сбоку, искательно заглядывая Плесовских в глаза. «Точно, сорвется скоро», – понял тот. С негром, инженером российско-американской нефтяной компании, действительно вышло смешно. К русским и ханты, которые частенько останавливались возле клетки, медведь привык. А вот черного человека увидел впервые. Мужики потом рассказывали, что медведь дрожал, прикрывался лапой и даже обделался. Может, привирают. Но негр обиделся, это точно.

– Правильно журналист его тогда назвал – настоящий осколок империи. Додуматься надо, лучше всего

для хантов колхоз! Вот придурок!.. Мы что, дети, чтобы на нас всю дорогу давить? Воспитатели!.. Мы как люди жить хотим, свободно. Чего нас воспитывать, этого нельзя, того нельзя... Я правильно говорю, Евгений Сергеевич?

Об истории с журналистом Плесовских тоже слышал. Несколько лет назад – он еще здесь не работал – приезжал корреспондент из Москвы и попросил, чтобы его познакомили со старожилом из аборигенов. Что-то там ему для экзотики нужно было. Дед Сигильетов как раз находился в поселке, с ним и познакомили. О чем они разговаривали, никто толком не знает. Только потом в поселковой администрации корреспондент качал головой и советовал внимательно присмотреться к старику. Не приемлет демократических преобразований. Может на других плохо повлиять. Даже не из застойных времен человек, а какой-то сталинист отпетый.

– Вы как представитель власти поддерживаете меня, Евгений Сергеевич? Хант тоже человек, свобода выбора у него должна быть. Жить надо, как хочешь. Согласно общечеловеческим ценностям. Я правильно понимаю?..

Плесовских покосился на нее. «Наслушалась телевизора... Сегодня и запьет, – окончательно уверился он. – Как раз зарплату в администрации выдавать будут». То ли специалисты в райцентре были слабые, то ли еще по какой причине, но на поселковых кодирование практически не действовало. Начинать пить по-новой, когда хотели.

У рыбкооповского магазина стояла внушительная клетка, сваренная из армированных прутьев. Внизу ее темнела непонятная издали грудка. Рядом топтались несколько мужиков, курили и негромко переговаривались.

– Здравствуй, Сергеич, – вроде бы по-свойски, но

в тоже время уважительно потянул руку фермер Батаев. Это был мужчина средних лет с бледным лицом, по виду язвенник. – Ерунда какая-то вышла, Сергеич. Думал пристрелить мишку по снегу, а видишь, опередили. – Батаев просунул ногу в белой кроссовке между прутьями и толкнул темно-коричневую грудку, оказавшуюся мертвым медведем. – Что сейчас с ним делать? Какая в сентябре шкура?.. Больше провозишься.

Плесовских тоже просунул в клетку ботинок с высокой шнуровкой и толкнул колыхнувшуюся массу. Казалось, медведь спит. Крови видно не было, лишь пологий лоб над полуоткрытыми глазами был мокрый, будто по шерсти потекло масло.

Мастерский выстрел.

– Кого-нибудь подозреваете? – как полагается, спросил Плесовских. Медведь принадлежал Батаеву, хотя фермер и держал его не на подворье, а рядом с магазином. Здесь постоянно крутились дети, подкармливали медведя хлебом и дешевыми конфетами.

– Я вообще-то не видел, а вот мужики ... – заговорил Батаев. Глаза у него бегали.

Он был совсем непрост, этот человек, знающий, чего хочет от жизни. Раньше Батаев, участковый слышал, заведовал местным отделением зверопромхоза, принимал у хантов пушнину, обеспечивал их боеприпасом и платил зарплату. А когда зверопромхоз прикрыли, не запил, не слонялся без дела, как многие промысловики, а подался в фермеры. Под это дело районная администрация давала хорошие ссуды.

– Так кто стрелял?

– Да вот говорят... Мужики, кто?

– Осколок империи. Он.

Участковый помолчал.

– Будете заявление писать или договоритесь между собой?.. Чего так водкой-то несет? – Плесовских повернулся к мужикам.

Те задвигались и отступили на шаг.

– Мы чего... Это от мишки, он пьяный был.

– Поили, что ли?

– Граммульку. Сам попросил.

Батаевский медведь был чем-то вроде бесплатного цирка в поселке. Кто его приучил к водке, неизвестно, но пил он с большой охотой. Обхватывал обеими лапами поллитровку, сгрызал крышку и, обливаясь, урча и закидывая голову, тянул из горлышка. Захмелев, вел себя, как шепутной мужик – ревел и пробовал раскачать клетку. Плесовских однажды сам видел.

– Ну так что? Решили?

Фермер потер ладонью шею, помялся.

– Тут вот такая ситуация, Сергеич... Медведь, конечно, мой, но подарил его дед Сигильетов. Так что вроде как и его тоже... – Батаев глянул в сторону мужиков. Лицо у него светилось честностью. – А с другой стороны, охоту открыли только на утку и гуся. До районной инспекции дойдет, спросить могут, где, мол, были. На ваших глазах происходило. Не знаю даже...

Плесовских усмехнулся. Хитрован! И рыбку, значит, съест, и на хер сесть. Ладно, посмотрим.

– Пошли, – бросил он и зашагал от магазина.

Мебель в избушке Сигильетовых была убогая. Непокрытый стол, две табуретки, железная койка в углу... У порога сидела на корточках старуха и стирала в корыте с мятыми боками.

Плесовских много раз приходилось бывать в домах местных жителей, и каждый раз у него начинало саднить сердце, когда он видел эту бедность. А ханты, казалось, не придавали этому никакого значения.

– Здравствуйтесь, – поздоровался он. Батаев держался на полшага сзади.

Худой высокий старик (он сидел, но рост был виден и так) повернулся и посмотрел на них большими и мутными за стеклами очков глазами. В руках он держал какие-то листки.

– Здравствуйте, – с достоинством отозвался старик и снял очки, к которым вместо дужек была приспособлена резинка. Хохолок седых волос остался торчать на затылке. – Из-за мишки пришли? Я музей разговариваю. Сиди здесь, Антонина.

Антонина, красивая румянолицая хантыйка, устроившаяся перед стариком на табуретке, неуверенно посмотрела на Плесовских и сделала было движение подняться. Участковый успокоил ее:

– Ничего, ничего. Мы подождем.

– Участковый тоже говорит, сиди, – довольный тем, что Плесовских не стал проявлять власть, отозвался старик. – Участковый уважает музей.

Плесовских сдержанно улыбнулся:

– А почему бы не уважать?..

Антонина, директор краеведческого музея, ему нравилась. Мало того, что симпатичная, так еще толковая, недавно окончила институт в Питере. Не так часто это среди здешних жителей случается. Досадно было лишь то, что девушка отчего-то сторонилась его. Хотя своего отношения к ней Плесовских никак не демонстрировал.

– Тогда я покурю во дворе, – торопливо сказал Батаев и с готовностью прошмыгнул бочком за дверь, стараясь не задеть стирающую старуху.

Дед Сигильетов прищелкнул языком и насмешливо развел руками.

– При советской власти тоже плохой люди был. Однако ханта за бутылку работать не заставляли, – проговорил он, явно имея в виду Батаева. – Сейчас можно, сейчас пожалуйста... Здесь я молодой. Тысяча шесть штук белка добыл. Фотографировали, грамота давали, отрез на костюм давали. – Он протянул Антонине желтевшую вырезку из газеты.

В отличие от большинства поселковых, говорил Сигильетов с сильным акцентом. Чувствовалось, всю жизнь провел в лесу, а русский выучил в детстве, когда

жил в интернате, и успел с тех пор его изрядно подза-быть.

– Ты просила, я стойбища привез. Возьми газету музей, пусть музей будет. Кому отдам? Умру скоро. Грамоты тоже бери, много дали.

Антонина осторожно приняла ветхую вырезку, негромким, волнующим Плесовских голосом сказала:

– К верхним людям торопиться не надо. Торум всех в свое время позовет.

– Э, Торум! Я в Торума не верю, нет его.

– Ваши отец и дед верили, почему вы не верите?

Девушка быстро посмотрела на Плесовских. По всему чувствовалось, присутствие участкового сковывает ее. Она вдруг перешла на хантыйский язык, и выражение лица у нее стало таким же, как в избушке Натускиных. Упрямым и замкнутым.

Тогда случилось то, что Плесовских до сих пор понимал плохо. Грамотный человек, пять лет в Ленинграде прожила, а... Бабка Натускина умирала от старости. Она пережила всех своих детей, внуки перебрались в Покачи, и присмотреть за ней было некому. Когда Плесовских вместе со специалистом по соцзащите поселковой администрации (это она подняла тревогу) вошли в избушку, от смрада невозможно было дышать. В тряпье на полу лежала высохшая мумия и слабо постанывала.

«В дом престарелых отправим, – заявила специалист, грудастая громкоголосая женщина. – Хоть помоют и накормят». «Не надо, – сказала Антонина, ее взяли с собой переводчицей. – Я буду за ней ухаживать». – «Она твоя родственница?» – «Нет. Она от русской пищи умрет». Специалист обиделась: «Чем наша пища плохая?.. Ты еще шамана вместо фельдшера позови».

Директор музея упрямо наклонила голову: «Не надо ей мешать. Ханты лучше умирать дома. Так всегда было». – «Ты это серьезно? – округлила глаза специалист по соцзащите. – Сама тоже лечиться не будешь, если прижмет?..». Антонина промолчала. Приводила она кого-нибудь в избушку Натускиной – чем черт не

шутит! – камлать над старухой или нет, Плесовских не знает. Но до самой смерти бабки ходила к ней. В дом для престарелых так и не дала отправить.

– Торум! Торум!.. Витька, – возбуждаясь, быстро заговорил по-русски и стал совать в руки Антонины какие-то фотокарточки дед Сигильетов. Он поглядывал на участкового, словно призывал в союзники. – Пьяный был, облас перевернулся, Витька утонул. Нет мой сын!.. Вовка, дочка муж, ноги отморозил, отрезали. Дочка его кормит, пенсию один пропивает, протезы ходить не хочет. Хорошо?.. Тоже возьми, стеклянный ящик положи. Внук четырнадцать лет, костер зимой зажечь не может, мордушку поставить не может, пить водку – может!..

Антонина опять что-то сказала по-хантыйски. Старик досадливо хлопнул себя по коленкам, деланно засмеялся. Чувствовалось, ему, пожилому солидному человеку, не полагается так горячиться в разговоре, особенно с женщиной, но уж очень, видно, за большое задела Антонина.

– Раньше молодые были, меня боялись, председателя боялись, милиция боялись, – с трудом подбирая слова, но все же по-русски отвечал он, поглядывая на Плесовских. Вены на его худой шее вздулись. – Сейчас никого не боятся! Воруют, пьют, баня не ходят. Трахома еще нет, вши есть, туберкулез есть. Это хочешь назад было? Как дед жил и отец жил? Такой Торум надо?..

Спокойствие давалось Антонине нелегко. Ее румяное лицо покраснелось еще больше, стало пунцовым. Она тоже заговорила по-русски:

– Были туберкулез и трахома, это правда. Но душа у ханты была живая, царь и купцы ее не могли убить. А коммунисты хотели нашу душу уничтожить. Это хуже, чем туберкулез и трахома.

Похоже было, что и она говорит это не столько для того, чтобы возразить деду Сигильетову, сколько для участкового.

– Ты тогда не жила, откуда знаешь?! – вставая с койки, закричал старик. – Почему говоришь?! – И перешел на хантыйский.

Он, видимо, сказал что-то оскорбительное, потому что молчаливая старуха у порога замерла, не вынимая из корыта мокрых рук, а Антонина вскочила с табурета и, мотнув полами городского плаща, стремительно вышла за дверь.

Плесовских чувствовал себя неловко, будто присутствовал при семейной ссоре. Дед Сигильетов достал из кармана мятую пачку «Примы» и закурил. Руки у него прыгали.

Участковый переложил с колена на колено папку из кожезаменителя, кашлянул. Нужно было работать. Однако старик заговорил первым:

– Как ребенок мишка был, маленький сын. Оленья молоко ему на стойбище давал, из соски поил... Витька утонул, Вовка ноги отрезали, внук учиться не хочет, водку любит – нет родных...

Из путаного рассказа можно было понять, что в позапрошлом году кто-то из дальних родственников оставил у старика на стойбище медвежонка. Мать убили в берлоге, а недельного сосунка пожалели. Дед Сигильетов к нему привязался. Пока было можно, держал на стойбище, потом подросший медведь стал пугать оленей. Пришлось привезти в поселок и отдать фермеру – в лес мишка уходить никак не хотел.

– Еду поселок – хорошо, радуюсь! Мишка увижу, поговорю, ласковый мишка, всё понимает... Витька пил, Вовка пьет, внук пьет. Приехал – мишка пьет! Лес жить не хочет, ягода есть не хочет, берлога спать не хочет. Пить – хочет! Зачем такой зверь?..

Досада и горечь в голосе старика были такие, что Плесовских не сразу спросил:

– Так вы его за это застрелили?

– Да! – с изумлением, словно удивлялся, что можно было поступить по-другому, подтвердил старик.

- Ружье зарегистрировано?
- Регистрировано.
- Документ где?
- Стойбище лежит.

Плесовских кивнул на старую, с вытертым ложем тулку на стене:

- Оно? Из него стреляли?
- Да, – простодушно сказал старик.

Плесовских поднялся, снял с гвоздя ружье, переломил пополам. Из стволов резко пахнуло порохом.

– Пока у меня побудет. Документ привезете, верну. Порядок должен быть.

На лице у деда Сигильетова мелькнули обида, но он тут же согласно закивал головой:

- Да, да, порядок! Понимаю!..

Плесовских удовлетворенно кивнул. Со стариками работать легко, у них еще прежняя закваска. Надо так надо. Это молодежь по пустякам лезет в бутылку. Наслушаются телевизора...

Ни во дворе, ни на улице Батаева видно не было. «Жучара, – подумал участковый. – Смылся... Потому, наверно, и язва у него – все думает, как бы выгадать».

Плесовских тоже знал, что на дальних протоках на Батаева рыбачат несколько поселковых ханты. Пушнину сейчас сбывать тяжело, а рыбу в городе продать можно. Денег Батаев хантам не платит, рассчитывается водкой. Тех это, видно, устраивает – с заявлением никто не обращался. Да и есть ли сейчас такая статья, чтобы за это привлекать?.. Другие времена.

А насчет тулки он, Плесовских, правильно сделал. Как бы старик за сородичей не принял. Пьющих в поселке с избытком. Прошлой весной, во время межсезонья, когда связь с городом была только вертолетом, Плесовских пришлось взять в осаду одну из избышек. Там засел пьяный хант с ружьем и палил во всех подряд.

«Ты, главное, горячку не пори, – сказал по радиации начальник районной милиции, тертый калач, прослуживший на северах добрых два десятка лет. Рация трещала и подвывала. – Не вздумай штурмом брать. Ты следи, чтобы никто ему водку не носил. Протрезвеет, сам сдастся». – «Товарищ полковник, может, группу захвата?.. Застрелит еще кого-нибудь. И к власти неуважение». – «Ага, сейчас я тебе вертолет со спецназом отправлю, – спокойно сострил начальник райотдела. – Ты где служишь? Умей находить с аборигенами общий язык. Привыкли, понимаешь, на большой земле... В общем, действуй. В смысле, не пори горячку. Само должно устаканиться».

Вышло так, как и говорил полковник. Хант протрезвел и вышел из избушки безоружный. Покорно молчал, когда Плесовских надевал ему наручники. Так же покорно сидел в вертолете, склонив к коленям взлохмаченную, давно не стриженную голову. Впору было пожалеть его, если бы этим же рейсом не увозили в город двух раненых.

«А может, не мешать деду? Он сейчас на взводе, пусть разберется с алкашами, как считает нужным...», – мелькнула мысль. Плесовских тотчас прогнал ее. Мало того, что криминал, так ведь еще и не поможет.

Работа, что ли, в поселке для хантов появится? Зверопромхоз восстановят? Или водкой в рыбокооповском магазине перестанут торговать?.. Нет, правильно сделал, что забрал тулку. Правильно.

Серенький денек к обеду разгулялся. За рекой горел золотом красивый, как у Левитана, березовый колок. Редкие осины бросались в глаза густым свекольным цветом. Вода с заливных лугов сошла в этом году поздно, и хозяева спешили запастись сеном. По противоположному низкому берегу ползала казавшаяся отсюда маленькой сенокосилка, звук тянувшего ее шестиколесного «муравья» был едва слышен.

«Посуху картошку докопаю» – с удовольствием по-

думал Плесовских, шурясь на пробивающееся солнце. Подбросив плечом сползающий ремень тулки, он заспешил домой.

Возле краеведческого музея участковый придержал шаг. Здесь стояли вывезенные с заброшенных стойбищ лабазы на высоких столбах с хитроумными – от мышей – вырезами. Рядом просторно расположились летние и зимние хантыйские жилища – приземистые, крытые берестой или плотно обложенные дерном. Чуть в стороне виднелся широкий загон с дымокуром, вокруг которого, участковый знал, олени спасаются летом от гнуса.

Общий тон этих экспонатов под открытым небом был неброским, серым. И, наверно, оттого, что стойбище выглядело забытым, каким-то обездоленным, казалось: время здесь остановилось. А если и двигается, то едва заметно, как сочится густая кедровая смола, наглухо запечатывая и чешуйки коры, и неосторожного муравья, и случайно коснувшегося крылом комара.

Сейчас острота уже не та, а раньше Плесовских чувствовал себя здесь так, словно смотрел по видею фильм про внеземную цивилизацию. Чуждое все и непонятное. Другой мир. Другая, непохожая жизнь.

«Интересно, а какими русские в первый раз хантам показались? – вдруг подумалось ему. – Бородатые, с длинными лицами, круглоглазые... Черти! Точно, черти!..»

Участковый усмехнулся.

Из обшитою вагонкой административного здания музея вышли Антонина и молодые учителя – муж и жена, тоже националы. Как и Антонина, одеты они были в непривычные для поселка длиннополые светлые плащи, но разговаривали по-своему. И совсем не смутились, не перешли на русский, когда увидел участкового. Судя по всему, учителя заходили в музей, чтобы всем вместе отправиться на обед.

Подавленной после разговора с дедом Сигильетовым Антонина не выглядела. Но Плесовских все равно захотелось сказать ей что-нибудь хорошее, ободряющее.

– Вы меня, Антонина Акимовна, в прошлый раз, честно сказать, поразили! Не каждый в наше время согласится ухаживать за беспомощным старым человеком, верно? Да к тому же еще чужим!..

Поравнявшись с молодежью, Плесовских прищурился, заулыбался. Он немного рисовался. И эти слова, и игривый прищур – всё для Антонины. Она ему все-таки нравилась, хотя рассчитывать женатому человеку здесь было явно не на что. Не девушка – кремень.

Учителя и Антонина с интересом посмотрели на него.

– Вы про Дарью Прохоровну?

– Ну да, про Натускину.

Молодежь переглянулась.

– А вы бы своего Бояна в дом для престарелых сдали?

– Бояна? – Плесовских сдвинул фуражку на лоб, комично почесал в затылке. – Если хороший баян, не сдал бы. Сам бы играл!

Девушки засмеялись, парень с редкими жесткими усами снисходительно усмехнулся.

– Вещий Боян, это из «Слова о полку Игоревом». Слышали о таком? – Молодое высокомерие к не слишком грамотному менту чувствовалось в его голосе.

– Приходилось.

– Дарья Прохоровна для нашего народа все равно, что для русских Боян или для греков Гомер. Она сказительницей была. Про нее в учебниках написано. Вы хотите, чтобы мы такого человека сдали в богадельню?..

Напористая молодежь. Новое поколение. Национальная интеллигенция, как в газетах пишут. Этим палец в рот не клади.

– А что же вы только о Натускиной позаботились? – заговорил он, понимая, что раздражаться сейчас

нельзя. Но уж слишком бесцеремонно вел себя молодой учитель. Да еще в присутствии Антонины.– Почему на алкоголиков не обращаете внимание, не боретесь? Почему не защищаете земляков, когда их в наглую обманывают? Почему насчет работы вашего голоса не слышно?..

Парень пренебрежительно усмехнулся:

– Вы считаете, надо против ветра писать?.. Наш народ всегда пил. И ничего, многие столетия живет и жить будет. И купцы его всегда обманывали. Тоже не смертельно.

– Так ведь спивается же!..

– А это уж позвольте не согласиться. Не сопьется. Компенсационные возможности у ханты велики. У вас, например, сколько детей?

– Один, – помолчав, ответил Плесовских. Похоже, этот салага брал над ним верх.

– А у нас с женой трое. Хотя мы моложе вас.

«Может, зря мы в их жизнь лезем?! – в сердцах подумал участковый. – Может, пусть живут, как хотят? Пьют, детей морозят, прохиндеи пусть их обманывают!.. Другой мир, свои законы».

– Участковый! – вдруг закричали сзади истошным голосом. – Участковый! Осколок привязался!..

Плесовских обернулся. По улице бежали два или три подростка, за ними, заметно поотстав, Машка Сардакова. Она и кричала. Машка прижимала к груди куртку, под которой было что-то спрятано. Сзади всех ковылял старик Сигильетов и размахивал палкой.

– Отдохнуть по-человечески не дает Осколок сраный! – От запыхавшейся Машки несло водкой. Волосы растрепались, на лице – праведное возмущение.

Машка мотнула головой на разбегающихся между потемневшими брусовыми домами подростков, цепкой рукой перехватила бутылку под курткой. – Я их заставляю? Сами приходят!.. Задержи его, участковый, он убить меня хочет. Задержи, виноват будешь!..

От прежнего заискивания не осталось и следа. Наглая опустившаяся бабенка. К тому же малолеток спивает.

– Завтра зайдешь ко мне. И чтоб трезвая! – жестко приказал Плесовских. Честно говоря, он был рад, что больше не нужно спорить с учителем.

Антонина и молодые учителя отвернулись, всем своим видом показывая, что происходящее их не касается.

– Да ладно тебе!.. – с пьяной фамильярностью Машка попробовала хлопнуть Плесовских по плечу. Она хотела сказать что-то еще, но оглянулась назад и припугнула по дороге, громко матерясь.

На деда Сигильетова и в самом деле было страшно смотреть. Застывшее лицо со всклокоченными седыми волосами, неистовый взгляд, побелели вцепившиеся в палку пальцы. Он пробовал бежать, но получалось это плохо. В конце концов дед добрал до участкового и остановился, трудно, со свистом дыша.

– Витька река утонул... – с паузами заговорил он так, словно искал защиты. – Вовка пьянка ноги отморозил... Внук оленя боится, умрет один лесу... Скажи, почему так?

Голос у старика делался все тише, плечи опускались, пальцы, сжимающие палку, слабели. Этот когда-то неукротимый человек уже не возмущался и не требовал, а только бессильно и горько недоумевал.

Он вдруг перешел на хантыйский. Плесовских ничего не понимал, лишь снова и снова отмечал знакомое «Витька», «Вовка».

И столько отчаяния и боли было в голосе старика, что Плесовских только смотрел на него и молчал.

ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ

Из Баку выехали весной, трава за домом успела вырасти по колени и вот-вот должна была зацвести. А в Климовом Заводе кругом еще лежал снег, из труб шел дым, и можно было играть в игру, которую Шура видел в кино – бросаться снежками.

Дорога в памяти почти не осталась, хотя, наверное, ехали дня три или четыре. Запомнилось лишь, что мама обещала купить в Минводах мороженого – оно, мама говорила, там самое лучшее – и, надо полагать, купила. Но ощущения упоительного белого холода, которое всегда вызывало мороженое, почему-то не сохранилось.

Еще взрослые говорили о Волге, которую должны переезжать, и Шура волновался вместе со всеми, подолгу стоял у края вагонного окна, заглядывая сколько можно вперед, хотя и был разочарован, когда ему сказали, что Волга меньше моря, возле которого они живут. Как приехали в Свердловск, а потом на рабочем поезде добирались до ближайшей от Климова Завода станции – Шура помнил смутно. Ничего интересного в этом не было. Зато как сразу все переменялось, когда появился дядя Гоша! В просторную комнату с голыми стенами, где все они сидели с чемоданами, вошел большой шумный человек, мама и Зина бросились к нему, стали обниматься, Зина заплакала... Это и был дядя Гоша, которого все ждали.

Случилась заминка – дядя Гоша приехал на мотоцикле и нужно было ловить попутную машину, чтобы забрать всех сразу. Машины долго не попадалось, дядя Гоша несколько раз забегал с улицы в просторную комнату, которая была залом ожидания, потирал холодные

руки, смеялся, успокаивающе тряс головой и тянул ребят к буферу. Всем троим он покупал компот и что-то в стакане себе. Компот был из слив, очень сладкий, Шура выпил целых три порции и удивлялся, почему мама сердится на дядю Гошу, хотя и старается при этом улыбаться.

Как ехали на машине – выхвачен лишь кусочек, картинка. Он с мамой и Петькой в гремящем кузове полуторки, Зина с маленьким Валею в кабине, из кузова сквозь зарешеченное оконце виден Валин островерхий капюшон, а впереди полуторки ссутулился на своем мотоцикле дядя Гоша. Мама прикрывает собой от острого ветра Шуру и Петьку, не дает смотреть вперед, но Шуру удастся все-таки выглянуть, и он видит крепко держащегося за руль дядю Гошу, ошметки сползающего грязного снега на его застывшей кожаной спине и какие-то низкие, из черных бревен дома, которые появились впереди. Шуру жалко, что мама не разрешила ехать с дядей Гошей на мотоцикле. За рулем есть большой гладкий бензобак, и так, наверно, хорошо лечь на него грудью, а по бокам будут руки дяди Гоши – не упадешь, зря мама боится.

К поездке в Климов Завод готовились давно.

Бакинский климат маме не подходил, ей часто нездоровилось, однако служить на новое место отца все не переводили. Надо было мириться. Сидя за штокпой, мама часто пела вполголоса протяжные песни, которых не бывает по радио. Шуру от них становилось то-скливо, и он просил маму не петь. «Так на Урале поют, – отвечала мама, не поднимая головы. – Я не заплачу, не бойся». Шуру казалось странным, что может быть еще какая-то жизнь кроме той, которой они живут в военном городке, а удивительней всего, что к той другой, чужой жизни имеет отношение их мама. Когда она пела, Шура думал, что она куда-то уходит, – такой мама становилась незнакомой и безразличной.

Еще зимой было решено, что на лето поедут в Климов Завод. Мама сменит климат, и ребятам хорошо пожить в деревне. Собралась ехать с ними и Зина, мамина племянница, – она тоже давно не была на Урале, с тех пор, как несколько лет назад приехала в военный городок на окраине Баку и здесь вышла замуж за сверхсрочника. Шура не помнил Зину прежней, а представлял такой, какой она была сейчас, – белое полное лицо, медленные движения и насупленный маленький Валя рядом. Шура казалось, так было всегда.

– А как, Зин, земляничкой пахнет!.. – говорила мама и, прикрыв глаза, счастливо замирала на секунду. Они с Зиной, отбирая для поездки вещи, часто говорили об Урале. – От одного запаха сыт, ничего не надо! Домой придешь, ноги еле тянешь, а достанешь молока из подпола, надавишь земляники, наешься с хлебом – и хоть бы хны.

– А вода у нас какая! – радостно перебивала маму Зина. – Я здесь раза три волосы мою, а они всё, как пакля. А в Заводе принесешь из речки ведро, вымоешь голову, так волос сыпучий, легкий!..

– И для самовара из речки самая лучшая вода. Из колодца все-таки не то.

– А самовар-то сосновыми шишками растопленный!.. Мы с Машей Масленковой специально к пруду, в бор за ними ходили. Корзину наберешь, надолго хватает... Ой, тетя Катя, не надо, не говори, а то схватила бы Вальку в охалку и побежала прямо сейчас в Завод!..

Однажды папа приехал на большой машине и стал всех торопить. В доме захлопали двери, принялись выносить чемоданы, а мама отправила Шуру и Петьку, уже одетых, в туалет.

Но и после туалета сразу не поехали. Шофер большого грузовика стал фотографировать всех возле дома, затем возле машины. Эти фотографии долго потом хранились между синими картонными страницами семейного альбома: мама в пальто с барашковым воротником,

улыбается Зина в белой шали, маленький Валя держит в руках совок, Петька от ветра с песком прикрыл глаза. Здесь же Шура в старой папиной офицерской шапке, которая ему велика. А внизу на фотографии и по бокам – трава, успевшая вырасти по колено, и большие светлые проплешины песка, на которых ничего нет.

Первый мальчишка, который встретился Шуру в Климовом Заводе, заявил, что на Кавказе все люди Тарзаны. В Баку, соответственно, тоже.

Мальчишка был старше Шуры, он долго слонялся вдоль забора, загребая валенками снег, и поглядывал издали на Шуру, который стоял на высоком крыльце дома, куда они приехали. А потом крикнул:

– Ты! На Кавказе все люди Тарзаны, понял?

По голосу мальчишки было ясно, что Шура ему интересен. Но он может и побить. На крыльцо вышла Зина с маленьким Валею за руку. Поверх красного пальто с капюшоном Валя крест-накрест был завязан шерстяным платком.

– Чего-чего? – бесцеремонно спросила Зина. Как только приехали в Климов Завод, голос у Зины стал другой, он мало походил на тот, каким она говорила в Баку. – Вот я тебе, корноухий, сейчас вихры надеру! Сам Тарзан!

Мальчишка угрозы не испугался, а что-то громко запел и с достоинством удалился в переулок.

– Ну-ка, ребята, снежную бабу лепить! Шура, давай! Смотри, снега сколько! – затормошила Зина. – Вот и Валенька поможет. Поможешь, маленький?

Она первой бросилась катать ком, мокрый снег буристом налипал на него, и там, где ком проходил, оставалась петляющая по двору борозда. Шура, поглядывая на Зину, тоже принялся за дело, но его ком вышел кособоким, хотя Шура старался.

– Не беда! – сказала Зина и приладила Шурина ком на свой, большой и круглый. Она раскраснелась, полы

пальто были в снегу, а из-под шали выбились волосы. – И такой ладно, и такой хорош! Голову слепим – и готова наша баба... Хорошо-то как! Разве в Баку мы такое видим! – Она схватила маленького Валю и стала тискать. – Нравится, сынок? Нравится, маленький?..

В окно смотрела мама и мамина сестра тетя Клава, в дом которой они приехали. Мама и тетя Клава отводили руками ветки разросшейся на подоконнике герани, улыбались и что-то говорили, показывая пальцами во двор.

Им тоже было весело и хорошо.

И вот еще что запомнилось. На печке темно, пахнет нагретой побелкой, тихо дышит, а то вдруг начнет лягаться во сне Петька. Но Шура Петька не мешает. Ему уютно от запаха теплой извести, от темноты, от овчинной шубы, постеленной на печке шерстью вверх. А главное, оттого, что рядом мама, от ее приглушенного голоса, почти что шепота.

Мама тихонько рассказывает, как растает снег и они пойдут к пруду за Климовым Зааводом, там на склонах растут кислица и черемша, а по соснам прыгают ловкие белки. Очень красиво. Поблизости старые выработки, в них когда-то добывали малахит, делали всякие дорогие вещи.

– А Серебряное Копытце здесь живет? – замирая, спрашивает Шура. Все вокруг такое волшебное – и теплая пахучая тишина, и мамин голос, и едва брезжащий снежный свет за окном, – что Шура кажется, будто Серебряное Копытце, о котором мама читала им в Баку, сейчас где-то рядом. Может, даже на ближнем сугробе за стеной дома.

– Здесь, – подумав, шепчет мама. – Где же ему жить? Здесь лучшее место, возле Климова Заавода. А вот когда настанет лето...

– Кать, не тесно вам? Может, кого из ребят ко мне?

Это тетя Клава. Слышно, как она приподнялась на кровати с блестящими шариками на спинках – поют пружины высокого матраса.

– Спи, спи, Клав. Сколько я мечтала, чтобы вот так, на печке!..

– Ну ладно. А моих-то не слышно, дрыхнут без задних ног. Зин, а Зин?.. Спят.

Тетя Клава перестает скрипеть пружинами и тоже, кажется, засыпает, а мама счастливо шепчет о том, что они будут делать, когда наступит лето, куда пойдут и что увидят.

Шура слушает, ему хорошо. Спать он не хочет, но дрема мягкой ласковой лапой трогает и его. Он уже не столько слышит, сколько видит то, о чем мама рассказывает. И высокие светлые леса, и крупную землянику на вырубках, и прозрачные речки с чистыми камешками на дне. В лесах живут умные звери, в речках много всякой рыбы, и Серебряное Копытце постукивает тонкой сильной ножкой.

Серебряное Копытце танцует и не видит, как на него из кустов смотрят зеленые глаза. Сердце у Шуры останавливается, он хочет крикнуть, предупредить, но не может. «Спишь? Спи, спи, сынок», – слышит он издали и чувствует теплые губы на своем лбу. Мама... Шура поворачивается на бок, подкладывает ладонь под щеку и засыпает уже по-настоящему. Но тревога и смутное беспокойство остаются даже во сне.

Откуда эти злые глаза? Почему они так смотрели на Серебряное Копытце?

Как растаял снег, как билась ветками на сыром тяжелом ветру черемуха, а избы стали еще чернее и, без снега, будто выше – всего этого Шура не запомнил. Переход от зимы резкий и красочный. Холодное – до озноба – синее утро, яркое солнце, тетя Клава в телогрейке с выглядывающими клоками ваты снимает с парников куски взблескивающего стекла и прислоняет внизу к высоким ножкам парника.

Стекла мокрые, в каплях, парник тепло и остро дышит навозом, зеленые огуречные листья освобожденно

подрагивают... Все вокруг такое омытое и чистое, что Шуре кажется – сегодня праздник.

– Мамка не сказывала, дом продавать не будет? – спрашивает тетя Клава, и ее глубоко сидящие глаза с цепким вниманием смотрят на Шуру.

Какой дом?.. Шура мотает головой, ему нет дела ни до какого дома. Восторженно, не договаривая слова, он рассказывает, как ходил с Петькой и маленьким Валею на речку, и как рыбешки щипали им ноги, когда они забрели в воду.

– Пожаловала!.. – говорит тетя Клава и смотрит через голову Шуры. Шура оглядывается и видит маму, она несет от соседей банку с молоком, боты на ее ногах блестят от росы.

Прежде чем кинуться к ней навстречу, Шура удивленно, с испугом смотрит на тетю Клаву – ему не понятно, как можно маму не любить, по голосу тети Клавы это чувствуется.

Когда они с мамой проходят мимо парника, тетя Клава уже другая.

– Кать, ты сегодня пойдешь к няньке-то? – спрашивает она и улыбается. Ни голос, ни взгляд ее не похожи на те, что были минутой раньше. – Жаль, огурцов нету, а то захватила бы, порадовала старую!

Шуре некогда задумываться, отчего все так, с улицы слышен громкий свист, и он тотчас бросает маму и несет к воротам. Это Гришка-корноухий свистит – тот, который говорил, что на Кавказе все люди Тарзаны. Теперь они с Шурой друзья.

Шура торопливо рвет на себя глухую высокую калитку – и солнце бьет прямо в глаза. Шура ослеплен, он не сразу видит зеленую просторную улицу, желтый цвет густо рассыпанных одуванчиков, холодную вытянувшуюся тень от дома напротив и Гришку-корноухого, который стоит перед калиткой и держит руки в карманах просторных штанов.

– Айда к Веньке, – говорит Гришка и, не вынимая

рук из карманов, подтягивает штаны едва ли не под мышки. – Посмотрим, как на стекле рисует.

Шура торопливо кивает, не спросившись у мамы, идет за Гришкой. В Климовом Заводе само собой получилось, что он, если куда идет, у мамы не спрашивает, а мама его потом не ругает.

Шуре приятно идти вместе с Гришкой. Гришка старше его на три года, он живет с дедом и бабкой, умеет рыбачить с бревен и потихоньку курит дедовы папиросы «Спорт». Кроме Гришки на пруду рыбачат только большие ребята – это опасно, можно утонуть. Шура сам один раз видел, как Гришка пробирался по бревнам с удочкой на середину пруда – там ловится крупная рыба. Одно бревно под Гришкой закрутилось, и он провалился в воду. Хорошо, что рядом оказались большие ребята. Они растолкали бревна и вытащили Гришку. Потом, правда, надавали ему по шее и отобрали подмокшую пачку «Спорта». «Ничо, – сказал Гришка на берегу испуганному Шуру. Он стучал зубами и выкручивал свои широкие штаны. – Они уйдут, я опять. Только костерок разведу, подсушусь маненько». Отец у Гришки погиб на войне, а мать умерла в сорок седьмом году, во время голодухи.

Шура давно замечает, что интерес к нему у ребят – знаком он почти со всей улицей – какой-то странный, не очень добрый. Шура догадывается, и это задевает его самолюбие, что интересен он не сам по себе, а тем, что папа у него жив и что папа офицер. У большинства ребят отцов нет – погибли на фронте.

– Рашидка лес везет, – как обычно коротко говорит Гришка-корноухий. Прищурившись, он смотрит вдоль дороги. – Барановым везет.

Как можно везти большой зеленый лес – Шура не понимает, он тоже смотрит вдоль дороги, надеясь увидеть что-то необыкновенное. Но видит только лошадь, длинную телегу без бортов, с одними лишь колесами, и татарина Рашидку, коренастого русоголового мужи-

ка в выбившейся из брюк ситцевой рубашке.

В странной телеге ровные сосновые бревна, они очень тяжелые, это видно по тому, как подалась всем телом вперед лошадь, наклонив низко, до земли, голову, как напряженно взбухают мышцы на ее груди и задних ногах. Рашидка то забегает вперед и тянет лошадь за узду, то подталкивает телегу, скользя по траве ногами в белых вязаных носках и галошах. Он что-то ласково говорит лошади, понятно только русское «потерпи, милая», гладит ее шею устало подрагивающей рукой – и лошадь еще сильнее влегает в хомут.

– Никогда не дерется, – сообщает Гришка. Он смотрит на Рашидку и громко завозит носом. – Колдун! Кнута с собой не берет. Лошадиный язык знает.

Шура с интересом и уважением смотрит на возчика. Он и не подозревал, что Рашидка колдун. Недавно они с мамой ходили в конец улицы, где живет татарин, покупали у него зеленого лука, и ничего волшебного Шура тогда не заметил ни в самом Рашидке, ни в его многочисленных детях, одетых в одинаковые рубашки из цветастого ситца.

Телега приближается, медленно, долго проходит мимо ребят. Сильно пахнет недавно спиленным деревом, лошадиным потом, раздавленной сочной травой. За телегой неторопливо бредет жеребенок. У него короткое туловище, длинные ноги и волнистый хвост. Он смотрит на ребят крупными агатовыми глазами.

Дом у художника Веньки сумрачный. Здесь много небольших комнат. Кругом висят нарисованные на стекле яркие цветы, какие-то лица и целующиеся голуби.

То, что на стекле можно рисовать, кажется Шуру странным и чудесным. Станным и чудесным кажется ему и сам темный дом с маленькими комнатами, и не доходящие до потолка перегородки, и неторопливый, знающий себе цену художник Венька.

– И Сталина можешь нарисовать? – замирающим голосом спрашивает Шура.

Пока круглолицый медлительный Венька соображает, подает голос Гришка. Среди всего этого великолепия на стенках Гришка тоже как-то притих и не так часто поддериживает штаны и завозит носом, но говорит тем не менее авторитетно:

– Ему нельзя. Рисовать товарища Сталина надо особое разрешение. А то посадят.

Сладкий ужас овекает Шуру. Мурашки идут по коже, он молча смотрит на ребят, которые, как он думает, приобщены к непонятным и строгим делам взрослых. Слышно, как в одной из комнат стукнула дверь и перестала стрекотать машинка – там Венькина мама что-то шьет. Венька с самого начала предупредил, чтобы ребята вели себя тихо, а то мать прогонит.

– Николавна, ты бражки обещала, так давай! Рашидка лес привез, магарыч выставить надо!..

Шура узнает бойкий голос тети Оли Барановой, соседки. Она всегда так говорит – быстро, весело, будто чему-то радуется. По вечерам, когда все собираются на лавке у ворот, лузгают семечки и отгоняют ветками комаров, тетя Оля начинает дразнить своего внука Борьку. Она толкает его и говорит: «Борька, ты дурак!.. Ой, дурак, Борька, ей-богу, дурак!» Внук сначала не обращает внимания, он вперевалку ходит по семечной шелухе, поднимает и сует в рот что-то ему приглянувшееся. Но тетя Оля не отстает: «Дурак ты, Борька! Дурак!.. Правду говорю, дурак!» Внук наконец тоненьким голосом кричит: «Блидь! Блидь!» и топает ногами. Все смеются. Тетя Оля радостно объявляет: «Копия дед, у него научился».

– Николавна, слышала, у Шмелей-то? – доносится из комнаты со швейной машинкой. Шура прислушивается, он уже знает, Шмелями в Климовом Заводе зовут тетю Клаву, маму, Зину. И даже их, Шуру, Петьку и маленького Валу. «Разгуделись, шмели!» – ворчала недав-

но какая-то бабка в окошке, когда Шура и Петька играли с ребятами возле ее дома. Шура спрашивал у мамы, почему они Шмели, но мама только засмеялась.

– Клавке-то сказали, что Катька приехала дом продавать. И то, дом родительский, имеет право на долю. А Клавке где жить, если продадут? Откупиться нечем, всю жизнь с хлеба на воду!..

– На Катьку не похоже, – слышит Шура другой голос, наверно, мамы художника Веньки. Этот голос Шуре нравится, он неторопливый, рассудительный и похож на Венькин. – Неужто ради денег сестру не пожалеет? Не поверю. Во что бражку-то? Посуду взяла?.. Пойдем, она у меня в подполе, выходилась уже.

Слышен звук стекла и удаляющийся голос тети Оли Барановой – все такой же бойкий, взалхлеб:

– Не скажи, Николавна, чужая душа потемки. А Клавка-то, Клавка! Той только скажи, уж она крик подымет!..

Разговор Шуре неинтересен, он почти не слушает. А когда Веня достает с полки краски, берет кусок стекла и показывает, как рисует, Шура обо всем забывает.

Мазки густой вязкой краски плотно ложатся на стекло, все кажется таким понятным и простым, но когда краска подсыхает и Веня стекло переворачивает, мальчик немеет от восхищения. На черном фоне большая красная роза. Рисунок чудесно блестит, будто покрытый лаком.

Шура смотрит то на стекло, то на губастого круглолицего Веню и не понимает, как это могло выйти.

Мама теперь часто уводит ребят из дому. Шура этому рад – почти каждый день тетя Клава и мама ругаются. Переменилась и Зина. Она не разрешает маленькому Вале играть с Шурой и Петькой, сердито дрожит ее крупное белое лицо. Все это обескураживает и пугает. Но то, что Шура видит и счастливо переживает, когда они втроем ходят по лесу или навещают маминых зна-

комых, заслоняет неприятное.

Шура уже знает, как пахнут перезревшей земляникой поляны, окруженные высоким ельником и прогретые июльским солнцем. А во дворе маминой няньки – сухопарой быстрой старушки с большой бородавкой на переносице – он видел, как корова чесала ухо, и это его потрясло. Огромная неуклюжая корова по-собачьи опустилась на хвост и задним копытом тянулась к голове!.. В темной таинственной глубине пруда какая-то рыба откусила крючок на Шуриной удочке, и надолго хватает волнения и расспросов – Петька будто бы видел зубастую пасть, появившуюся на секунду у поверхности воды.

Впечатления выпуклые, красочные, они прочным тиснением остаются в памяти.

Одно по-настоящему плохо – это когда мама задумывается. Намного хуже, чем ругань тети Клавы. Теперь мама не поет протяжных песен, которые пела в Баку, но все чаще становится какой-то чужой. Вдруг в лесу опустится на землю и принимается молча тереть травинки. На слова ребят не отвечает. Или остановится на пригорке и долго смотрит на Климов Завод. Подбородок у нее начинает мелко дергаться, глаза наливаются слезами.

– Мама, не надо, – просит Шура и сам готов заплакать. – Мамочка, не надо!..

Мамины слезы его пугают, со страдальчески искаженным лицом он быстро гладит ее руку. Петька тоже готов зареветь, и мама справляется с собой. Она обнимает ребят, касается губами макушек.

– Ты из-за тети Клавы, да? – спрашивает Шура спустя минуту. Много в поведении взрослых ему непонятно, но то, почему расстраивается мама, так ясно, что он не сомневается в ответе и добавляет: – Папа приедет, я расскажу. Узнает тетя!..

Мама молчит, потом серьезно, будто большому, говорит:

– Что Клава... Помирился, сестры. Жизнь, сынок, прошла. Ты пока не поймешь, потом. Все уже чужое, для других. Даже на родине.

У нее опять начинает дрожать подбородок, слезы переполняют глаза и катятся по лицу. Плачут в голос и Шура с Петькой. Мама застывает, глядя перед собой, и Шура почти в истерике дергает ее за руку.

– Не надо! Не надо! Мамочка!..

– Все, ребята, все. Больше не буду. – Мама плотно, с силой вытирает мокрое лицо и глубоко, освобождено вздыхает. – Все, хватит. Пойдем к ручью, умоемся... И не бойтесь, ребята, так. Привыкайте. Это никого не обходит.

Шура с опаской поднимает глаза, но мама плакать больше не собирается. Она смотрит то на Шуру, то на Петьку, и лицо у нее такое, будто мама знает о них что-то тяжелое, горькое, но говорить об этом нельзя. Не время.

Наконец появляется папа.

Его приезд, первый день в Климовом Заводе не запоминается. Зато врезалось: папа и еще какой-то мужчина повалили дядю Гошу на траву и вяжут ему полотенцем руки. Рубашка на дяде Гоше порвана, лицо дикое, красное, дядя Гоша сучит по траве ногами, взрывая землю, вены на шее у него натужно вздулись. Приподняв над землей голову, дядя Гоша сдавленным страшным голосом матерится.

Потом все спокойно и хорошо. Чуть ли не каждый день застолье, но никто уже не ругается и не дерется. Подражая взрослым, Шура и себе ставит бражку – в горлышко пол-литровой бутылки заталкивает уже краснеющие ягоды рябины, кусочки привезенного папой шоколада, карамельки из местного магазина. Заливает бутылку водой и строго-настроено наказывает Петьке и маленькому Вале не подходить к ней...

Попробовать бражки ему не дают. Мама ласко-

во уговаривает вылить все из бутылки – скоро ехать и не дай бог перед дорогой запоносить. Она с приездом папы как бы отдалилась от ребят, и Шура ее ласковость особенно приятна. Не раздумывая, он выливает из бутылки, вытряхивает ягоды и полуразошедшиеся карамельки – и мама прижимает его к себе, целует сладкими, хмельно пахнущими губами. Она возвращается за стол к папе, тете Клаве, дяде Гоше и оттуда посматривает на ребят довольно и немного виновато.

Опять провал, смутная пауза. Последовательная цепочка времени распадается. Шура уже на вокзале, идет дождь, неожиданно, заставляя вздрагивать, кричат паровозы и с шипением выпускают облака пара. Хотя до этого были, наверно, и походы с папой по окрестностям Климова Завода, и деревенские ребята во все глаза смотрели на офицера в белом кителе с орденскими планками, и Шура, чувствуя свою особенность, гордо поглядывал по сторонам.

Но – свердловский вокзал. Их провожают доверенные подруги мамы, как и она когда-то, медсестры. Холодный дождь прыгает по деревянному перрону, кричат паровозы. Милиционер ведет снятого с поезда инвалида на деревянной ноге и с гармошкой, инвалид рвет на груди рубашку и кричит о пролитой крови, люди на перроне равнодушно расступаются, давая милиционеру дорогу.

А у Шуры радость. Кто-то из маминих подруг подарил ему и Петьке по большому красному шару. Шура в вагоне, когда поезд трогается, не может наиграться с ним, налюбоваться и особенно бережет после того, как Петькин шар громко лопается.

Сморщенный, потерявший форму шар доживает до Баку. Но Шура забывает о нем, едва сойдя с поезда. В вечернем городе так знакомо, по-родному пахнет нефтью, яркие фонари подсвечивают нежно салатовым цветом листья тутовника, а таксист азербайджанец с

тонкими, ниточкой выбритыми усами напевает что-то свое, тоже почти родное для Шуры – монотонное, с уныло-страстными переливами.

Шура радостно крутит головой на пролетающие огни, папа впереди, рядом с шофером, облегченно расстегивает крючки ворота на белом своем кителе – жарко, а на перроне было нельзя, там патруль. Оживлена мама, она деловито говорит, что уже сентябрь, а Шура еще не учится. Впрочем, в этом году его в школу, может быть, и не отдадут – нет семи лет.

Шуре обидно, что не пойдет в школу, но радость оттого, что он дома, сильнее. Ему уже не верится, что где-то есть Климов Завод, сочная трава, черные ели и плавающие в пруду бревна. Темный, пахнущий нефтью воздух врывается через приспущенное стекло такси, раздувает волосы.

Шура знает, что вот-вот приедут в военный городок, что завтра – папа обещал – пойдут на базар возле фабрики Ленина покупать самый большой арбуз. Потом увидится с друзьями, кино на Электротокке, девочка Лиля, самокат на жужжащих подшипниках...

Но он еще не знает, что это – счастье.

ДЕМБЕЛЬСКИЙ БОГ

Откуда оно пошло, это дембель в мае, никто не знал. Сам Никишин впервые услышал еще в карантине. До постановления Верховного Совета о переходе на два года службы было как до Москвы раком, но в части уже пели: «Пап-пап! Дембель в мае, пап-пап!..» Текст самодельный, а мелодия была известна на весь Союз – «Замечательный сосед», репертуар популярной Эдиты Пьехи.

Пелось это не только в бытовках, когда подшивали подворотнички и драили асидолом бляхи. На вечерних прогулках (офицеры и куски-сверхсрочники уехали в гарнизон, за старших в ротах срочнослужащие сержанты) строй азартно бухал сапогами по бетонке и сотнями глоток выдавал: «Пап-пап! Дембель в мае, пап-пап!..» Это вместо строевой песни о непобедимой и легендарной. Голоса солдат тушились обступившим казарму лесом.

В шестьдесят восьмом, когда Никишин уже служил третий год, так и получилось. Приказ министра обороны об увольнении в запас вышел даже раньше, в апреле, но отпускать в части никого не спешили. Дембеля или деды (ими старики становились после приказа) томились, ходили хмурые, злые, старшина на всякий случай перестал их назначать в караул – мало ли что, все-таки автомат и два рожка патронов.

Пытались узнать, как в других частях. Слухи, они же параша, ходили разные. Но, похоже, ни на точках, ни в гарнизоне никого еще не отпускали. А тут и с погодой хрен знает что. В двадцатых числах мая вдруг повалил снег и лег пухлым слоем на давно сухую землю, пригнул ветки с распутившимися листьями. И это за неделю до лета!.. Ладно бы Север, а то Калининская область.

Тоска!

Вот тогда-то Никишин и завел себе Дембельского бога.

В военторговском магазине кроме сгущенки, печенья и материала для подворотничков продавалась еще всякая ерунда. В том числе небольшие пластмассовые фигурки то ли гномов, то ли домовых. В рот фигурке можно было вставить сигаретку (они входили в набор), зажечь – и то ли гном, то ли домовый начинал попрыкивать, пускать колечки. Получалось забавно. Никишин купил. Поставил на тумбочку возле своей койки, долго смотрел на хитроватую скрытную физиономию и решил, что это будет Дембельский бог. Он его станет наказывать или поощрять – как тот заслужит. Никому об этом, понятно, Игорь говорить не стал.

Тоска его давила вдвойне. На первую партию дембелей (началось все-таки!) Никишин смотрел из окна офицерской столовой. Он тоже мог быть среди этих надраенных сержантов на плацу, их с оркестром и расчехленным знаменем провожал сам полковник Алексанин. Но не был. За пару месяцев до того он набил физиономию наглому второгодку Рукавицыну, и его разжаловали.

Смотреть на проводы первой партии было невыносимо, и Никишин сказал:

– Протирать полы будем?

Кухонному наряду (все – деды, наряд в офицерскую столовую их привилегия) смотреть на происходящее на плацу тоже было, как серпом по одному месту.

– Можно, – уклончиво ответил длинный веснушчатый Кондратьев и подался от окна. – Как хочешь. Дело хозяйское.

Бывший сержант не знал многого, что давно усвоили тертые рядовые. Чужой, в их шкуре не был. На кой, спрашивается, братья за швабры, если заведующий офицерской столовой, кусок-сверхсрочник в белой куртке, молчит? И вообще, не спеши говорить

«есть!», может последовать команда «отставить!» Первая заповедь.

Один Юрка Пономарев бросил:

– Салага! – И с ухмылкой ждал реакции Никишина.

Недавний подчиненный залупался не первый раз. Он и во время завтрака (кормили наряд здесь же, по офицерской норме, что и привлекало) взял масло Игоря и принялся медленно, с издевательской ленцой намазывать на свой кусок хлеба. Крупное кувшинное лицо Пономаря говорило: ну ударь, ударь!..

Никишин с досадливым изумлением смотрел на него. До того, как Игоря разжаловали, они дружили. Только Пономарев знал, что он пишет стихи. А когда командир расчета невзлюбил Юрку и приказал гонять на плацу, Никишин больше показывал, как надо ходить строевым и тянуть носок, чем заставлял это делать приятеля.

Говно!.. Знает, он его не тронет, что бы Пономарь ни сделал. А то будет не дембель, а дисбат – припомнят Рукавицына, рецидивист.

В последние недели Никишину стало ясно: как бы он ни старался зря ребят не гонять и не орать – все равно оставался для них спиногрызом-сержантом. Уж Пономарю-то что выступать, а вот вылезло. Еще о стихах ему рассказал, придурок!.. Понимать это было особенно унизительно, будто признался в своей слабости, а ею взяли и воспользовались.

Вечером в казарме деды легли на заправленные койки. Не полагалось, но сделать замечание дежурный по роте не посмел. Подавлено молчали. Одно дело, когда знаешь, что скоро дембель, другое, когда видишь, как уже уезжают.

– Дембельский аккорд надо просить, – сказал веснушчатый длинный Кондратьев.

– У пана Вотрубы дождешься.

– В других ротах дают.

– То в других.

Опять молчали. Отбой был еще не скоро, неунывающие второгодки (они же желудки, они же – по названию старого фильма – веселые ребята) шатались по казарме, ржали и вообще вели себя так, как им не полагалось. В том числе Рукавицын, которому фингалы в прок не пошли. Этот лупоглазый, с запавшими щеками второгодок так же шатался в тот раз, когда получил по рогам, болтал и нагло смеялся на всю казарму.

Может, ничего не случилось бы, но у Никишина не шли стихи. Вернее, плохо шли, с трудом, как все последнее время. Ясноглазый парнишка, живший в нем еще недавно, всё больше вытеснялся матерым стариком. Этот новый с усмешкой наблюдал, как Никишин подыскивает рифму. Не составную, как у Вознесенского или Евтушенко, а точную, правильную. Игорь старался выразить то, что было в нем, но так и такими словами, как ни у кого еще не встречалось.

«Делать нехрен!» – усмеялся Никишин-старик. Поваляться бы недельку в санчасти, а еще лучше в отпуск съездить – это было бы дело!.. Прежний Игорь упирался, пытался язвить: как надел я портупею, все тупею и тупею! Хотя никакой портупеи срочнику не полагалось. Игорь чувствовал: уступает. Быть стариком, да еще сержантом, вообще-то зашибись, клево. Все тебя в части знают и уважают, даже офицеры. Вот только стихи не шли. Это злило.

Никишин в тот раз прикрикнул на Рукавицына, но Рукавицын не заткнулся, а дерзко ответил. Не отходя от кассы и схлопотал. Салаги, без вины виноватые (тоже по названию фильма), сейчас тихо ждали, чем наглеж молодых закончится на этот раз.

– Ну!.. Желудки!.. – приподнявшись на койке, рывкнул Пономарев.

Этого оказалось достаточно, веселые ребята притихли. Их никто в роте не любил. Деда за то, что по новому закону молодым светил дембель тоже в этом году, хотя прослужили меньше. Салаги – что молодые

их прессовали, спихивали самую тяжелую и грязную работу в нарядах.

– Оборзели. Совсем нюх потеряли, – зло бормотнул Никишин, ни к кому не обращаясь. И заиграл желваками – сейчас он особенно чувствовал себя дедом.

Кондратьев, устраивая на спинке койке свои длинные ноги в сапогах, вяло поддержал:

– Не говори.

– А что, деда, – предложил красавец москвич Серега Коршунков, касаясь пальцами косо подбритых дембельских баков, словно проверял, на месте ли. Баки ему приходилось каждый раз отставивать перед старшиной на утренних осмотрах. – Выдадим всеобщее презрение пану Вотрубe, ага?

Полагалось на всю казарму выматериться – хором и от души. Так, чтобы стекла в окнах дрогнули. Ритуал. Отдушина. Но Коршункова на этот раз не поддержали. Не до забав, хотя командир роты, конечно, мудака.

– Молодые себя уже стариками называют. Сам слышал, – сказал Коршунков.

Но и это не расшевелило дедов, хотя должно было. На их первом году кто-то из служивших третий год назвал себя стариком, а в роте еще оставалось нескольких парней предыдущего призыва. Один из них и приглубил наглеца тяжелой армейской табуреткой. И никто не заступился, хотя дедов в роте оставалось раз-два и обчелся, новые старики могли их размазать по стенке. Промолчали, съели. Не деда тогда были – звери.

Опять молчали, смотрели на все еще светлое небо за окном. Слышно было, как по телевизору в ленкомнате началась программа «Время». Митинги в Чехословакии, ползучая контрреволюция, попытки реставрировать капитализм – каждый день одно и то же. Ненужное, не имеющее к ним и дембелю никакого отношения!..

От тоски и злости у дедов сводило челюсти. У них есть родина – тоже по названию старого фильма.

Никишин поднялся, достал из тумбочки Дембель-

ского бога и пошел в туалет. Там расстегнул ширинку и обмочил его.

Ничего другого Дембельский бог не заслуживал.

2

Однако он оказался незлопамятным. А может, урок пошел впрок.

На следующее утро командир роты майор Осипов появился из канцелярии как обычно. Собравшемуся было докладывать старшине мимоходом махнул рукой «отставить!».

Майор легко носил свой большой живот, был лыс, заплывшие глазки на багровом лице сметливо бегали. В части говорили, когда-то он был сверхсрочником, но окончил офицерские курсы и дослужился до командира роты.

«Человек толстый, но хитрец тонкий», – острили молодые офицеры, не забывшие еще школьную программу по литературе. С их легкой руки и пошло это пан Вотруба, хитрозадый персонаж телевизионного кабачка «Тринадцать стульев».

Майор Осипов обежал быстрыми глазами построившуюся на развод роту.

– Кондратьев, Пономарев, Коршунков, Минин, Никишин, Загоруйко!.. Зайдёте в канцелярию. Старшина, разводи людей.

Ничего хорошего Игорь от командира роты не ждал. После случая с Рукавицыным майор хотел его комиссовать. Типа, в роте с дисциплиной порядок, а рукоприкладство – так это сержант со сдвигом. Конечно, хорошо было бы побыстрее вырваться из непобедимой и легендарной, но с такой записью в военном билете испортить себе жизнь, Никишин об этом слышал. В госпитале он вел себя нормально, косить не стал, а то, что дедовщина в частях обычное дело, врачи знали.

Сейчас, похоже, было что-то другое. Все, названные майором – деды.

Неужели?..

– Домой хотите? – спросил Осипов, когда после развода все шестеро зашли в канцелярию.

В другое время можно было бы хмуρο переглянуться – издевается пан Вотруба! – но только не сейчас. Сердца екнули.

– Спрашиваете, товарищ майор! – Деды, независимо улыбаясь, прикипели к командиру роты глазами и подались вперед.

– Полосу препятствий знаете? За клубом. Надо довести до ума. Как сделаете – уедете.

Полосу препятствий орлы из хозввода строили уже полгода. По расчищенной от леса площадке ползал бульдозер, ровнял землю, вибрирующим от напряжения тросом ставил на попу громоздкую ржавую конструкцию, хозвводовцы в заляпанных раствором хэбэ заливали ее основание... И всё не торопясь, с недельными перерывами. Работы оставалось еще до черта.

– Ну, что?

– Конечно, товарищ майор! Какой разговор!.. – теряя всякую солидность, враз заговорили деды и затоптались, задвигались в тесной ротной канцелярии.

Вечером Никишин достал Дембельского бога, пристроил на тумбочке и зажег сигаретку. Пристально смотрел на попыхивание, на то, как колечки синего дыма отрывались от кончика сигареты и таяли.

Он ничего не говорил, ни о чем Дембельского бога не просил, тот и так всё знал. Стихи – это потом, когда-нибудь, а сейчас самым важным было другое. Бородатая физиономия Дембельского бога хитровато лоснилась. В приземистой пластмассовой фигурке шоколадного цвета было довольство. Дембельский бог разве что снисходительно не подмигивал Никишину.

Кури. Заслужил.

В казарму возвращались в сумерках, когда работать становилось невозможно. С погодой вышло, как в плохой книжке: лето началось, когда стало нужно – с первым днем аккорда сразу солнце и жарко. То, что неделю назад шел снег, казалось уже диким, не верилось.

Шаркая сапогами, деды брели в умывальник, обливались водой из-под кранов. На вечернюю поверку они не появлялись, старшина смотрел на это сквозь пальцы. В части боролись с самоволками, но какая самоволка может быть у аккордников? Долбанутые, что ли? Ломом гони, не пойдут.

После отбоя дневальный наводил в умывалке порядок, сегодня им был Рукавицын. Никишин даже не посмотрел в его сторону. Было не до этого желудка, похожего запавшими щеками на селедку.

– Завязывай, молодой, – почти мирно сказал Пономарь. Он тоже уставал. Единственный, Юрка работал не в сапогах, а в кедах – добыл у зама командира по физподготовке, с которым играл в шахматы. Вообще-то люди с таким лицом, как у Пономаря, в шахматы не играют, а тем не менее. «Знает, с кем дружить», – подумалось Никишину. Но тоже беззлобно, отчужденно, как и о Рукавицыне. Подловатость Пономаря тоже стала неинтересна.

Дневальному дважды повторять не пришлось. Косясь на Игоря – все еще опасался бывшего сержанта, – Рукавицын испарился. Кроме аккордников, в умывалке оставался один Загоруйко, тот не спал, одиноко курил у окна. Загоруйко был водителем спецтехники, а водителей, оказывается, задерживали до особого распоряжения. Загоруйко сразу с аккорда сняли. Не глядя на парней, он щелчком выбросил в окно сигарету и хмуро вышел.

– Каждый умирает в одиночку, – сказал Пономарев. Мог бы и промолчать, дубина.

Работать в гимнастерках было невозможно, в первый же день все обгорели. Умываться приходилось осторожно. Воспаленную кожу вдобавок разъедал пот.

Но все это было фигня – и кожа, и Пономарь, и желудок Рукавицын. Полоса препятствий понемногу вырисовывалась, проступала все отчетливей, а значит – и дембель.

– Пешком бы пошел? – Услышал Никишин шепот в спертой темноте казармы.

– Запросто.

– Так это сколько километров до твоего Тамбова! Тысячу, может, или больше.

– Ну и что? Пошел бы.

Шептались на втором ярусе двое салаг. Игорь плохо их знал. В армии, как в школе – хорошо знаешь тех, кто старше, на младших не особо обращаешь внимание. Салаги притихли, когда он тяжело опустился на свою стариковскую койку внизу. Переждав, зашептались опять:

– А если бы сказали, ладно, иди, но голый? Совсем.

Второй голос помолчал.

– Летом?

– Ладно, летом.

– Пошел бы. Днем куда-нибудь забираюсь, сплю, а ночью иду.

– А если зимой? Мороз, снег...

На этот раз голос молчал дольше. Наконец сказал:

– Все равно пошел бы.

– Так мороз, замерзнешь! Голый!..

Игорь усмехнулся. Размечтались салаги. Он тоже мечтал на первом году. Если бы разрешили, ушел бы пешком на самом деле. Особенно доставала тоска в караулах. Казалось бы, один на посту, устройся где-нибудь с надветренной стороны, чтобы гиптил из хранилища травил не на тебя, сочиняй в уме. Вернешься в караулку, запишешь. Не получалось.

Темнота на десятки километров, дышащий тревогой и враждебностью ночной лес, бесприютность. Никишин представлял залитый светом зал их поселкового дома культуры, музыка, танцы, девчата. Завидовал паням, откосившим от армии. Заочники. «Ар-

мия это школа жизни, но ее лучше пройти заочно». Кому-то удается.

Было непонятно, как вообще можно хотеть служить. В части ходила легенда: во время хрущевских сокращений один татарин отказался от дембеля. Типа, в деревне скажут, больной, если раньше срока вернется из армии. Никто замуж не пойдет. Да черт с ними, со всеми девками вместе взятыми! Сравнил!..

– Придумал бы что-нибудь. – Вверху зашептались опять.

– Чего придумаешь? Мороз, а ты голый. Полный крантец!

– А я...

– Хорош базарить! – оборвал Никишин. Утром нужно было подниматься часа в четыре, светло в июне становится рано, можно работать.

Сегодня воровали доски у стройбатовцев. Зам по тылу выдал листы жести и гвозди, насчет досок сказал, что будут на следующей неделе. «Так дембель горит, товарищ капитан, дембель!.. – Красавец москвич Сергея Коршунков с чувством стал трясти перед замом по тылу ладонями. Даже сейчас он не забывал каждый день подбривать свои модные косые баки. – Дайте машину, мы сами найдем!» Без досок было не обойтись, на полосе препятствий полагалось стоять макетам ракет. «В самоволку не махнете?» – с сомнением скосил глаза капитан. «Товарищ капитан, мы похожи на идиотов?!..»

Стройбатовский склад находился неподалеку от гарнизона, он даже не был огорожен. Самосвал подъехал к крайнему штабелю, деды спрыгнули на землю. Откуда-то появился встревоженный чурка, стал спрашивать, чего надо. Никишин и Коршунков молча принялись забрасывать на самосвал подходящие доски. Стройбатовец пытался мешать, хватался за концы, ругался по-своему, но кто его будет слушать. Доски выгрузили на полосу, обшили макеты ракет и сразу покрыли сверху

жестью. На всякий случай жесть еще и покрасили. Хрен теперь найдешь, пусть стройбатовцы ищут, полковнику Александину жалуются!..

После обеда Никишин чуть не погорел из-за своей вспыльчивости. Пришлось ждать наждачную бумагу, чтобы перед покраской отдирать от ржавчины вышку, эту дуру в три этажа. Аккордники забрались на верхнюю площадку, улеглись на пахнущий свежим деревом настил, задремали. Спать последнее время приходилось мало, в глазах постоянно был песок. Разбудила ругань дежурного по части – кто-то капнул, типа, солдаты бездельничают. «А вы поспите три часа в сутки, товарищ майор! А потом на солнце весь день! И руки в занозах нарывають!.. – взъярился Никишин. – Попробуйте! Потом хай поднимайте!..» Остальные деды потупились. По лицам было видно, Никишина они не одобряют. Зарывается бывший сержант. Нежный очень.

Его счастье, майор был из контрольно-измерительной лаборатории, а не тупой строевик. Пожалел, не доложил командиру части. Запросто можно было вместо дембеля угодить на губу. Хамство офицеру, да еще дежурному по части. Только сейчас, в тяжелом воздухе спящей казармы Никишин по-настоящему понял это. И задним числом обомлел.

Трудно поднявшись, сел на койке, пошарил в тумбочке и вытащил Дембельского бога. В темноте было непросто вставить в маленькое отверстие сигаретку, но он справился. Щелкнул зажигалкой. На втором ярусе завозились, учуяв сладкий дымок, свесили головы.

– Спать! – приказал Никишин.

Завтра он принесет из столовой свою порцию сливочного масла и намажет Дембельскому богу губы. Выручил. Спас. Молодец!

В другое время Игорь сам бы над этим стал смеяться – дичь и дурость, чукча какой-то или индеец из амазонской сельвы!..

Но только не теперь.

Ближе к обеду пошли со Стасом Мининым за киселем, повар был его земляком. Гимнастерки на сторовенные тела накинули, но шли распояской, без ремней. И не особо прятались, хотя хождение по территории части вне строя, тем более в таком виде, не поощрялось.

Встречные офицеры делали вид, что не замечают их формы одежды. Один молодой литер было залупнулся, но быстро успокоился. Аккордники, за километр видно.

– Майор ничего не скажет, капитан, а эти из училища!.. – зло бросил Никишин.

– Дыши ровно. – Минин был невозмутим. – Молодые, службы не поняли... О, Нагорного опять захомутали!

Перед шлагбаумом КПП стоял мотоцикл, за рулем офицер, в коляске солдат. Вид у солдата был смиренный, даже отсюда видно.

– Не выпускают, что ли?

– Так Нагорный!.. Разрешение надо.

Нагорный был из другой роты, но его в части все знали – чэпэшник. Зимой пошел в самоволку, напился и если бы не патруль, замерз в снегу. Игорь по себе знал, на третьем году пропадает чувство опасности. То какой-нибудь старик полезет в трансформатор, руки ему потом ампутируют. То паров гиптила по дурости нахватается. То БТР из бокса выведет и девок из ближней деревни катает. Почти на каждом общеполковом разводе о таких случаях зачитывались приказы по дивизии. На третьем году кажется, ничего плохого с тобой не случится. Всё старику можно. Какой-то стариковский синдром.

У полковника Алексанина в тот раз дрожал от ярости голос: «Что матери твоей скажу?! Она мне здорового сына отдала, а я в цинковом гробу?! Кобылу без подставки драть можешь, а совести!.. Десять суток га-

уптвахты!» Нагорный стоял перед строем, смотрел в сторону. Раскаяния на лице видно не было, к гауптвахте ему не привыкать.

Недавно Нагорный сошел с катушек окончательно. Оставил на берегу озера хэбэ, сапоги и записку, что добровольно уходит из жизни. Водолазы из округа обыскали все озеро, но тела не нашли. Нагорного сняли с электрички уже перед самой Москвой. Оказалось, заранее раздобыл где-то гражданку, переделся, а хэбэ с сапогами на берегу и записка – туфта.

Это уже было серьезно. Дезертирство. За Нагорного взялась прокуратура. Теперь его то и дело возили в гарнизон на допросы.

– Тридцать первого декабря дома будет. С елочкой! – щурясь, заметил Минин. Чэпэшников обычно отпускали из части последними. Осуждает Стас Нагорного или сочувствует, было неясно.

– Если в дисбат не загремит, – хмыкнул Никишин, не сводя глаз с мотоцикла у КПП. Неприятно было видеть Нагорного смиренно сидящим в коляске. Сломался, когда по-настоящему взялись. Слабак.

Навстречу по бетонке шел, издали улыбаясь, библиотекарь Сверчков. Что-то в них было, этих ребятах из штаба, санчасти и клуба, выделяющее среди других. Всегда чистые хэбэ, выражение лиц?..

– Без вопросов! – Сверчков смотрел понимающими умными глазами. – А я всё думаю, почему это Никишин не заходит? Новые книги поступили, хотел тебе предложить.

– Сам видишь... – Игорь, будто извиняясь, развел руками. Хотя с чего бы ему извиняться перед Сверчковым.

– Если выдастся свободная минута, все же заходи. Пообщаемся, о последних публикациях в журналах поговорим.

– Сомневаюсь, что выдастся. Упираемся, как папа Карло. Аккорд, сам понимаешь... – Никишин подбирал

каждое слово. Перед Сверчковым не хотелось ударить в грязь лицом, а тем более, нечаянно выругаться.

Библиотекарь по-прежнему улыбался:

– А вдруг?..

Необычный парень. «Пообщаемся», «не заходишь», «книги поступили»... В армии так не говорят. Никишин обычно с удовольствием заходил в библиотеку, ему нравился запах книг, даже тонкой пыли, осевшей на стеллажах. Но интересней всего было слушать Сверчкова, тот хорошо знал поэзию. Однако кондовый старик в Никишине все больше выдавливал ясноглазого паренька, которому легко сочинялось. Теперь уже казалось странным, почему Сверчков ведет себя не так, как полагается настоящему старику. Одинаков со всеми, не подчеркивает, что служит третий год.

Как-то заговорили об этом. Библиотекарь дал номер «Юности» с повестью Евтушенко. Там рассказывалось о японском летчике-камикадзе, который отказался лететь топить американские корабли. Не из трусости, а потому, что считал, это неправильно. Летчика-камикадзе никто не понял, все отвернулись, стали презирали. Повесть о стадном чувстве, сказал Сверчков. Умении подняться над ним. Быть овцой проще простого. Слова показались Никишину высокомерными.

Не прибавило симпатий к библиотекарю и то, что он находился в строю сержантов, когда Никишина разжаловали. В части существовало правило срезать лычки перед строем, офицер из штаба уже поигрывал ножницами. Лишний раз унижить себя Игорь не дал, надел чужую шинель с погонами рядового. Но Сверчков видел его, одиноко стоящего перед строем, офицера с ножницами и все остальное. Игорь надеялся, что вел себя достойно, побитой собакой не выглядел, но все равно заходить в библиотеку перестал.

Возле санчасти их перехватила медсестра Ира – невысокая, худая, лет под тридцать. Трудно было пред-

ставить, как у них с Мининым получается, Стас почти двухметровый амбал.

– Стасик, пойдی сюда.

Неловко взглянув на Никишина, Минин отошел в сторону. Немолодую медсестру он стеснялся, хотя на его месте мечтала оказаться добрая половина полка. Летними вечерами, когда разъезжались по домам офицеры, можно было увидеть, как Ирина и Стас идут в лес. В руках у медсестры покачивался целлофановый пакет с одеялом.

О чем они сейчас говорили, Никишин не слышал. Он зашел с тыльной стороны столовой, остановился у входа в варочный зал и принялся дожидаться. Разговор Минина с Ирой затягивался. Игорь сел в тени, можно было немного отдохнуть, на полосе не посидишь. От нечего делать слушал, как ругались дежурный по столовой и хлеборез Амбарцумов. Дежурный хотел, чтобы Амбарцумов выдал на столы белый хлеб тоже, а тот клялся, что сегодня привезли только черняшку.

– Приготовь дедам пару буханок, – сказал Никишин, когда Амбарцумов с озабоченным видом проходил мимо.

Получилось не очень уверенно. Хлеборез раньше служил в их роте, на теплом месте оказался не так давно. Умеют устраиваться. Амбарцумов не глядя кивнул, понимая, что речь идет о белом хлебе. Уважает. После того, как разжаловали, Никишин стал относиться к подобному особенно чутко.

Минин появился озабоченный.

– Скажи, чего ей надо?.. Я нормального молодого нашел, служить, как медному котелку!.. Говорит, не нравится. Только посуду, типа, пачкает.

– Какую посуду? – не понял Игорь, поднимаясь из холодка.

– Ну даешь! Какая у женщин бывает посуда?..

Несмотря на габариты, Минин был деликатным че-

ловеком. Никишин ни разу не слышал, чтобы тот ругался матом – в армии большая редкость.

– И что теперь? – глуповато спросил Никишин.

Ира переходила из рук в руки, от одного призыва к другому, но кувыркалась с кем-нибудь одним. Говорили, какой-то кусок-сверхсрочник предлагал ей замуж, но она не захотела. Ходил слух, в гарнизоне есть еще одна любительница солдат, якобы специально откуда-то приехала. Та совсем простая, каждое знакомство начинается словами, что была сегодня в бане. А может, это разговоры. Чего с голодухи ребята не придумают.

– Что теперь? А черт знает! Пусть сама... Здорово, земля! – В варочном зале Минин пожал руку повару, орудовавшему в котле из нержавеющей стали большим черпаком на длинном державке. Воздух здесь был горячий, влажный, плиточный пол мокро блестел. – Как она, твоя ничего, земля? Все хоккей? Не посрамил чести города-героя Волгограда? Дедушка правильно понимает?..

Повар заулыбался и мотнул подбородком на пятилитровый чайник. Чувствовалось, ему было приятно услужить. Не только потому, что Минин земляк и дед. Еще потому, что тот большой и веселый.

– Сегодня компот.

– Нормально, земля, пойдет!.. Смирно! От лица дембелей выношу благодарность с занесением в личное дело!..

Незадолго до отбоя, когда большое малиновое солнце полого било сквозь сосны, пригнали карантин. Пономарь сумел договориться с сержантами.

Это тоже было необычно – карантин в мае. Раньше салаги появлялись в части осенью. Их, в стоящих колом хэбэ, до потери пульса гоняли на плацу. В курилках потешались, глядя на иноходцев: делая шаг левой ногой, многие салаги и рукой взмахивали левой.

Расслабленные лица, необмятые гимнастерки – гражданка так и перла из этих ребят. Ничего общего с

хмурой настороженностью солдат. Из курилок раздавались бессмертные шуточки на тему, сколько салагам осталось служить и совет вешаться.

В этом карантине оказалось много черных. Выяснилось, грузины.

– Генацвале, лопаты в руках держали? Или только ракомцетели у себя дома пили?.. Главный армейский закон знаете? Не можете – научим, не хотите – заставим!..

Пономарю хотелось выглядеть крутым дедом. Но и у него вести себя с карантинном так, как вел в роте, не очень получалось. Эти ребята были из другой жизни. Особые. На них еще лежал отсвет гражданки.

В помощь Никишину дали грузина, который выглядел старше других. Наверно, отсрочки получал, решил Никишин. Предстояло обшивать двухметровую стенку, ее будут преодолевать эти салаги через месяц или два. По тому, как непривычно полный для солдата грузин держал топор, как принялся обрабатывать доску по ходу волокон, было ясно, дело для него знакомое.

– Плотник?

– Да. – Грузин ответил не сразу. Похоже, не очень хорошо понимал по-русски.

– Девушка есть?

– Жена есть.

Никишин внимательно посмотрел на него. Два года, конечно, не три, но все равно. Может, у грузина и дети уже есть. Однако спрашивать об этом не стал. Слава богу, сам он с армией завязал. Почти.

– Держи кардан! – сказал он и протянул грузину ладонь.

Тот смотрел, не понимая.

– Чтобы домой быстрее вернулся. – Никишин чувствовал, выходит не по-дедовски, слишком уж простецки, несолидно, но все же добавил: – Чтобы время быстро прошло. Домой!

– Домой, – закивал грузин и пожал руку. – Домой!..

Это он понял.

Последний день пришелся на субботу. В пятницу седьмого июня тоже работали, пока можно было хоть что-то в сумерках рассмотреть, но закончить полосу не получилось. Утром дневальный разбудил в три часа.

Было светло. Пустынная территория части просматривалась во все стороны, шаги по бетонке раздавались далеко и четко. Спать не хотелось, слегка познабливало – то ли от прохлады, то ли от мандража.

Суббота плоха была тем, что короткий день. В штабе могли не успеть оформить документы. Но до этого еще надо вкопать столбы под бумы, установить сами бумы и сдать полосу – тоже непростое дело. Остаться в части до понедельника казалось невозможным. От одной только мысли хотелось завывать по-волчьи.

Часам к десяти бумы установили. Полосу должен был принимать зам по физподготовке, но его еще нужно было найти. Пока искали, Никишин смотался в казарму, взял из тумбочки сборник Рубцова и отнес в библиотеку.

– По коням?.. – Сверчков улыбался внимательными глазами.

– Типа того, – ответил Никишин.

Если бы не обходной, который требовалось подписать, он в библиотеку не пошел бы.

– Что ж, удачи, – сказал Сверчков. То, что дембель не у него, а у других, библиотекаря, казалось, не страшивает.

«И здесь он особый! – подумал Никишин. – Не в стаде. Чистоплюй херов!» Чувство было сложное, наполовину с завистью. Думать, отчего так, не было времени.

Капитана Мозжухина, оказалось, нашли быстро. Когда Никишин вернулся на полосу препятствий, капитан уже ходил по ней и хмыкал. Но придирается не стал.

– Кто смелый? Ты побежишь, Пономарев?

– Дедушке нельзя, товарищ капитан! Дедушке надо беречь здоровье, дедушке оно на гражданке пригодится.

– Ну-ну. Так кто?

Капитан Мозжухин мало походил на обычного зама по физподготовке. Играл в шахматы, не лез из кожи перед старшими по званию, как большинство офицеров. Похоже, капитан не собирался служить все двадцать пять лет. Никишин знал, с офицерами такое случается тоже, некоторые понимают поздно, что зря пошли в военное училище.

Бежать пришлось Коршункову и Никишину, в сержантской школе им приходилось сдавать норматив. Игорь был готов ко всему (аккорд, всё на соплях!), но обошлось. Стенка, которую он обшивал с грузином-салагой, не рухнула, и бумы устояли. Остальные препятствия тоже.

– Ладно, годится, – сказал капитан, когда Никишин и Коршунков с красными потными лицами подошли. – Пономарев, кеды сдать не забудь, лады? – И пошутил: – Пару партиешек напоследок стоняем?..

Как на иголках – это про них. Обедать не пошли, в рот ничего не полезло бы. Переоделись в мундиры, сели на койки. Дожидаясь из штаба старшину, стали обмениваться адресами. У Стаса Минина на дембельском чемодане было выведено броскими белыми буквами: «Волки! Вы свободный народ!». Это из мультфильма о Маугли.

Старшина всё не возвращался. Никишин достал из кармана Дембельского бога, сжал в кулаке и принялся с силой трясти, сцепив до хруста зубы. Никто не улыбнулся, даже Пономарь промолчал. Рукавицын – тот опять был во внутреннем наряде – на всякий случай спрятался в ротной сушилке.

Наконец появился старшина – и все слилось в счастливую кутерьму и неразбериху.

Дежурный автобус Стас Минин расстелил перед

КПП чистый носовой платок вытер сапоги отбросил платок носком красавчик Серега Коршунков диким голосом закричал всеобщее презрение пану Вотрубе дембеля радостным хором у-у-у сука провожавший водитель Загоруйко плакал завистливый взгляд ефрейтора у шлагбаума измозолившие глаза деревья вдоль бетонки пятиэтажки гарнизона унылые деревушки по бокам трассы всё ненужное остопиздевшее проклятое станция Бологое сопровождавший сверхсрочник облегченно выдохнул сбаврил слава богу запах креозота и свободы скучная тетка в воинской кассе как можно на гражданке скучать?!

Естественно, завалились в привокзальный ресторан. А что, гражданские люди, имеем право!.. С достоинством уселись за столик, заказали три бутылки водки и по салату. «Ой, не уедете, ребята!..» – Официантка в белом переднике и кокошнике (настоящая, гражданская!) покачала головой. Никишин, разжалованный, но все же сержант, солидным голосом заверил: «Все будет нормально, гарантирую». Разлили. «За дембель!» Потом пили за гражданку, девчонок, опять за дембель, еще за что-то. Никишин посматривал на часы, важно было не пропустить поезд.

Старлей походил на собаку, взявшую след. Прямо от входа направился к их столику. За старлеем двигались два желудка со штыками и красными повязками на рукавах. Патруль. «Спокойно, деды!» – сказал Никишин. Ребята могли залупнуться, будут проблемы, а это ни к чему. Он первым достал военный билет и проездные документы, подал офицеру: «Все, товарищ старший лейтенант, отслужили!». – «Вы в форме, ведите себя достойно». – «Не вопрос!..». Пономарь был в своем репертуаре, бросил вслед: «Спиногрыз! Сука!» Теперь ни от офицеров, ни от сержантов сметливый сын городской окраины не зависел и мог не прогибаться, задниц не лизать. Старлей не услышал. Или сделал вид.

Из ресторана выскочили, когда поезд уже подходил.

Оказалось, на улице темно. Рванули не к той платформе. «Куда! – рявкнул самый трезвый Стас Минин. – В Питер уедем!..». В вагоне горел тусклый дежурный свет, в каком-то отсеке играли на гитаре, направились туда. Ехали два дембеля и моряк в отпуск. Стали брататься, у моряка был спирт, пили, пели, моряк между куплетами кричал: «Рыба!». Сначала казалось, не по делу, потом понравилось. Чуть не подрались, когда чужой дембель сказал, что у ракетчиков не будет стоять – облучение и гиптил. Громко мирились, опять пили, пели под гитару до самой Москвы, до самых тех пор, когда за окном стало совсем светло.

Удивительно, но никто нам тогда слова не сказал. Хотя в вагоне мы никому не давали спать. До сих пор не знаю – не хотели связываться или понимали нас, дурных, очумевших от свободы?

Как позже выяснилось, нам крепко повезло. В августе Варшавский договор ввел войска в Чехословакию, и увольнять в запас перестали. Загоруйко сняли с аккорда неспроста. Многим из нашего призыва пришлось служить до декабря. Вот тебе и переход на два года!.. Представляю, что чувствовали эти ребята.

Куда делся Дембельский бог, я не помню. То ли потерял по дороге, то ли дома выбросил, забыв в кармане парадно-выходной формы. Но то, что меня уволили в запас восьмого июня, запомнилось навсегда.

Собственно, о Дембельском боге я уже не думал, когда утром, бледные и помятые, мы вышли на голубую утреннюю площадь перед Ленинградским вокзалом.

До того ли было? Перешагнули этот порог, армию, перед нами распахнулся широкий звонкий простор, наполненный светом и счастьем. Назывался этот простор гражданкой.

И не думалось тогда, что минувшие три года – тоже наша единственная жизнь.

ЛЕНЬКА И МИША-БЕЗНОГИЙ

В этом углу постоянно скапливался базарный мусор. Высохшие и закрученные винтом арбузные корки, множество папиросных окурков с растоптанными плоскими гильзами, семечная пестрая шелуха, вишневые и абрикосовые косточки с волокнистыми остатками подсыхшей мякоти – чего здесь только не было.

Сам угол сырой, образован двумя стенами каменного забора, ограждавшего базар, и на его беленой известью кладке видны ветвистые темные потеки, начинавшиеся примерно в метре от земли. Здесь же поблизости стоял зеленый ларек. Невысокий, квадратный, слоеная фанера на нем местами поотстала и то ли сама отвалилась, то ли ее отодрали узкими длинными полосами.

В ларьке, в этой облезлой зеленой будке, торговали кое-чем из продуктов. За радужным от времени стеклом висела на большом темном гвозде сплетенная на манер косы связка чеснока с белесой легкой шелухой, на полках, что пониже, лежал пяток поусохших луковиц, грудились сушеные груши и сливы, в морщинах которых было серо от пыли. В пол-литровых банках стояли крупы – гречневая, пшенная и рисовая. А из-за деревянной планки переплета выглядывал граненый стакан засахаренного, похожего на топленое масло, меда.

Забывтый базарным начальством и санитарным врачом комиссионный ларек с лежалыми продуктами и продавцом с вечно сонными глазами...

Этот ларек Леньке был хорошо известен. Мама часто оставляла его стоять здесь с уже полной сумкой фруктов, наказывала никуда не отходить, а сама снова, как в море, ныряла в разноцветную базарную неразбериху.

Ходить на базар Ленька не любил. Ему не нравились запахи потной толпы, возбужденные, какие-то судорожные лица торгующих, ругань и толчея, в которой двенадцатилетнего мальчишку бесцеремонно толкали и наступали на ноги. Он начинал злиться, но грубить осмеливался только матери. В толпе он шел обычно с вяло опущенными руками и был совершенно уверен, что все подозревают в нем карманника – стоит даже нечаянно дотронуться до кого-нибудь, как сразу же схватят за руку. Мать в базарном раже протискивалась между рядами, заходила за спины торгующих, приценивалась, пробовала на вкус, и Леньке волей-неволей приходилось следовать за ней. Он держался подчеркнуто вдали от прилавков и каждый взгляд из-за плеча расценивал по-своему.

Но даже больше, чем протискиваться вслед за мамой, он не любил стоять где-нибудь в стороне, вот так, с полной сумкой купленных фруктов. Рядом стояли белолицые или, наоборот, очень загорелые, почти оливковые, курортники – все зависело от того, как долго они находились в местечке, – некоторые из них подходили и спрашивали, почему абрикосы, и Ленька, буркнув: «Не продаю», поворачивался спиной. А сам с отчаянием ждал, что кто-нибудь подойдет опять, спросит почему, а рядом как раз будут проходить знакомые и все услышат... Ленька цепенел от стыда.

Как-то еще развлечь, вывести из этого едва ли не шокового состояния могло разве что появление Миши-безногого. Ленька Мишу хорошо знал – да и кто его не знал! – тот жил на одной с Ленькой улице, а здесь, на базаре, торговал красными леденцовыми петушками, рыбками и звездочками на белых гладких палочках. В сплошной шеренге торгующих Миша-безногий походил на обломанную штакетину: сидя в своем ящике на подшипниковом ходу, он всем остальным едва доставал до пояса. У Миши-безного была одна особенность: с упорным постоянством он избегал платить те два

рубля старыми, которые полагалось взимать с каждого торгующего. Он не возмущался, не рвал на себе рубашку, не кричал, что он инвалид, а с усмешливым спокойствием избегал встреч с базарной администрацией. Ему часто приходилось менять место, поспешно завертывая в стирающую тряпицу глянцевого петушков.

Потеха начиналась, когда его настигала угрюмая тетка-контролер с брезентовой сумкой через плечо и с рулочником похожих на автобусные билетов.

– Плати, – глухо говорила она и тяжело смотрела на Мишу-безногого. – Ну!

Миша останавливался и поворачивал к своей преследовательнице улыбающееся лицо.

– Ясновельможна панночка, – рассыпался он мелким бесом и даже сдергивал с головы кепку-восьмиклинку, обнажая высокие незагорелые залысины. – Ясновельможна панночка, примите мои приветствия и заверения в искреннем уважении и совершеннейшем почтении! – Здесь Миша-безногий рукой с кепкой изображал нечто похожее на помахивание шляпой средневекового кавалера. – Однако смею обратить ваше досточтимое внимание на тот факт, что платить мне совершенно, ну совершенно не за что! Так как я выступаю в данном случае в виде, так сказать, покупателя.

И для большей убедительности Миша вытаскивал из кармана своего мягкого хлопчатобумажного пиджака два соленых огурца с прилипшими к ним крошками.

Вокруг уже собирались любопытные и с интересом, весело ждали, что будет дальше. Собственно, чем дело кончится, более или менее точно знали все наперед. И потому не пытались Мишу защищать – он не любил, когда его жалели.

– А это что? – И тетка тыкала пальцем в оттопыренный карман Мишиного пиджака, где находилась тряпица с петушками. Тетка была просто непрошибаема.

– Одна видимость! – поспешно и горячо восклицал Миша-безногий. – Одна видимость, прошу все так и за-

метить себе! Обман зрения, другими словами. Иллюзия!... Впрочем, – и тут Миша, нимало не смущаясь своей ролью, лукаво обводил глазами собравшихся вокруг, – у вас, уважаемая, здесь тоже кое-что есть, – Миша показывал на грудь, – так я же не интересуюсь, что именно, и показать не требую...

Хохотали собравшиеся, стыдливо хихикал у своей сумки с фруктами Ленька, немела от Мишиной наглости тетка-контролер. А Миша, лукавый и довольный, нырял в толпу и пропадал в ней.

...На этот раз Ленька сразу повернулся к прохожим спиной и вновь увидел перед собой зеленый ларек, который своими ободранными полосатыми боками походил на зебру из книжки. Ленька сделал вид, что очень ларьком заинтересовался, и отошел от сумки – он, конечно же, не имеет к ней никакого отношения, просто случайно оказался рядом, – но далеко отходить все же побоялся. Еще утащат. Глаза скользнули по вязке чеснока, по шелушащимся луковицам, по банкам с крупами и на секунду задержались на сушеных грушах. Приземистая старуха с массивной спиной штангиста тяжелого веса покупала крупу, заслонив остальное, а увиденное было совсем неинтересно, но Ленька к сумке все равно не оборачивался. Даже отступил еще на шаг.

Он принимался рассматривать витрину все снова и снова. И так – до тоски, до отвращения к этим связкам, пыльным банкам и блюдечкам.

Потом он начал смотреть на продавца, пытаясь его загипнотизировать (Ленька недавно прочитал книжку о гипнотизерах, и его очень интересовал вопрос, есть ли у него самого к этому способности). Но продавец большей частью стоял без дела, и, чтобы слишком уж часто не встречаться с ним взглядом, Леньке приходилось быстро отводить глаза. Спокойней было глядеть на витрину, и он опять уставился – как не хотелось возвращаться к сумке! – на чеснок, на крупы и сморщенные сливы...

Чуть в стороне, за планкой переплета, виднелось что-то непонятное. Заинтересовавшись, Ленька ступил шаг в сторону и увидел стакан – горчица, что ли?.. – с темным, чем-то пропитавшимся ценником, прилепленным к его краю. Сиреневатыми выцветшими, старушечьими какими-то чернилами на ценнике значилось:

МЕД 200 Г ЦЕНА 1 РУБ 52 КОП

Ленька, не отрывая глаз от стакана, сглотнул. Казалось бы, вот они, в сумке рядом, абрикосы и поздние сладкие вишни – протяни только руку... Безгранично, до судороги, до спазм в желудке ему вдруг захотелось меда.

Он даже не заметил того, чего с таким нетерпением ждал, – не заметил, как подошла мама.

– А, хол-л-еры! – ругалась вполголоса мама. – Со всем обнаглели – рубль килограмм помидоров! Я ж не курортница, чтобы с меня драть. Я ж на Севере не работала!..

Ленька, не дожидаясь приказа, поднял сумку. Скрипнули кожаные ручки.

Он еще раз оглянулся на ларек. И вдруг решил, зло сунув глаза: все, кровь из носа, а мед у него будет!.. Будет.

По воскресеньям случались праздники. Мама давала по десять копеек на кино, по пятнадцать на мороженое, и Ленька с младшим братом направлялись в центр. Гулять.

Стояли сочные сентябрьские дни, в тени, особенно по утрам, бывало уже прохладно, а возле старой, полуразвалившейся церкви вызревали в медленной тиши глянцево-каштановые в колючей кожуре. Три городских киоска с мороженым по воскресным дням обрастали очередями, чем-то напоминающими запятые – такие же широкие в начале (все стремились поближе к окошку) и узкие, редкие к концу. По каменным плитам тротуара в резной тени акаций ходили стайками девчонки с загорелыми тонкими ногами и манерно слизыва-

ли мороженое с занозистых светлых ложечек. В сквере возле памятника цвели махровые астры, редкие бабочки облетали их стороной... Во всем – солнечная тишина, предосенний покой.

Мальчишки, конечно же, не могли устоять перед соблазном. Ленькины друзья и даже младший брат пристраивались в хвостик запятой, стояли долго, настойчиво и, в конце концов, проталкивались к окошку. Из очереди они выбирались потные, с прилипшими ко лбу чубчиками, зато держали в руках по холодному волшебному стаканчику с торчащей из него ложечкой.

Леньку, который поджидал друзей в стороне, спрашивали, почему он не покупает мороженое вместе со всеми. Может, денег нет?... И были великодушны – обещали дать лизнуть.

Нет, беспечно отвечал Ленька, у него деньги есть. И, достав из кармана монету, подбрасывал ее, блеснувшую на солнце, вверх и ловко подхватывал. Не покупает он специально – в этом киоске продавщица всегда обвешивает, – разве они не знают?

Все вместе шли к другому киоску, где продавщица не обвешивала. Но там очередь оказывалась еще больше. И Ленька, брезгливо кривя губы, объяснял пацанам, что он не любит стоять в таких больших очередях.

Пока доходили до третьего киоска, Ленька утрачивал интерес к мороженому. Он так и заявлял об этом друзьям.

Кино начиналось в два, и мальчишки битый час еще болтались по центру, ведь выходили из дому задолго до начала кино, чуть ли не утром. Те, у кого оставались деньги, кутили вовсю: стреляли в тире, пили газировку с двойным, а то и тройным сиропом, отмахиваясь от настырных осенних ос, покупали на углу семечки у бабки с кошечкой (у этой бабки были стаканчики мал мала меньше, самый маленький с верхом стоил пять копеек), снова ели мороженое.

Леньке пить хотелось давно, да и ходить вместе со

всеми и ничего не покупать было стыдно, и он брал себе стакан газированной воды с сиропом. Лучше бы, конечно, без сиропа, но кругом были пацаны, которые так обидно роскошествовали, и Ленька скрепя сердце выкладывал четыре копейки.

Ленькиной обязанностью было ходить в магазин за хлебом. А если к тому же на это уходило не слишком много времени – столько, что еще можно было побродить по улице, поболтаться, как говорила мама, до самых тех пор, пока тебя не покричат с крыльца домой, – Леньке это вполне подходило.

Очередь терпеливо ждала свежего хлеба. Его привозили в высоком деревянном фургоне, запряженном двумя сытыми, с лоснящейся красной шерстью лошадьми. Лошадьми правил крепкий еще дед, молчаливый, костлявый, с суровыми темными впадинами на месте щек. Он подъезжал к магазину и, совсем не обращая внимания на всколыхнувшуюся очередь, спускался с козел, неторопливо влазил в длинный синий халат с тесемками на спине (в очереди всегда находился кто-то, кто подсказывал и принимался поспешно завязывать их) и распахивал дверцы фургона. Если дело было зимой и еще не темно – все видели, как через открытые дверцы округло валили клубы пара, а запах свежего хлеба, который был вкуснее и конфет, и зефира – к ним примерялся Ленька, стоя в очереди, – был прекрасно слышен даже летом.

Ленька приносил хлеб домой, с лета бросал его на стол, а мелочь, которая оставалась с полтинника – мать не могла знать точно, какой на этот раз будет хлеб, и по сколько станут давать в одни руки, потому-то и отсчитывала на всякий случай больше, – оставшуюся мелочь Ленька прятал в карман.

Он бросал хлеб на клеенку, потертую на углах стола, а сам старался поскорее улизнуть. Это делалось с видом человека, поглощенного предстоящими делами на улице,

и так, чтобы мать, глядя на его озабоченное лицо, стала ломать себе голову: что он еще замышляет?..

Или же надо было легкомысленно, вприпрыжку и напевая, удалиться, но не слишком уж легкомысленно, Ленька это понимал – мать заметит наигрыш, – и не слишком поспешно... Но если она все же заговорит о сдаче, можно попытаться как-то отвлечь ее или же убежать, не дослушав и пообещав отдать вечером, или, в крайнем случае, сказать, что потерял..

Это было хлопотное дело. Приходилось изворачиваться, врать, получать подзатыльники. В любом случае, монеты даром не доставались.

У Леньки было еще несколько способов добывать деньги. Хотя бы вот такой: собирать и сдавать металлолом.

Ленька обшаривал все закоулки, шнырял по заросшей буйной душиной лебедой свалке возле МТС, искал в огородах на межах, куда, вскапывая по веснам землю, отбрасывали встречающиеся черепки, камни, а иногда – проржавевшие куски неизвестно как здесь оказавшегося железа. Однажды, отчаянно трусая, он даже стащил у соседки из сарая медный таз, в котором та варила обычно варенье. Он таз до поры до времени припрятал, а когда соседка хватилась и окрестным мальчикам был устроен допрос с пристрастием, сумел убедить, что не имеет к этому никакого отношения... Обошлось.

Правда, беспокоило немного поведение Миши-безногого. Тот при встречах – жили на одной улице – стал ухмыляться, подмигивать, грозить пальцем. А однажды остановил на белом, слепящем от солнца тротуаре свою тележку, подождал, когда Ленька подойдет ближе, и сказал, запροкинув лицо и щуря глаза:

– Ворон к ворону летит, ворон ворону кричит: у разбитого корыта медный таз лежит зарытый!.. – Миша-безногий оглянулся по сторонам и приложил палец к губам: – Ша, вопрос исчерпан, все понимаю, парень, не мандражируй!.. – Опять подмигнул и смотрел при этом на Леньку любовно.

Он что-то знал. Это тревожило.

Еще с большей настойчивостью Ленька взялся за металлолом. Он собирал сам, он заставлял собирать металлолом младшего брата и его приятелей. Впрочем, заставлял – не то слово. Заставить этих охламонов было трудно, им надо было по крайней мере что-нибудь пообещать. А иногда и выполнить обещанное, если хочешь, чтобы они тебе верили впредь. И Ленька покупал конфеты, раздавал мальчишкам и старался не смотреть, когда те принимались их сосать.

Где-нибудь в укромном уголке весь добытый лом сваливался. Ленька любил рассматривать, порой перебрасывать с кучи на кучу эти железки с шелушащимися, осыпающимися чешуйками ржавчины. Он размышлял о том, как груда никому раньше не нужного железа может превращаться в деньги.

Было в таком способе плохо одно. Чтобы сдать металлолом, приходилось тащить его на себе в грязном мешке через весь город, через центр, опять же встречая по пути знакомых. Это Леньке не нравилось. Тяжело, стыдно, неприбыльно...

Главное – стыдно.

Иногда можно было еще разжиться у отца, когда тот приходил домой подвыпивши.

Отец, который в обычное время считал, что деньги детям ни к чему, что излишества – причина всех зол и несчастий, выпив, становился добр и податлив. Ленька, робко подойдя, скромно сообщал, что получил по истории пятерку, и показывал дневник, а потом безнадежно и жалобно просил десять копеек на кино. Все было рассчитано верно, и отец, растроганный пятеркой и Ленькиным нерешительным видом, выгребал из кармана всю мелочь.

Это был самый доходный, самый приятный и самый легкий способ. Только вот отец не так часто выпивал.

Добытые деньги Ленька складывал в жестяную

банку из-под леденцов. Он специально не хотел знать, сколько их уже набралось точно, но всякий раз, когда снимал крышку, чтобы положить еще несколько монет, – именно потому, что не хотел, невзначай прикидывал сумму. Лучше было рассчитывать на меньшее, а потом, пересчитав, сделать себе приятный сюрприз, и Ленька, в конце концов, прорезал в крышке щель, чтобы не открывать и не знать, сколько уже накоплено, даже приблизительно.

Коробка все глуше и сдержанней звякала, становилась увесистой, будто цельный диск металла, и Леньке все больше хотелось вскрыть ее. Но он терпел и испытывал мучительно-радостное чувство, запихивая в прорезь все новые монеты.

Тихими летними вечерами Миша-безногий любил устраиваться у окна своей комнаты. Он сидел, курил, пока еще было светло – читал газету или просто смотрел на улицу. Медленно оседала поднятая за долгий день пыль, теплились на небе нежные первые звезды, и из густых июльских огородов тянуло душистой сыростью.

Положив на подоконник тяжелые руки, Миша сидел часами, неподвижно и непривычно молча. Тлела в сумерках его сигарета, и из открытого окна пахло горелым сахаром.

Никто не знал точно, когда в такие вечера Миша-безногий ложится спать. Алим Поповский, двадцатисемилетний парень, которого родные никак не могли женить, возвращался домой за полночь, но и он часто еще заставал Мишу у окна. Алим подходил к нему, закуривал и, опустившись на корточки и заскрипев хромовыми сапогами, приваливался к стене спиной. В мягкой темноте ночи они перекидывались неторопливыми словами. Потом Алим уходил, а Мишина сигарета, то разгораясь, то совсем почти приглушенная пеплом, долго еще тлела в черном проеме окна.

На улице Мишу жалели. История его была неза-

мысловата и печальна. В сорок третьем году, в один из нечастых к тому времени налетов немецкой авиации, ему, семнадцатилетнему парню, которого вот-вот должны были забрать в армию, взрывом бомбы оторвало ноги... Улица помнила, как Мишу привезли после госпиталя домой. Бледный, худой, он сидел в тачке, которую толкала сзади его сестра. И вот что поражало: на все встречное он смотрел с жадностью и непонятной радостью, будто и не его это так искалечило. Он, кажется, не понимал, что за жизнь ему предстояла. Соседки, нагладевшиеся за войну всего, отворачивались. Слава Богу, что мать не дожила, не видит, говорили они, сморкаясь в передники...

Миша стал жить у своей замужней сестры. Пенсия была небольшая, и он выучился варить леденцовых пестушков, рыбок и лошадок, стал приторговывать ими на многолюдных послевоенных толкучках.

Шло время, вернулись после долгой службы и давно уже пережились сверстники, а его по-прежнему звали будто подростка – Мишей. Мишей-безногим.

Устроившись у окна, Миша-безногий любил наблюдать, как на улице играют мальчишки. Собственно, там не только играли. На улице проходила большая часть мальчишеской жизни. Жизнь эта была интересна и сложна. Здесь, особенно когда становилось темно, они, против воли озираясь и стараясь придвинуться ближе друг к другу, рассказывали всякие страшные истории. Здесь менялись крючками и леской, вполголоса договаривались о набегах на колхозный виноградник. Здесь же выяснялись отношения, и происходило много других событий.

Изо всех других Миша-безногий постоянно выделял Леньку. Играли ли в войну, и Ленька ловко заводил «наших» в тыл «американцев», забивал ли гол во время пыльных футбольных баталий прямо посреди дороги, побеждал ли в молчаливой ожесточенной драке – он постоянно чувствовал на себе заинтересованный следящий взгляд.

А однажды, когда Ленька в надежде пополнить копилку вынес на улицу груды старых батареек и принялся их нахваливать, он услышал, как Миша-безногий позвал его от своего окна:

– Эй, пацан!.. Ты, с батарейками. Иди сюда, чего скажу.

Ленька оглянулся на мальчишек, быстро рассовал батарейки по карманам.

– Чего мне идти...

– Да не бойся ты, – усмехнулся Миша и с треском потер небритые щеки. – Ничего я тебе не сделаю. – И, видя, что Ленька все не идет, добавил: – Я, может, батарейку купить хочу... Иди!

Ленька колебался. Вчера Миша-безногий возвращался домой пьяным. Он звучно катил по каменному тротуару в своей тележке на четырех подшипниках, с силой отталкиваясь специальными деревянными колodками, которые надевал на обе руки, пел песни и матерился. Когда, привлеченные шумом на их, в общем-то, тихой улице, к калиткам стали подходить соседи, Миша остановился и принялся выкрикивать непонятное: «Микробы!.. Разве так жить надо! – кричал он, и его простодушное, курносое лицо выражало необыкновенную обиду. – Разве так живете все!.. Человечки с маленькой буквы».

Переглядывались, перемигивались между собой соседи и на Мишу-безногого не обижались – ну, выпил человек, с кем не бывает... Это были простые, смиренные люди. Большинство из них работали в промкомбинатовском карьере или в колхозе, работали много, тяжело, жили немудрено и терпеливо. Ближе к вечеру любили выйти на улицу и посидеть в покое на лавочках возле своих ворот, посмотреть на затихающий мир и неспешно подумать о делах. Они не понимали Мишиной горечи.

«А чего, Миша, – усмешливо спросили соседи, – чем мы плохо живем? Как еще надо? Подскажи уж...»

«Не так живете! – мотал головой Миша и ругался: – Не так! Мне бы ноги! Эх! Я бы!..» – Он подскочил на своей тележке к акации у края тротуара, ухватился обеими руками за ее шершавый ствол и, от натуги краснея, попытался вырвать ее из земли. Дерево было старое, крепкое, оно даже не шелохнулось. Миша-безногий от досады ударил по стволу кулаком. Тут он увидел кобеля, озабоченно трусящего по другой стороне улицы.

«Собака! – рыдающим голосом закричал Миша. – Собака, подожди!..»

Пес оглянулся и затрусил быстрее.

«Стой, собака! Дай мне две ноги, у тебя четыре! – Миша выругался и швырнул в убегающего пса колодку. – Слышишь, собака!..»

Соседи качали головами – и смех и грех...

– Чего? – подошел наконец к окну и глянул исподлобья Ленька. Буйных пьяных он не любил.

Миша-безногий молча смотрел на него из-за цветочных горшков. Ясно светились его голубые глаза и похмельно краснели губы.

– Ну, чего? – хмуро спросил Ленька.

– Любуюсь на тебя! – сказал Миша-безногий. Он склонил голову к плечу и немного подумал. – Молодец, говорю. Молодец! Я знаю – слежу за тобой, так что... Запомни мои слова, парень: далеко пойдешь!

Ленька глянул на него внимательно. Нет, не насмехается, вроде...

– Только не пей, – погрозил пальцем Миша, – не пей, говорю! Это все равно, что без ног, понял?.. Я давно за тобой слежу. Точно говорю, вверх пойдешь. Сможешь. У меня на таких нюх есть.

Ленька передернул плечами, поморщился. От Миши-безногого сильно несло перегаром. Он постоял еще, но покупать батарейки Миша не собирался, и Ленька разочарованно отвернулся. Обманул, обрубок...

– Упорный ты, – говорил Миша-безногий вслед уходящему Леньке. – Настоящий! Так и надо, это главное

в каждом деле. Соль земли! Страсти движут миром...
– И, помолчав: – Эх, ребята!

В хороший весенний день Ленька шел к базару.

Стояла послеобеденная дремотная пора, на теплых камнях заборов грелись редкие мухи, а по улицам бродили линяющие куры. Из тесных почек высвободились и радостно развернулись на воле доверчивые свежие листья. Блистало синее небо. Засохшая грязь обочин еще не успела превратиться в пыль, и все вокруг было красочное и яркое, не выгоревшее, не запылившееся – будто в цветном фильме.

Позади осталась дождливая зима, тоскливые долгие уроки после большой перемены – Ленька сэкономил на обедах, – и наступило, в конце концов, то долгожданное время, когда монеты больше не входили, сколько банку не тряс, в прорезь жестяной крышки. Копилку можно было вскрывать...

Денег оказалось больше того, на что Ленька рассчитывал твердо. Даже больше той суммы, которую с замиранием сердца загадывал. Их хватало не на один стакан меда. Это было приятно. И в то же время Ленька был немного разочарован: исчезло чувство ожидания чего-то очень хорошего и приятного, что можешь сделать сейчас, а можешь и позже... Радость вышла с щербинкой.

На базаре почти никого уже не было. Лишь кое-где за обмытыми дождями прилавками устроились на самом солнцепеке старушки с семечками и прошлогодними, пахнущими погребом яблоками в ситцевых узелках. Старухам было все равно где сидеть, а здесь так даже лучше: тепло, хорошо и, может, что и продать удастся... Когда на базаре появился Ленька, старушки замолчали и, приложив к глазам ладони, стали с надеждой смотреть на него. Потом принялись зазывать ласковыми голосами: «Иди сюда, хлопчик. Глянь, какие яблочки...»

Ленька шел, до хруста отвернув голову. Боялся, что старухи уговорят.

В том памятном ларьке с зелеными полосатыми стенами все было по-прежнему. Те же крупы, пыльные сушеные сливы и стакан засахаренного меда. Ленька слишком часто приходил сюда, смотрел на этот стакан, робея и волнуясь, представлял, как станет покупать и, наверно, потому сейчас не чувствовал ни волнения, ни робости. Он поставил на прилавок пол-литровую банку, которую стащил у матери с кухни, и будничным, тусклым голосом сказал:

– Мне два стакана меда. – Помолчал и добавил: – Пожалуйста...

Потом с достоинством положил специально для этого случая выменянные – в копилке была одна мелочь – бумажные три рубля и четыре копейки, три и одну.

Ленька давно присмотрел укромный уголок возле школьной спортплощадки (школа находилась рядом с базаром, через дорогу). Так что нести банку с липкими сладкими краями оказалось недалеко. В густом и уже вовсю зеленом кустарнике он поставил ее на подвернувшийся плоский камень и медленно опустил сам, не сводя глаз со своего сокровища. В кустах было сумеречно и пахло мокрыми корнями.

Прежде чем начать есть, просто необходимо было насмотреться на мед, налюбоваться, насладиться долгожданным моментом, прочувствовать его – и Ленька неотрывно смотрел на тяжелую банку цвета темного, приглушенного янтаря. Он понимал, что сбилось то, о чем он мечтал чуть ли не целый год, но, странное дело, радости особой не чувствовал. Ну, купил... Это было непонятно и немного даже обидно.

Ленька достал из кармана специально припасенную для такого случая чайную ложечку и подцепил из банки на кончик. Мед тянулся длинной тягучей струйкой, образуя на поверхности быстро исчезающие узоры.

Сначала Ленька брал понемногу, смакуя и следя, чтобы и одной капли не упало на камень. Но меда в банке совсем не убывало, и это Леньку ободрило. Он стал набирать по целой ложке и уже не так придирчиво следил за каждой каплей. Мед слабо пахнул летом. Ленька ел и радовался, что в банке его по-прежнему много.

Неизвестно откуда появилась оса. Шевеля усиками и подергивая желтым полосатым брюшком, она села на край банки. Ленька замахал руками и согнал ее. Потом облизал пальцы.

Ему захотелось пить, но колонка находилась далеко, за школой, у самой автобусной остановки, и Ленька опасался оставлять банку. Идти же с ней на виду у всех было неудобно. Он опять принялся есть. Теперь его уже не так радовало то, что меда в банке еще много, больше половины. Это даже начинало раздражать – ешь, ешь, а он все не убывает.

В конце концов, пришлось все же встать и пойти напиться. Во рту пекло и было даже горько почему-то. Ленька быстро вернулся и облегченно вздохнул, когда обнаружил банку на прежнем месте. Рядом, за кустами, бегали, поднимая пыль, потные баскетболисты из девятого класса. Они сипло просили друг у друга пас.

Потом пришлось еще раз сходить напиться. На этот раз Ленька возвращался неторопливым шагом и не очень огорчился бы, если банки на месте не оказалось. Он даже остановился и некоторое время смотрел на баскетболистов. Те его не замечали – пацан еще... Ленька вздохнул и направился к кустам. Надо было доедать мед.

Он медленно ел и желал теперь только одного: чтобы мед быстрее кончался. Но его было еще много. Ленька видел это, и ему становилось тоскливо. Вокруг с угрожающим гулом вились осы. «Это та первая привела...», – равнодушно подумал Ленька.

Он осторожно и тяжело, будто держал на голове полное ведро воды, поднялся и ногой толкнул банку

с камня. Он чувствовал, что, если проглотит еще хоть одну ложку, все пойдет обратно. В щеку укусила оса. Ленька напрямую побрел через кусты.

По дороге домой он старался думать о чем-нибудь другом, постороннем, но раз вспомнил, как распознал-ся по земле густой тяжелый мед из банки, – и его стошнило.

Бледный и слабый, он сидел на камне возле дороги, и ему уже было все равно, кто идет мимо и как на него смотрит.

– Эй, пацан, – услышал вдруг он веселый голос, – чего сидишь? А? Отдыхаешь?.. Да ты что, язык проглотил?

Ленька с трудом поднял голову. Прямо перед ним стояла новенькая инвалидская машина, сверкающая голубой краской и чем-то похожая на степенного жука. Через опущенное стекло смотрела улыбающаяся красная физиономия Миши-безногого.

– Садись, подвезу. Первым пассажиром будешь, запоминай исторический момент! – И, видя, что Ленька опять опустил голову, Миша-безногий закричал, перекрывая слабое татаханье своей коляски: – Але, да ты чего! Садись, комбинатор, пока приглашаю, слышишь?.. Давай!

В конце концов, Леньке пришлось подняться. На нетвердых ногах он добрался до Мишиной машины и тяжело свалился на единственное сиденье рядом.

– Да, бледноват ты чего-то, парень. И оса, кажись, тебя ударила, – скороговоркой отметил Миша-безногий и, отвернувшись, осторожно, с уважением тронул руль, похожий на велосипедный. – Чудесная все-таки машина!.. Нет, я серьезно. Несет нас двоих – и нормально, чин чинарем! – Он задумчивыми далекими глазами вдруг посмотрел на Леньку. – Если вот так разобраться, то раздён человека – беспомощней не найдешь существа. А так, выходит, в самом начале истории как раз было!.. Ты представь: голый, в лесу – даже шерсти

нет. Беззащитный! У зверей вокруг когти, зубы, теплая шкура, а у этого – ни когтей, ни зубов... А? Как?

Коляска тронулась. Поплыли по бокам весенние праздничные деревья. Коляска то попадала в их тень, то опять выезжала на яркое солнце.

– Ведь, по идее, сожрать должны были всякие там саблезубые тигры! Верно? Сто процентов! А не вышло. Наоборот получилось – саблезубые вымерли, а человек живет. Даже странно кажется, почему вот так получилось, а?

Ленька пожал плечами.

– О, не знаешь! – Миша-безногий назидательно поднял палец. Он говорил, а сам, подавшись вперед, неотрывно смотрел на дорогу. – Вот не знаешь. А очень просто. За счет этого, – Миша показал пальцем на свою голову, – за счет черепушки выжил... Представь, где-то миллионы лет лежала руда. А может, и миллиард. Лежит и лежит себе, никому до нее дела нет, ни одному животному не интересна. А человек заинтересовался. Пришел, посмотрел – туда, сюда, сталь из нее добыл. Не просто, конечно, взял – и добыл!.. Время, конечно, прошло. Но добыл! Ведь подумать – чудо, а? Чудо! Лежит руда, никому до нее дела нет, а человек заинтересовался. Телепатия! Чудно! Непонятно даже... Или та же нефть. Есть ее никакое животное не станет – черная, вонючая. А человек и ее приспособил. Вникни: не напрямую он ее употребляет, а вот... – Миша-безногий, оторвав на секунду от руля руку, сделал неясное движение, которое должно было означать хитроумность этого самого неопределенного человека, – ну, посредством всяких там механизмов. Использует, так сказать, свойства нефти. И вот пожалуйста, соединил сталь и бензин, получилось это! – Миша с удовольствием хлопнул по рулю. – Машина! Я ничего не делаю, просто сижу, никто, заметь, не толкает, – Миша на всякий случай даже оглянулся назад, – а она едет. Сама! Это ж додуматься надо! – Миша восторженно покрутил головой, потом

добавил, понизив голос: – Если по правде сказать, то очень даже странно все это. Сверх простого понимания... Но факт!

Они уже ехали по окраинной тенистой улице, на которой оба жили. Леньке становилось понемногу лучше, и с оживающим интересом он оглядывался по сторонам. Хотя все и было до мелочей знакомо, но приятно то, что вот, пожалуйста, он едет в машине, пусть и инвалидской... Жаль, мальчишки не видят.

– Чего здесь непонятного, – с легкостью, даже пренебрежением сказал он. – Любой первоклашка знает: человек познает и покоряет природу. Элементарно.

Миша-безногий посмотрел на него. Ехидно прищурился.

– Силен, бродяга! «Элементарно»!.. Я так до сих пор слабо еще в этом разобрался. Понимать – понимаю. Но... не понимаю! До конца то есть.

Машина остановилась у ворот Ленькиного дома. У забора клубились кусты цветущей сирени, и воздух вокруг был пахуч и нежен.

– Подбородок-то вытри, – сказал Миша, перегибаясь и помогая открыть Леньке дверцу. – Мед, что ли ел?.. А-а, – вдруг осенило его, – так вот на что ты деньги-то копил! А я себе голову ломаю... Невысокий полет, парень, невысокий! – Миша хмыкнул и скривился: – И объелся, конечно, да? И осы покусали? Пожадничал...

Он молча и насмешливо смотрел на Леньку. Тот уже выбрался из машины и стоял, готовый провалиться от стыда сквозь землю. Полыхали огнем его большие оттопыренные уши.

– Ладно, не переживай. – Лицо у Миши-безногого смягчилось. – Ты молодой еще, не понимаешь... Но смотри, парень, не испорть себя. Не испорть, парень!

Он вдруг раскинул руки, сказал, глубоко, во всю грудь вздохнув:

– Эх, весна! Весна, парень, слышишь. Живем! – И, заметив, что Ленька смотрит на него удивленно, под-

мигнул: – Ну, чего стоишь? Домой иди. Уроки, наверно, не сделал еще? Ступай, комбинатор. – И еще раз подмигнул: – Жизнь прекрасна и удивительна!.. Кто сказал, а?

МЫ С ТОЛИКОМ БЕЛИНСКИМ

Ненаписанный рассказ

Так и этак примериваюсь к тому случаю, хожу, думаю, мучаюсь, даже сажусь писать, но в конце концов откладываю. Все мне кажется слишком очевидным, прямолинейным – б е д н ы м. Однако успокоиться никак не могу. Какое-то время спустя опять кружу около той давней истории, хотя умом понимаю, что ничего путного, похоже, не выжать.

И так несколько лет. Что меня держит, почему не могу поставить крест – мало ли что со мной случалось? Далеко не все может быть интересно другим, значимым во всеобщей системе координат. А литература именно на этом держится. У меня же – так, частное. Вернее, слишком знакомое, если уж по большому счету, избитое.

И все же хожу, думаю, мучаюсь. Потому, что случилось со мной? Что не сочинено, не сконструировано, а испытано на собственной, достаточно тонкой шкуре? Что контраст был сильным, ведь ожидал непременно исполнения своего желания и радости? Тем более, возраст-то какой был – нежный возраст!..

У меня даже начало есть.

Стоп, ошибки быть не может. Вот мы, я и Толик Белинский, в нашей уже слегка затуманившейся ямпольской давности. Копаем на пустом, убранном огороде землянку, выворачиваем комья чернозема с бледными хвостиками трав и прерывающимися трудными головами рассуждаем, где будет стоять стол с картой, а где нары, чтобы спать после партизанских заданий. Тихое октябрьское солнце греет нам спины, пряно пахнет потревоженной землей, палым листом груш у Толиного дома, кроликами из близкого сарая. Мы торопим-

ся, потеем, налегаем на лопаты с отполированными до костяного блеска черенками – боимся, как бы мама Толика не передумала и не запретила копать землянку. По опыту знаем, насколько взрослые пренебрежительно относятся к нашим даже самым серьезным планам...

Когда читаю после перерыва, свежим глазом, словно вижу и чувствую все это снова – контрастно, ярко, со всеми запахами и звуками. А сколько еще не вошло, сколько ощущений и картинок всплывают при чтении сами собой! Несвобода ватных телогреек (в них ходили в Ямполе даже девочки), из коротковатых рукавов торчат наши почти взрослые кисти; классический румянец на круглом, с не по-мальчишески белой кожей Толином лице; тонкими рисками блестит паутина на узловатых ветках груш, потянет ветерок – по паутине скользит солнце то обычным, ярко белым, а то зеленым или карминовым, спектрально распавшимся цветом; мама у Толика почти старушка, Толик младший в семье, послевоенный, его взрослые братья давно женаты, племянницы едва ли не старше дяди; комья чернозема сыпучи, они легко распадаются на мелкие крупчатые комочки; неподалеку пекарня, стучит день и ночь движок, волнами наплывают запахи свежего хлеба и лошадей – конюшня выходит стеной к усадьбе Белинских, на лошадях развозят по магазинам хлеб...

И не случайно это *стоп, ошибки быть не может* в начале задуманного рассказа. Память и в самом деле похожа на видеопленку или лазерный диск, если хотите. Не бог весть какой свежести сравнение, но что-то в нем есть. Память можно прогонять в ту или другую сторону, она полна сюрпризов, прихотливо следует какому-то своему сюжету. Сюжет этот может не совпадать с главными событиями вашей жизни, определившими биографию. Пойди пойми, почему запомнилось, например, как убежал в раннем детстве от бабушки, убежал к конюшне ошиваться возле лошадей (бабушка Глафира боялась – лошади могли убить копытом). На

всю жизнь запомнилась бегущая вверх и направо голая тропинка, в боковом зрении – хлев под соломенной крышей, а слева и внизу цветущая картошка, где лет через десять отец построит дом. И ведь ничего в тот раз не случилось. Даже не помню, побывал на колхозной конюшне или нет. Но до сих пор вижу себя как бы со стороны – шустрого, пятилетнего, воровато пригнувшегося, до дрожи остро желающего поскорее проскочить тропинку, быстро, быстро на улицу, пока бабушка не видит!..

И совсем не отложилось в памяти, как впервые поцеловался в институте со Светланой, с которой столько потом было всего – и хорошего, и отвратительного.

Информация к размышлению, как говаривал Юлиан Семенов. Какие законы у памяти? Ясно, рации не на первом месте. Эмоциональные? Но как тогда быть с той же Светланой – все остальное, связанное с ней, тоже слилось в невнятный комок восторга и боли. Деталей нет, только это смазанное ощущение, хотя Света по сути была моей первой женой. Видно, здесь и в самом деле свои законы.

Рисунок судьбы?..

Связи между началом ненаписанного рассказа и тем, что должно было произойти дальше, особой нет. Память отчего-то выдала эту картину, и я попытался сносно передать ее. Чтобы и зрительный ряд, и осенние запахи, и едва уловимым намеком ощущение времени – вторая половина пятидесятых, – и мы, тринадцатилетние обормоты из районного городка на Подолье. Но все слегка, первое касание карандаша, дальше пропишется плотнее и зримей.

Не уверен даже, что именно на тот октябрьский день в школе был назначен праздник урожая. Хотя именно с праздника урожая все и закрутилось. Впрочем, мостик перекидывается легко. Пусть у забора огорода, где мы копаем землянку, появится Толик Зальцман (заменить имя, два Толика – Белинский и Зальцман – многовато

для одного рассказа). Зальцман спрашивает что-нибудь вроде: «Чуваки, как насчет школы? Ботаничка обещала цвайки поставить, кто не придет. Пошли? Потом танцы, пообжимаемся». И нетерпеливо поправит спадающую к правой брови челку. Вид у него просительный.

Зальцман наш одноклассник, он хорошо бегаёт шестьдесят метров, что ценится, а с прошлого года по-вадился на школьные вечера с непременными танцами, куда ходят старшекласники, – сказывается раннее семитское развитие. (Толик Зальцман тянет за собой целый пласт ямпольской жизни – ребята-евреи, живые, трусоватые, умные и не очень, сыновья ямпольских парикмахеров, портных, врачей, они вносят свой колорит в жизнь городка, без них она была бы скучней и г л у ш е. Но нельзя рассказ перегружать, все же не очерк нравов, да и Толик Зальцман персонаж второстепенный. Оставлю только его гитлеровскую челку и раннюю сексуальность.)

Он поинтересуется, что мы копаем, и Толик Белинский, напустив на себя значительный вид – характерная его черта, – ответит, мол, тайна. Белинский не очень доверяет однокласснику, с которым мы, в общем-то, дружны, он не хочет брать его в отряд. Хотя мне кажется, что из сметливого Зальцмана вышел бы хороший разведчик. Если, конечно, не сдрейфит под пытками, когда фашисты поймают...

Итак, первые абзацы намечены. Казалось бы, садись и пиши. Если бы не сознание необязательности задуманного. А композиция между тем вылепливается в голове сама собой, без особых усилий, движет внутренний, пусть не слишком новый сюжет.

Дальше несколькими фразами можно было бы дать школьный зал. Туда нас обычно собирали на репетиции хора, там принимали в пионеры, в углах зала стояли жестко шуршащие, сухие и высокие снопы кукурузы – гордость кружка юннатов. Тот зал мало походил на нынешние актовые залы, это был скорее класс, раз-

ве что попросторней и не заставленный партами. Не трудно восстановить и атмосферу праздника урожая. Заранее предупреждали, что не успевшие на торжественную часть допускаться на танцы не будут, и старшеклассники, дабы не оказаться перед неумолимо закрытой дверью, уже расположились на стульях вдоль стен. Несмело бесясь, перебегали с места на место, пока на них не прикрикнули, несколько мелких из начального звена в рыжих нечищенных кирзачах – ямпольская обувь тех лет. Толик Зальцман, который был рад тому, что удалось-таки привести нас с Белинским на праздник урожая, пламенным шепотом уговаривал остаться на танцы. Мы колебались. Одно дело избежать двойки (ботаничка и в самом деле могла поставить, строгая), а другое – маяться у стены, а то и схлопотать от старшеклассников, если будем отпускать реплики. Танцевать мы еще стеснялись.

Отдельной стайкой посажу девочек из седьмого класса. Они были основой кружка юннатов и опорой руководившей этим кружком учительницы ботаники Ганны Семеновны. Девочки чувствуют себя именинницами и что-то радостно предвкушают. Невысококонькая Ганна Семеновна со сложенным на темени калачиком из кос дожидается, когда зал затихнет. Она уже поднялась и вполголоса переговаривается с отвечающей за мероприятие завучем...

Конечно, я не помню, что тогда говорила Ганна Семеновна. И тем более не помню, какие приводились цифры роста урожаев на пришкольном участке, хотя они, вне всякого сомнения, приводились. Да и неважно это. Как, впрочем, не важна для моей памяти (рисунок судьбы?) вся диспозиция рассказа. Это всего лишь профессиональный прием, вхождение в историю, наращивание на авторской идее плоти, художественного, так сказать, мяса. Важно другое. То, что поразило нас с Толиком Белинским как молния. Да простится мне этот штамп, однако точнее не скажешь. Именно п о р а з и

ло, и мы словно выключились из привычной жизни, стали почти равнодушны к ней. Именно как молния – ослепляющее и мгновенно. Если бы тогда нас интересовал смысл жизни, мы с Белинским точно бы сказали, в чем он.

Юннаток из седьмого класса наградили МЕДАЛЯМИ.

Сейчас можно усмехаться – детская дурь, неадекватное восприятие реалий, – но я думаю про себя: а стремление, скажем, получить квартиру или купить иномарку не из того же ряда, разве что для взрослых?.. Более того, исполнение сокровенного желания воспринимается в детстве много острее, чем во взрослой жизни. В нем больше счастья. Следовательно, оно ценнее. И уж точно наше желание было лишено меркантильности и стремления к житейским выгодам. Ну, погордились бы перед ребятами этими медалями, повыпендривались, пока не надоело бы. А в остальном, можно сказать, чистое искусство. Очарованность и де е й, как трактует идею Платон.

Интереснее всего, что и медалями эти награды называть было трудно. Скорее, трехкопеечного размера жетончики на узкой зеленой планке. Анодированная поверхность украшена барельефом скульптуры, которая по сию пору висится над главным входом бывшей выставки, по ободку шли слова: «Участнику ВДНХ». По какой разрядке эти жетоны попали в нашу школу – и сейчас понять не могу. Так как знаю точно, что никого в мою пору из школы в Москву на выставку не возили, да и выращенное юннатами вряд ли выставлялось. Но факт остается фактом. Медали были, и они поразили нас в самое сердце. Предложи мне тогда на выбор жизнь родителей или эту медаль, я выбрал бы медаль.

Вот так.

Теперь подобная фетишизация может показаться странной (или странной мы с Толиком Белинским – не произвели же медали особого впечатления на сидевше-

го рядом Зальцмана. Кстати, нота бене – национальный характер!), но в рассказе будет ключ к разгадке этой фе-тишизации. Ключ подспуден, завуалирован, но грамотный читатель его вычислит и порадует своей проницательности. Мне и самому, пытающемуся из взрослой жизни понять свою тогдашнюю страсть, открылось не сразу. И я поиграю с читателем, там и здесь рассыплю по тексту намеки. Значащие детали будут перекликаться между собой, подмигивать, мягко подводить к желаемому выводу. Озарение подобно оргазму. Хороший писатель похож на умелую любовницу, искусно ведущую партнера к откровению, счастью, озарению – назовите как угодно известный восторг. Причем читателю непременно должно казаться, что он сам проник в неочевидный смысл, автор здесь как бы и ни при чем. Таковы правила литературы.

А если говорить напрямую, в лоб, то не помню в своей жизни времени, когда с таким пиететом, как в пятидесятые, относились бы к разного рода отличиям. Всем этим почетным грамотам, звездочкам на погонах и шевронах, орденам, формам – вплоть до шахтерской, переходящим красным знаменам, значкам и т. п. Запомнилось: завуч нашей школы носила на пиджаке значок ГТО. И никому это не казалось смешным.

Для чего такое делалось, почему возводилось в ранг государственной политики и вдалбливалось в головы – ясно. Но я менее всего хочу уподобиться массово расплодившимся смельчакам, задним числом поносящим Систему. Власть всегда играла на человеческих слабостях, какой бы эта власть ни была. И всегда будет играть – манить наградами, званиями, известностью, деньгами в конце концов. Увы, другой власти не бывает. А что, как не стремление к сохранению власти угадывается в ярком, в общем-то, поступке древнегреческого мальчишки, который позволил лисенку вгрызться в живот, но не проронил ни слова? Спарте нужны были мужественные воины, которые могли бы защитить

утвердившийся порядок вещей. Другими словами, власть. Власть обычаев, ценностей Спарты – в том числе иерархических, – неизбежных предрассудков... В таком духе мальчишку и воспитали, а потом его поступок вознесли на щит.

Понимаю, звучит упрощенно, быть может, цинично. Меня и самого охватывает уныние, когда размышляю о скрытой основе большинства вошедших в историю событий и поступков. Да что делать, не нами придумано.

Жесткая в достижении своих целей власть похожа на египетские пирамиды. Жизни сотен тысяч людей потребовало их возведение. Так и Система со всеми ее реалиями. Ужас и невольное благоговение вызывает она. У нас была великая эпоха, сказал Лимонов. И в этом что-то есть. Победа в Войне, энтузиазм тридцатых, гордость за страну, великая цель. И здесь же – человек как стремящаяся к нулю бесконечно малая величина, вчерашние победители в голодном сорок седьмом копались на помойках, целенаправленная унификация сознания, читай: оболванивание...

То и другое – из одного корня. И первое без второго не бывает. По крайней мере, у нас в России.

Но – к делу. (Разве что замечу про себя, насколько одномернее сказанное прямо в сравнении с художественным намеком. Воистину, публицистика супротив прозы все равно, что плотник супротив столяра.)

Итак, цель нашей с Толиком Белинским жизни вырисовалась в тот солнечно тихий октябрьский день с полной определенностью. И не были бы мы ямпольскими пацанами, если бы сразу не взяли быка за рога. Едва ли не на празднике урожая оба записались в кружок юннатов. И вскоре стали, пожалуй, самыми прилежными его членами.

О партизанской землянке, естественно, было тотчас забыто. Как было забыто о поисках кимберлитовых трубок в крутых склонах оврагов в окрестностях Ямполья, промывке золота на берегах протекающей через

городок Русавы и о многом другом, что составляло интерес нашей жизни раньше.

Да что говорить, мы даже перестали мечтать о мореходке! Оба собирались после школы учиться на капитанов дальнего плавания и на разные лады упоенно фантазировали на тему девятибальных штормов, коротких трубок под мужественно прокуренными усами, тропиков и девушек из Нагасаки со следами проказы на руках. Даже об этом мы забыли! Такое что-нибудь да значит. Мужчины, помнящие детство, меня поймут.

Несколько портило дело то, что пора для юннатского рвення была не самая подходящая – осень. А там и зима наступила. Кукуруза, сахарная свекла и картошка на школьной деляне были выращены и давно собраны, а как себя особо проявишь в теплице, где только и можно было зимой что-то делать? Ходить поливать салат и лимонное деревце в кадучке, когда по графику была наша очередь, мы, конечно, ходили. Но на этом поливании особо-то не отличишься. А медали дают лучшим, Толик и я это понимали.

Помогла Ганна Семеновна. Хороший юннат, сказала она, должен собрать за зиму десять килограммов золы, пять килограммов куриного помета, принести два десятка луковиц тюльпанов или ирисов, приготовить несколько саженцев яблонь и абрикосов. Только сделав все это, можно рассчитывать на поощрение. Ганна Семеновна не сказала «на медали», но мы с Толиком смотрели на ее, ставшее доверительным, почти родным лицо, и нам слышались именно эти слова.

Как мы ее в тот год любили! Так любят своего сюзерена боготворящие подданные. Мы искали ее благосклонного взгляда, одобрительного слова, старались почаще попадаться на глаза, чтобы лишний раз поздороваться. Одноклассники стали нас дразнить подлизами. Но нам с Толиком Белинским и это было нипочем, хотя в другое время кровно оскорбило бы. Для ямпольских пацанов не было большего падения, чем заискивать перед учителями.

Я сладко предвкушаю возможности, которые откроются передо мной, когда начну описывать, как добывал для школьной деляны все эти саженцы, луковицы и удобрения. Шекспировские страсти вкупе с обычаями и бытом Ямполья лягут на страницы рассказа. Это будут колоритные эпизоды, я получу свой кайф – не надо ничего придумывать, только отбирай посочнее, поярче и стыкуй с фабулой. Например, как подряжался к соседям чистить курятники (темно, очень тесно, едко воняет пегим пометом); как, отчаянно трусая, забирался в чужие сараи, таскал дрова и жег в укромных местах на золу (что могло закончиться плачевно – на скудном лесами Подолье дрова ценились на вес золота, топили в основном кизяком и сухими стеблями подсолнуха); как воровал у матери семена, весной был подвержен допросу с пристрастием, но не проронил ни звука...

О, здесь есть где развернуться! Это будет кусок, который случается почти в каждом произведении, и, работая над которым, автор наслаждается.

Но предвижу и трудности. Большие трудности. Логика замысла потребует, чтобы Ганна Семеновна была прописана достаточно ощутимо. И я знаю, что это едва ли не самое опасное место в рассказе, одновременно подводный камень и оселок (неплохая параллель, запомнить) – и напороться можно, и проявить писательское умение.

Прописывая Ганну Семеновну, нужно будет суметь соблюсти то ювелирное равновесие между хорошим и плохим в характере, когда грядущий результат неясен, все может повернуться и так и этак. Более того, результат должен быть для читателя в известной степени неожиданным. Когда все ясно с середины произведения, это неинтересно, а для автора – прокол.

Думая над возможностью, как говорят записные рецензенты, **в ы с т р а и в а т ь** образ Ганны Семеновны, я достаю альбом и рассматриваю на школьных фотографиях ее лицо. Ничего вроде бы особенного.

Широкоскулая немолодая женщина с уложенными на макушке жидкими косами сидит среди других учителей основательно, тяжело, хотя сама невелика и мало чем отличается от нас, шестиклассников, тремя ярусами расположенных фотографом. День в начале июня, все щурятся, хотя снимают нас в тени, у беленой стены школьной мастерской. Толик Зальцман со своим гитлеровским чубчиком как бы ненароком касается мягкого плеча не по возрасту развитой одноклассницы, фамилия которой крутится у меня на языке, но уже никак не вспоминается. Вид у Зальцмана при этом самый невинный. Глуповато улыбается Валерка Михерский, он старше нас, хотя по метрике сорок шестого года, – Валерка зверел, когда его обзывали немцем (вообще-то, странно, во время войны в Ямполе стояли румыны). Внизу снимка голова к голове лежим на боку мы с Толиком Белинским. На физиономиях наших довольство жизнью и уверенность в том, что дальше будет только лучше...

Среди учителей и наша классная – аппетитно полная Розалия Львовна с несоразмерно маленькой красивой головой. Даже на фотографии видно, что они с Ганой Семеновной друг друга не любят – смотрят в объектив несколько искоса, отворачивая лица. И меня осеняет. Может, все дело в этом? Та и другая классные руководители, учительская ревность и соперничество, осложненные тем, что одна хороша и молода, а другая... Может, и так. Но бедно это. Не устраивает меня. Из нынешней дали видится нечто серьезней и значимей. Выражение лица Ганны Семеновны. Нет, оно не злое. Оно равнодушно беспощадное. Л и ц о ж и з н и.

Копаю в памяти, отыскивая какие-нибудь дополнительные подробности о Ганне Семеновне. Характер должен быть убедительным. Но ничего значительного, память (по рабочей гипотезе – рисунок судьбы, доверенное лицо парок), безмолвствует моя память. Вспоминаются разные мелочи. Как Ганна Семеновна вместе с нами, юннатами, пропалывала сахарную свеклу в

знойном поле, хотя могла бы давать ценные указания из ближней лесополосы, тенистой, с прохладной травой. Или еще. Проходил однажды – мама отправила искать куда-то уплывших уток – мимо их дома на берегу Русавы, а там парни из десятого класса кроют шифером крышу. Муж Ганны Семеновны, тоже учитель, физкультурник в нашей школе, сидит на верхотуре в майке и синих галифе и стучит молотком. Сама Ганна Семеновна, как обычная ямпольская хозяйка, в белой косынке и переднике кашеварит на летней печке – готовит на всех обед...

Но ни в коем случае не нужно писать, что старшая дочь Ганы Семеновны умерла! Она неважно училась, плакала и оправдывалась перед матерью тем, что болит голова. Ганна Семеновна не верила, считала, что девочка ленится. Била ее. В Ямполье считалось позором, если учительский ребенок плохо учился. Потом выяснилось, что у девочки была опухоль мозга... Об этом нельзя. Перебор. Слишком. Случай, когда жизнь и литература не одно и то же.

И если мне удастся сделать так, чтобы читатель до самой развязки не подозревал, чем дело закончится, – значит, в главном рассказ получился. В произведении, как в жизни: много вероятностей, но фактом становится одна. И точно знать, какая – до поры до времени не дано.

Ну а в этом тексте никакой загадки, конечно, нет. Все очевидно, исход ясен. (Господи, сколько подобного встречалось в литературе!) Через год был новый праздник урожая, была торжественная Ганна Семеновна на фоне образцово-показательных снопов кукурузы, были мы с Толиком Белинским, предвкушающие блеск анодированных медалек на своей груди...

Основания надеяться на них были – наше старание видели все. Мы не только собрали за зиму многое из того, что перечислила Ганна Семеновна, но поливали и поливали, когда наступило лето, сутками сторожили

на кукурузных делянках, чтобы предприимчивый ямпольский люд не обломал початки. Осенью копали картофель и сахарную свеклу, стараясь не оставить в земле ни картофелины, ни свеколки. Приходилось как-то выкручиваться – наши руки нужны были дома, Толина мама и моя ругались. Однако нас неудержимо влекло к школе. Сама Ганна Семеновна хотя и сдержанно, но похваливала нас.

Человек, придумавший выражение «сгореть от стыда» – гениален. Могу утверждать это со всей определенностью. Мы с Толиком Белинским сгорели от стыда, готовы были провалиться сквозь землю, когда Ганна Семеновна в своем докладе не только не назвала нас среди лучших (ими вновь оказались девочки, теперь уже из восьмого класса, в котором Ганна Семеновна оставалась классным руководителем) – это бы ладно, хотя очень обидно, конечно. Принципиальным своим голосом Ганна Семеновна сказала, что в кружке, к сожалению, оказались ученики, которые недобросовестно относились к обязанностям юнната, преследовали корыстные цели. И назвала наши фамилии.

При всей школе! При одноклассниках, которые знали о нашей с Белинским мечте! При пацанах, готовых задразнить до смерти, дай только повод!..

Но хуже всего было сознание: медалей у нас никогда не будет. НИ-КОГ-ДА!

Нелюдимо косясь по сторонам, мы вышли из школы. Оба стыдились и ненавидели в этот момент всех, в том числе друг друга. В ту пору мы еще не знали пошлой истины: победа сплачивает, поражение разъединяет – и не могли противостоять ей. Так, наверно, и разошлись бы угрюмо по домам, не сказав друг другу ни слова, если бы не Толик Зальцман. Тот выскочил на минуту за угол школы покурить, его носатое лицо с пробивающимися усиками было жизнерадостно – впереди танцы и обжимание с юннаткой из восьмого класса, недавно

согласившейся с ним дружить. (У Толика Зальцмана, надо сказать, был свой бзик – он не любил девочек-евреек, издевался над ними. Да и сам, похоже, стеснялся того, что еврей. Кстати, хороший штрих, можно будет обыграть. Это не только придаст образу объемность, но и притушает изначальную заданность. У парня своя драма, а такое делает образ убедительней.)

В ту недобрую минуту Толик Зальцман имел неосторожность или не так посмотреть на нас, или даже насмешливое бросить что-то. Мы с остервенением ринулись на него. Бедному Зальцману досталось. Мы поостыли, лишь увидев кровь на шнобелястом лице и надорвав «шоферку» – модную тогда куртку на молнии. Под конец с чувством обозвали жидурой и удалились, уже не столь подавленные.

Ничего нового. Исконная привычка отыгрываться на евреях.

Из нынешнего своего далека пытаюсь все-таки понять Ганну Семеновну. Но не очень-то получается. Достоевщина какая-то. Ведь видела она, что мы из кожи лезли, – не могла не видеть. Или в том-то и сладость, чтобы об асфальт таких розовыми мордажами, об асфальт! И почему мне все время чудится что-то особое в ней на фотографии? Не частное, некой учительнице богом забытого Ямполья принадлежащее, а вневременное, невытравимое. Глумливая ухмылка жизни. Ее отвратительно равнодушная физиономия.

Или все проще? Не было в тот год разнарядки на эти пустынькие жетоны, не дали их школе. И чтобы сразу пресечь наше с Толиком недовольство, Ганна Семеновна поступает радикально, объявляет нас лентяями и прохиндеями. Не мы бросаем кружок и тем самым уязвляем ее, а она нам указывает на дверь.

Или совсем уж просто – действительно сводила счеты с нашей Розалией Львовной? Хотя бы таким образом хотела досадить ей. Недобросовестных и тщеславных людей, дескать, воспитала в своем классе...

И то, и другое могло быть. Но что же с таким мучительным интересом я всматриваюсь в лицо Ганны Семеновны? Почему не устраивают меня эти здравые объяснения? Отчего Ганна Семеновна кажется мне такой значимой, даже символичной?..

Несколько лет назад мы виделись с Толиком Белинским. Он привозил в Москву своего сына на обследование – что-то у мальчика неладно с кровью. Толика (Анатолия Ивановича) это очень беспокоило.

Естественно, сели, выпили за встречу, всмак наговорились. Толик тоже давно уехал из Ямполья, работал мастером на кирпичном заводе в Тернопольской области, жил у тещи, с которой – классический вариант – не очень ладил. Как я понял, теща однажды порывалась даже ударить его, здорового мужика, отца семейства. Как жить с такой под одной крышей?..

Толик в ту пору усиленно копил деньги на кооперативную квартиру и дай бог, чтобы успел купить. Виделись мы в году восемьдесят седьмом, еще до того, как стали в одночасье гражданами разных стран, перед самым горбачевским экспериментом со всеми его последствиями. Среди прочего заговорили о женах, скованно поулыбались – в школе, выпускниками, любили других. И казалось, ничто нас разлучить не сможет.

Мне тоже особенно похвастаться перед Толиком было нечем. Давно ушиблен литературой, а нельзя сказать, что преуспел. Служу в газете, занимаюсь в основном журналистской поденщиной. Спустя неделю смотришь на какой-нибудь из своих материалов – зачем? На что ушло время?.. Отец к моим годам хату успел построить, что-то осязательное сделал.

Вы живы, Ганна Семеновна? Помните нас? У меня давно уже нет к вам недоброго чувства. Вы мне и Толику Белинскому были п р е д у п р е ж д е н и е м. Но это нас не образумило. Да и не могло образумить. Человек обречен чего-то желать, стремиться, загонять себя и почти ничего не получать в итоге. Это потом наступает

то, что люди красиво называют мудростью. А если точно – усталостью.

Все чаще думаю о вашей умершей дочери. Нет, не в укор говорю это. Вы и сами потом наверняка мучились и страдали – вы всего лишь человек, как бы ни фантазировал я по вашему поводу. Почему нам не дано понимать других? Почему не заходится сердце от нежности и любви к людям, с которыми соприкасается наша недолгая жизнь? Почему не обнимемся и не заплачем?

Не останавливает меня предупреждение Экклезиаста: не от мудрости задаются такие вопросы. Из сокровенной сердцевины души – искренней, не смилившейся – вырывается это «почему».

Не к вам, Ганна Семеновна.

К жизни? Всевышнему? Судьбе?

ЯБЛОКО В ЖЕЛТОЙ ЛИСТВЕ

Якунин остановился, несколько секунд удивленно смотрел вверх. Как оно здесь только уцелело? Мальчишки вон всю траву вокруг вытоптали...

Он сделал шаг, и яблоко сразу пропало, будто нырнуло в густые еще листья. Якунин усмехнулся, отступил назад, но яблоко не появлялось, и пришлось внимательно всматриваться и осторожно поворачивать голову, прежде чем яблоко стало заметно опять.

Оно было одного цвета с листвой, зеленовато-желтое, а его румяный бок сливался с красными, почти бордовыми листками на мелких ветках у ствола. Такое заметить и сорвать непросто...

Все, казалось, было объяснимо, но Якунин по-прежнему с недоверием смотрел то на выглядывающее из листвы яблоко, то на ближние многоэтажные башни. Дети из этих новых домов постоянно пропадали на пустыре, здесь от снесенных деревенских подворий остались кое-где яблони и низкорослые вишни с полусохшими ветками. Деревья и незастроенное пространство детей привлекали, и было все же до конца непонятно, как яблоко оказалось незамеченным – мальчишки каждое дерево излазали так, что кора на стволах и на нижних толстых ветвях отдавала темным гляncем. Фантастика...

Якунин оглянулся, пытаясь понять, увидел ли кто его стоящим и смотрящим на дерево. Он быстро пошел дальше, к автобусной остановке, делая вид, что задержался случайно. Ему было приятно, что из десятков проходящих по тропинке людей яблоко открылось только ему. Словно это был непонятный, но добрый знак.

В автобусной толчее среди чужих локтей и спин – Якунин не любил городской транспорт, это вынужденное тесное соседство с незнакомыми людьми – он опять вспомнил о яблоке, чтобы отвлечься на что-то постороннее. Он представил, как яблоко, округлое, сочное, после ночи прохладное, быть может, даже в росе, бережно укрыто сентябрьскими листьями – будто драгоценная вещь в футляре, – и сердце обдало теплой волной.

Автобус неся под эстакадой, в салоне зажегся свет, и Якунин, увидев в темном окне свое сдержанное лицо, подумал, как может различаться вид человека и то, что в нем происходит. Но отметил это мимолетно и без сожаления. Думать о яблоке, которое открылось ему на истоптанном пустыре, было интересней.

На работе все шло как в обычные дни. Без двух минут восемь Якунин появился в отделе и, кивая сослуживцам, прошел на свое место.

Здесь привычно пахло бумагой, натертым паркетом, три ряда кульманов тянулись в глубь светлого помещения. То и дело открывалась дверь, и появлялись новые сотрудники – мужчины в пиджаках, а женщины уже в плащах, хотя и не застегнутых пока на пуговицы.

Слышались громкие утренние разговоры, женщины выкладывали косметички и начинали приводить себя в порядок, кое-кто из мужчин сразу же выходил курить...

Якунин принялся за работу.

Его кульман стоял первым в ряду у окон, вернее, у сплошь застекленной, щедрой светом стены на улице. Но было в этом и свое неудобство – рядом находился телефон. Якунину приходилось целыми днями слушать разговоры с мужьями и женами, с детьми и родственниками, со старыми и новыми знакомыми, с приемщицами ателье, администраторами кинотеатров и магазинов. С людьми, которым замужние жен-

щины отвечали односложно и не называли по имени.

Хорошо еще, если трубка прикрывалась и старались говорить потише. Впрочем, Якунин почти привык к соседству телефона и мало обращал на разговоры внимания.

Нельзя было привыкнуть только к Соне Ивановой. Утром она подходила к телефону первой. Набирала номер и громко говорила:

– Мне Лену... Ленка, ага! Со мной вчера обалденный случай был! Помнишь Стасика? Ага, с японской аппаратурой. Звонил он мне вечером, просил выйти. Я спускаюсь вниз, а он впополаме...

Дальше следовал подробный рассказ о вечере с пьяным Стасиком или еще с каким-нибудь другим парнем.

Она была по-своему забавна, эта хватившая свободы двадцатишестилетняя чертежница с высоко подстриженными – под панков – висками. Но всякий раз, когда Якунин слышал ее увлеченные пересказы, он думал: от чего Соня получает больше удовольствия – от этого общения с мальчиками, пусть и неразборчивого, или от возможности рассказать о своих приключениях громко?.. Он плохо понимал таких людей.

Сегодня даже Соня не могла вывести из равновесия. Якунин занимался обычным, повседневным – закончил расчет приспособления для обработки сложного профиля детали на сверлильном участке, затем, постояв минуту над расчетами, приколот к доске ватман, принялся чертить, – и мысли шли обычные, рабочие, но самым краешком сознания Якунин все время помнил о яблоке в пестрой осенней листве. И от мысли, что оно там есть и что оно надежно укрыто листьями, работалось хорошо.

Отвлекся он один раз – когда мимо проходила Нина Волкова. Он скорее не увидел ее, а почувствовал – от нее, ровно приветливой, уже начинающей полнеть женщины со спокойными серыми глазами, словно рас-

ходились токи. Нина была в отделе новенькой. Она работала всего три или четыре недели.

Якунин, подняв голову, встретился с ней глазами и поздоровался. Нина ответила ему. Даже улыбнулась, но взгляда не задержала ни на секунду дольше, чем следовало между малознакомыми людьми. Якунин с досадой и уважением посмотрел ей вслед.

Когда он вышел покурить и молча, не вступая в разговоры, стоял возле массивной, крашеной в серебристый цвет урны, его отыскал Сережа Андриященко. Сережино невыразительное, всегда будто заспанное лицо улыбалось, он протиснулся между курящими и пожал Якунину руку, по обыкновению слегка ее выворачивая.

– Привет, – сказал он с придыханием. Сережа немного заикался.

– Здравствуй.

– Живешь к-как? – Сережа все еще не выпускал его руки.

– Как всегда. – Якунин сдержанно улыбался. Он тоже был рад видеть Сережу.

С Сережей Андриященко они вместе прибыли в этот город по распределению девять лет назад. В институте знали друг друга плохо, но жизнь в одной комнате заводского общежития сблизила их. И, уже женившись, они продолжали встречаться, теперь семьями, – подружились и жены.

«Юля...» Имя жены все еще болезненно отзывалось в Якунине. Сейчас уже ничего, сейчас он может видеть Сережу, бывать у него дома, а года полтора после случившегося невыносимо было смотреть на людей, которые знали ее, на дорожки в сквере, по которым он с женой гулял, держа Варюшку за руки, на вещи, к которым жена прикасалась...

Якунин нахмурился. Надо было сосредоточиться и понять, что говорит Сережа.

–... Четыре сливы, малина. Грушу посадил – не знаю, примется ли. Зимы, сам знаешь, какие у нас. Домик по-

строил, есть где от дождя в случае чего... П-поедешь? – Андрющенко внимательно, ожидающе смотрел на него.

Якунин затянулся, выдохнул дым в сторону. Сережа в прошлом году получил участок и сейчас делает вид, что хочет похвастать посаженными деревьями. В последнее время Андрющенко стали особенно часто приглашать его к себе, и почти каждый раз у них оказывался кто-то еще – то незамужняя подруга Сережиной жены, то молодая учительница из школы, в которой Сережина жена работала, то еще кто-нибудь. С этими женщинами Якунин бывал молчалив, но то, что друзья о нем помнят, трогало.

– Д-думаю, хорошо день на воздухе проведем, – придыхая на согласных, говорил между тем Сережа. – Спешить надо, дожди скоро... Шашлыки сообразим.

Сережино доброе лицо выглядело немного виноватым. «Наверняка кого-то пригласили, – подумал Якунин. – А Сережа получил задание меня привести». Он с понимающей усмешкой посмотрел на приятеля. Сережа был послушным мужем.

– Я на минуту заскочил, дела к твоему шефу, – Андрющенко заторопился. Он работал заместителем начальника одного из цехов, дел у него хватало. – Давай так. Надумаешь, приходи в субботу часам к десяти, вместе поедем. Я б на твоём месте и не думал – ты ни разу там не был, п-природа отличная... Б-Бывай. – И Сережа пожал ему руку, опять слегка ее выворачивая.

В последнее время Якунин все чаще замечал, что люди, знавшие его историю, смотрят на него так, будто хотят что-то спросить. Особенно это было заметно по женщинам. Раньше они смотрели сочувственно, а те, что постарше и сердобольней, вздыхали и горестно качали вслед головой. Сейчас в их глазах было удивление. Они разве что вслух не говорили: три года прошло, пора как-то устраивать свою жизнь.

Может быть, и в самом деле пора. Попробуй сделай...

К месту, где курили, направлялась Соня Иванова. Рядом с ней шла одна из ее приятельниц – в фирменном комбинезоне, с нарумяненными скулами. Якунин поспешно бросил сигарету в урну, слушать продолжение телефонных разговоров не хотелось.

Работа Якунина спасала. Особенно в первое время после смерти жены и дочери. Он с трудом переносил выходные, свободное время, потому что мозг оказывался без дела, и мысли в сотый раз, в тысячный раз возвращались к тому же: искалеченный «Запорожец», белое лицо шофера КамАЗа, вспученная неподдающаяся дверца, страшное, дикое, непоправимое там, за дверцей, и он, Якунин, с нелепыми ромашками в руках, которые несколько минут назад просила нарвать Варюшка... Якунин каменел, закрывал глаза. Даже застонать он не мог.

Помогала одна работа – на износ, по восемнадцать часов в сутки. Он и всегда-то был хорошим работником, а в то время оставался в отделе допоздна, чертил, рассчитывал, потом уходил домой, садился на кухоньке, обкладываясь справочниками...

Все утешения, все соболезнования были пустым звуком. Надо было самому пережить, перетерпеть все это время.

Сейчас он работу уже домой не брал, но восемь часов в отделе заполнял так, что не оставалось минуты свободной. В этом была и привычка, и врожденная добросовестность, а главное, ему казалось, что такой работой, постоянным усилием над собой он хоть в какой-то мере искупает вину.

Сознание вины было безотчетное, необъяснимое, – потому что, если рассудить здраво, в чем его вина? Что остался живым? Что вышел из «Запорожца» за ромашками, а жену и дочь оставил в машине?.. Но логические доводы действовали плохо.

Часа через два Якунин пошел в цеха. У него было правило проверять, как действуют сконструированные

им приспособления, выслушивать мнения сверловщиков. Это помогало в работе.

Но едва он вступил в первый по пути цех, как понял, что ошибся. Никто уже не работал, – обеденный перерыв в цехах начинался раньше, чем у них в заводоуправлении.

Досадуя на себя, Якунин по инерции прошел между станками. В цехе было непривычно тихо, станки молчали, не брызгала эмульсия, не вращались шпиндели, не разлеталась, срываясь со сверл, стружка – и в цехе от этого казалось просторней и светлее.

Якунин заглянул на участок, где должны были быть его приспособления, но и там, конечно, никого не было. Лишь у одного из станков спиной к проходу сидел кто-то из рабочих и, откусывая от батона, запивал молоком из бутылки.

– Валентин!

Якунин оглянулся на конторку мастера, которая стояла на помосте, возвышаясь над участком. Из открытой фанерной двери выглядывал Сережа Андрищенко. Он был заместителем начальника как раз в этом цехе – еще в первый год работы на заводе Сережа ушел из отдела главного конструктора в мастера, сказав, что работа с людьми ему больше нравится.

– Не меня ищешь? – по привычке перекрикивая шум, громко спросил Сережа. Здесь он выглядел увереннее и значительнее, чем два часа назад в заводоуправлении.

Якунин отрицательно покачал головой.

– Ну ладно... Так поедешь с нами?

– Я позвоню тебе, – сказал Якунин. Он сам еще не решил. Сдерживало стремление Сережиной жены непременно его с кем-нибудь познакомиться.

Повернувшись, чтобы идти из цеха, Якунин встретился глазами с рабочим, пившим молоко. Рабочий сразу же отвел взгляд, но сидел он теперь напряженно, будто смотрел на Якунина своей сутулой спиной в клетчатой рубашке.

Тесть... Надо было подойти.

Общее горе не сблизило Якунина с родителями жены. Наоборот, между ними появилось отчуждение, каждый в глубине души винил другого в том, что случилось. На поминках, упершись в Якунина взглядом, тесть спрашивал, с какой это целью Якунин остановил машину. Его крепкое широкоскулое лицо нестарого еще мужчины дышало враждой. Якунин поднялся из-за стола. Было горько. На языке вертелся злой вопрос: а зачем они Юле деньги на «Запорожец» дали? Не было бы «Запорожца» – ничего не было бы...

Конечно, каждый из них понял потом слепой эгоизм таких обвинений, вызванных горем. Но отношения не наладились. Да и вряд ли они могли наладиться – не было тех, кто их объединял, не было Юли и Варюшки.

– Я ездил вчера на кладбище, – сказал тесть. Не глядя на Якунина, но чувствуя, что тот подошел. – Твои там астры на могиле?

– Мои.

Тесть поставил к ногам мутную бутылку из-под молока, помолчал.

– Хочу в этом году куст роз посадить. Чтоб в головах...

Якунин кивнул. Опять помолчали. Говорить, собственно, было не о чем. Они давно уже стали чужими людьми.

– Ты не думай, мы не осуждаем, если захочешь жениться, – сказал тесть, все так же не глядя на Якунина. Якунин видел, как напряженно покраснела его шея. – Мы тебе не помеха. Ты молодой. Это нам с матерью другой дочки не будет, а ты...

Якунин постоял еще немного и отошел. На душе было мутно.

Думая о встрече в цехе – тесть его, честно говоря, удивил, – Якунин направился в столовую. Выглянуло

солнце и осветило еще зеленые плотные шпалеры кустарника вдоль асфальтированной дорожки, жарко загорелось в стекле корпусов. Но небо было уже осеннее, прощальное, наполненное непрозрачной глухой синью между растрепанными облаками.

Цветы на большой клумбе перед заводоуправлением перестали пахнуть. Непонятно было, чем они привлекли шмеля, который деловито и неуклюже топтался на цветках, перелетая с одного на другой.

В столовой Якунину несколько раз кивали, звали к себе стоящие впереди знакомые, но он делал вид, что не замечает их знаков. Со знакомыми надо было о чем-то говорить, а говорить ему сейчас не хотелось. Он молча наблюдал за молодыми раздатчицами в белых, перетянутых в талии халатах, смотрел на их раскрасневшиеся лица, голые по локоть крепкие руки, на их сноровистые движения.

Отойдя от кассы, он выбрал незанятый столик, на котором еще не просохли следы влажной тряпки. Переставил тарелки с подноса, не глядя по сторонам, пошел за вилкой и ложкой, а когда вернулся, понял, что пообедать в одиночестве не удастся. У его столика уже находилась Скурихина из их отдела и кого-то звала:

– Сюда!..

Якунин взглянул на того, кого звала Скурихина, и досада исчезла – это была Нина Волкова.

– Не помешаем? – любезно поинтересовалась Скурихина. Она была из тех пустоватых, с претензией на светскость женщин, которые вызывали у Якунина неприязнь.

– Нет, – сухо ответил Якунин, садясь за стол. Он успел заметить, что Нина Волкова, увидев его, какое-то мгновение помедлила с подносом в руках, словно не знала, подходить или нет. Как и утром, когда она сдержанно прошла мимо, это ее колебание неприятно подействовало на Якунина. Он опять почувствовал себя уязвленным.

Нина работала в отделе недавно, но про нее уже было известно, что она разведена и у нее есть шестилетний сын. Нина держалась со всеми ровно, близких подруг у нее еще не было, и обедать она ходила то со Скурихиной, то с кем-нибудь из других женщин. Как ко всякому новому человеку, внимание к ней в отделе было повышенным. Даже Якунин как-то разговорил ее, когда для итээровцев устроили лекцию по экономии и бережливости.

Они с Ниной оказались по соседству в одном из последних рядов конференц-зала. О лекторе, грузном, с двойным подбородком мужчине из горкома профсоюзов, Якунин заметил, что природа создала его явно без учета экономии и бережливости. Нина что-то ответила на это, улыбаясь своими спокойными серыми глазами.

Понемногу они разговорились, делая время от времени паузы, чтобы на них не обратили внимания. Оказалось, что Нина Волкова приятный, с чувством юмора человек. Со стороны, должно быть, они походили на учеников, укладкой переговаривающихся на уроке.

Это полудетское чувство общности осталось у Якунина и позже. Он думал, что Нина Волкова должна испытывать то же. Но она повела себя странно – стала вдруг его сторониться. Якунин недоумевал: «Эгоистка, сухарь?..» Конечно, единственный разговор еще не причина для бурных симпатий, но расположение к человеку все же вызвать может. Здесь было по-другому. «Или что-нибудь отделовские кумушки наговорили?» Но плохого вроде говорить о нем было нечего... Как всякий нелегко сходящийся с людьми человек, Якунин был задет.

– Тогда я стала вести себя умнее. Перестала ему стирать, – сказала Скурихина, продолжая, видимо, начатый еще в очереди разговор. Она взяла из пластмассового стаканчика посреди стола несколько салфеток и принялась вытирать свои вилку и ложку, значительно поглядывая на Нину Волкову. – Вот так, дорогой друг,

все закономерно. Или я жена, о которой ты должен заботиться, или мы посторонние люди. Велики деньги – триста рублей. Сейчас браслеты колхозницы носят... И что ты думаешь, помогло! Недели не выдержал. Рубашки-то привык каждый день менять. Снял со своей книжки и принес. Я копейки со своей не взяла! Вот так с ними надо, если хочешь, чтобы тебя уважали. – Скурихина приподняла над столом белую руку, поворачивала ею, показывая массивный серебряный браслет с бирюзой. – Из художественного салона, оригинальная работа. Хорош, правда?

Якунин взглянул на Нину. Та, не поднимая глаз, перемешивала вилкой салат.

– Разве важно... – негромко сказала она, мимолетно посмотрев на браслет.

– Все важно! И деньги в том числе. Нельзя позволять, чтобы садились на голову, – авторитетно заявила Скурихина. – Я читала где-то, мужчины и женщины – это два враждующих лагеря. Самой природой определено. Перемирие если бывает, так только временное. Борьба, дорогая моя, везде, в том числе и в супружеской жизни, – поверь человеку с десятилетним супружеским стажем!

«Что у них общего?.. – подумал Якунин. Как бы там ни было, но относился он к Нине Волковой с симпатией. – Или потому и обедают вместе, что есть общее?»

Он опять взглянул на Нину и заметил неловкость на ее лице. То ли ей был неприятен разговор, то ли досаждало соседство Якунина.

Он взял свои тарелки и пересел за соседний столик.

В автобусе Якунин с беспокойством подумал, что яблоко могут сорвать. Ведь не каждый обратит внимание на то, что сохранилось оно чудом. Спрятанное в переплетении больших и малых веток, старательно укрытое листьями, яблоко уже не просто плод, который можно есть, а нечто другое, большее. Оно словно душа

дерева, без которой сама яблоня – только сырые дрова.

Но даже сейчас, беспокоясь, он трезво усмехался. Возможно, его мысли всего лишь фантазия – мог же он и не заметить утром яблока, ничего не знать о нем. Но думать о душе яблони, о том, что она есть, хотелось все равно.

Происходило, видимо, что-то с ним самим. В полубессонных одиноких ночах, в холодеющем синем небе, в самом осеннем воздухе было нечто, заставлявшее по-новому думать и чувствовать.

По тропинке через пустырь он шел медленно. И убедиться не терпелось, что яблоко на месте, и тревожно было от мысли, что его там не окажется. Ветер, подувший после обеда, теперь стих, яблоня неподвижно дремала в вечернем солнце, и казалось, что желтых листьев в ее редющей кроне больше, чем было утром.

Якунин минул дерево, прошел еще метров пятьдесят и лишь потом повернулся и двинулся навстречу озабоченно спешащим от автобусной остановки людям. Не доходя, как и утром, до яблони несколько шагов, он коротко и зорко взглянул на укромное место вверху ствола. Мелькнувший бок яблока просвечивался низким солнцем, размыто темнели зерна внутри... Якунину на мгновение показалось, что плод волшебным образом светится.

В универсаме былолюдно, многоголосый говор витал под высоким потолком. У колбасного отдела стояла очередь – продавали сосиски. Якунин спросил крайнего и приготовился терпеливо выстоять сколько понадобится.

Вдруг он почувствовал, что кто-то уверенно взял его за локоть. Якунин повернул голову. Люся, соседка по лестничной площадке, тянула из очереди и значительно кивала куда-то вбок:

– Пойди сюда, Валентин, пойдиди...

Люся была крупной женщиной и сейчас в белом халате с фирменным значком универсама на груди выглядела прямо-таки монументально. После того, как

у Якунина погибли жена и дочь, Люся принялась его опекать. Возможно, по-соседски, а возможно, с тайной мыслью – уже на памяти Якунина она два раза устраивала свою личную жизнь, но оба раза неудачно. Мужья у Люси почему-то не держались. «Мелкий мужик пошел, хилый», – то ли в шутку, то ли всерьез говорила Люся после очередного развода и пренебрежительно махала рукой.

– Я сосисок тебе взяла, килограмм хватит? – сказала Люся, прямо глядя Якунину в глаза. Она была с ним одного роста. – И кефира пару бутылок приберегла, надо?

Якунин кивнул, удивленно приподняв брови. С тех пор, как в начале лета у Люси появился Алик, грузчик из магазина «Обувь», это был первый знак внимания к нему.

– Валентин, ты присмотри за моим, – сказала Люся, выйдя из подсобки со свертком в руках. Ее обычно уверенный, громкий голос был сейчас непривычно мягким, в круглом широком лице появилось даже что-то просительное. – Хороший мужик, а без характера, дружки сманивают. Главное, до семи часов его удерживать, а там не страшно... В шахматы сыграй с ним, что ли. Он шахматы уважает.

Здесь же в универсаме, Якунин купил хлеба, положил его в отдельный целлофановый пакет и опустил в портфель к другим покупкам. В штучном отделе он заметил не часто бывающие макароны в длинных коробках и взял, – одинокая жизнь приучила к запасливости.

Об ужине теперь можно было не беспокоиться. Все у него есть.

По дорожке, ведущей от дома к дому, он шел не торопясь. Чем дальше от пустыря с яблоней и от многоэтажных новых башен, тем обжитее, уютнее становились дворы. Здесь было много деревьев, почти все они еще зелены – свой микроклимат между домами. У каждого подъезда сидели старушки и толковали о житебытье. Часто попадались молодые женщины с неуклю-

же вышагивающими малышами, и при виде некоторых из них Якунин напрягался, невольно ускорял шаг, стараясь подойти быстрее, заглянуть в лицо...

«Опять!» Он опускал плечи, заставлял себя идти медленнее. Что-то в нем еще надеялось вот в таком же дворе увидеть жену и дочь, их Варюшку. Он возвращался с работы, и они вышли его встречать. Но пока еще не видят за другими прохожими, а он уже их видит и с затаенной улыбкой ждет, когда Варюшка заметит его и бросится вперед, расставив руки... Он знал, что никогда этого быть не может. Никогда. Но бессознательно выделял молодых женщин с маленькими девочками, с болезненным интересом реагировал на схожий жест, фигуру, голос...

Якунин понимал, что жить человеку одному невозможно. Противоестественно это. Прошло уже три года, но все женщины, которых он видел на работе, встречал в отпуске, у знакомых и которых мысленно ставил на место жены, были там чужие. Встречались среди них и симпатичнее его жены, но ни с кем из них не могло быть так, как было с ней, Якунин это чувствовал. За улыбками, за подчеркнутым вниманием к нему, одинокому и достаточно молодому мужчине, ему все время чудился умысел и неискренность.

Якунин понимал, что им, разведенным или вовсе еще не бывавшим замужем, хочется семьи, постоянства, прочных отношений, по-своему даже сочувствовал этим женщинам. Понимал и то, что он, быть может, слишком придирчив и что так, как было с женой, не повторится – в жизни ничто не повторяется точь-в-точь. Не понимал он только одного: что будет соединять его с любой из этих неплохих в общем-то женщин, кроме стола на кухне и постели?.. Даже дети в таком случае не смогли бы ничего изменить.

Алик, вопреки Люсиным опасениям, о выпивке, похоже, не помышлял. Он возился на балконе, размечая гладко оструганные деревянные бруски, – готовился

балкон застеклить, сделать из него что-то вроде веранды.

Это был высокий жилистый мужчина лет под сорок с крупной наколкой на правой руке: «Салам алейкум». Буквы почему-то были латинские.

– Здорово, – сказал Алик, когда увидел вышедшего на свой балкон Якунина. – У нас новость – завтра идем с Люськой заявление подавать. Поддерживаешь?

Якунин внимательно посмотрел на Алика. Выходит, серьезно у них. До сих пор они жили с Люсей нерасписанными.

– Поздравляю.

Алик похлопал себя по карманам брюк, достал мягкую пачку сигарет и закурил. Он был без рубашки, заходящее солнце красновато красило его широкие худые плечи и рыжеватую растительность на груди. Становилось прохладно, но Алик, казалось, этого не замечал.

– А чего, женщина она самостоятельная. Заберем из деревни ее пацанку, пусть привыкает к семье. Я за прошлое к ней без претензий, сам не святой... – Алик, облокотясь на перила балкона, задумчиво прищурился. – Мне эти общежития вот здесь уже, с шестнадцати лет по ним. Пора к берегу прибиваться, хватит приключений. Желудок испортил... А здесь квартира и человек вроде ничего.

Якунин смотрел на солнце. Багровое, большое, оно коснулось горизонта, на глазах уходило под землю. Якунину всегда становилось тревожно, когда садилось солнце. Казалось, должно что-то случиться.

В густеющем воздухе пахло дымом, это мальчишки подожгли внизу первую кучу палой листвы. Молочный дым слоисто расстилался над землей, заволакивал двор, красный грибок с белыми пятнами, качели.

Алик, щелчком отбросив вниз сигарету, вновь взялся за бруски. Под тонкой кожей на его спине ходили сухие крепкие мышцы. Якунин со сложным чувством смотрел на него. Счастливый человек?.. Или просто

смирился, знает, что ничего другого в их возрасте ждать от жизни не приходится?

Поужинав, Якунин включил телевизор, но смотреть не смог. Что-то его томило. Жизнь по телевизору казалась надуманной, несерьезной. Он щелкнул выключателем, сел на диван и смотрел через открытую дверь балкона на бледную зарю, на льдисто-зеленое небо на западе, на первую слабую звезду. Холодный воздух тек по полу, подступал к ногам, но Якунин дверь не закрывал.

Он опять подумал о Нине Волковой – он часто о ней думал в последнее время. Даже не думал определенно, а помнил так же, как помнил весь нынешний день о яблоке на дереве возле тропинки – краем сознания, почти безотчетно.

Якунин чувствовал себя виноватым – неловко сегодня все-таки вышло. Нина единственная женщина, при виде которой что-то отзывается в груди, а он так повел себя с ней. То ли печальный осенний закат тому причиной, то ли его, Якунина, осточертевшее одиночество, но теперь он был почти уверен, что Нинина скованность за обедом от того, что досаждала разговорами неумная Скурихина, Нине было стыдно за нее. И сдержанности ее можно найти объяснение – она чутка и боится, что Якунин примет ее за одну из тех навязчивых женщин, которым лишь бы выйти замуж. Вполне ведь и так может быть.

Якунин смотрел на глубокое чистое небо на западе, нежность и сочувствие к Нине мешали дышать.

Мелькнув на фоне светлого неба, в комнату влетела ночная бабочка. Невидимая, она ткнулась в стену, прошуршала крыльями по обоям, мгновенной тенью пронеслась перед лицом, и Якунину даже почудилось, что он ощутил воздух из-под ее крыльев.

«Еще живы», – подумал он. И то, что бабочка не забилась под опавший лист и не уснула на зиму, было хорошо. Якунину пришло на память где-то слышанное:

некоторые виды ночных бабочек отыскивают друг друга за десятки километров. Может, и эта?..

Он представил, как маленькие тельца двух существ несутся в темноте друг к другу, и с пути их не могут сбить ни настойчивые запахи ночных цветов, ни другие, чужие бабочки, ни изломанный жуткий полет летучих мышей.

Он осторожно высвободил ударившуюся в штору и запутавшуюся в складках тюля бабочку. Вышел на балкон и раскрыл ладонь. «Лети...» Бабочка, ярко протрепетав в свете соседского окна, пропала в темном пространстве.

Якунин накинул плащ и спустился на улицу – сидеть дома он сейчас не мог. Ночь влажно и пряно дохнула в лицо. Под деревьями тлела куча опавших листьев, мальчишки бегали вокруг нее и размахивали головешками, выписывая в темноте красные круги.

Глубоко вдыхая пахнущий осенью воздух, Якунин пошел между домами. Приглушенно звучали его шаги по асфальту.

Мысли опять были о Нине Волковой. Да, такое уж для него настало время, приходится дорожить даже искоркой чувства. Он вполне допускал мысль, что многое он о Нине придумал, а на самом деле ничего нет или почти нет, ведь можно найти и другое объяснение, почему она так себя ведет, вполне можно... Тем более, как узнать, тот ли Нина человек, который родственен, который нужен? Как сделать, чтобы не было потом боли и разочарования?

Может, позвать ее завтра с собой и показать яблоко на пустыре?.. Как она прореагирует? Поймет ли, что это не просто яблоко, а то сокровенное, чему и названия нет? Или – попросит сорвать?..

«Тоже мне змий-искуситель», – насмешливо подумал он о себе. Но решение сделать именно так уже прочно сидело в нем, никакой иронией нельзя его было вытравить. Завтра все прояснится. Нужно только на-

браться терпения. Пождать, когда солнце осветит дерево на пустыре и когда опять примется играть в прятки яблоко в желтой листве.

От этой решимости все вокруг становилось необычным и значительным – и темнота дворов, и едва уловимый запах осенней земли, и светлые окна домов. Ноздри у Якунина подрагивали. Впервые за последнее время у жизни вновь появились и запах, и цвет, и волнующая глубина.

Он вышел к крайним домам микрорайона, обогнул их и оказался перед глухим простором ночного поля. Вдали под низкими звездами было невидимое сейчас кладбище.

Якунин почувствовал, как пошла мурашками кожа, а в глазах стали лучиться звезды. Любовь, тоска и надежда теснили сердце.

У этой полной прекрасной жизни был горький привкус.

ТОЛЬКО ДВЕ ЗИМЫ

С Мишкой Ференчуком встретились неожиданно. Он стоял у проходной, у облетевшего темного дерева и спокойно курил.

Виктор, миновав турникет, вскользь взглянул на поджарого парня в коричневом коротком плаще – оперся о ствол дерева, руки в карманах, терпеливо кого-то ждет – и прошел безразлично дальше. «Ха, Бородатый! – понял вдруг Виктор, ступил по инерции еще два или три шага и лишь потом оглянулся. – Ну да, Мишка!»

Ничего еще не чувствуя и не думая, он подался к Мишке.

– Ты что здесь стоишь, Козленок?

– А, Кран, – удивился Мишка, повернув голову и не меняя своей небрежной свободной позы, оказавшейся вдруг такой знакомой. – Тоже тут работаешь?

– Ты кого ждешь? – Виктор смотрел весело, даже радостно, но внутри уже виновато заныло.

– Так здесь Вовик работает, увидеть надо. Связующее звено, сам понимаешь... – Лицо у Мишки было рассеянное, глаза, ни на чем не задерживаясь, скользили поверх голов идущих мимо людей.

Такое же счастливое рассеянное выражение Виктор видел на лице у Васи Фалалеева, когда встретил его в прошлом месяце. Техникумовские ребята говорили, Васю оставили служить до декабря, а был всего лишь октябрь, прохладное солнце, навстречу по узкой черновицкой улице шел почти не изменившийся за эти два с половиной года Вася Фалалеев. Он же Базиль, он же Псыля, он же доктор Псальватор.

«Интересно, я тоже ошалелый после дембеля ходил?..»

– У Вовика собрание, это часа на два, не меньше. – Виктор, стремясь отвлечься от своего чувства вины – досадного, надоедливого, какого-то оскомного, – принялся сосредоточенно грызть ногти. Надо было Мишке помочь. Глаза его узнающе обегали доармейский Мишкин плащ с недостающей нижней пуговицей, зубы соскальзывали с ногтей и тихо клацали. Наконец Виктор кивнул в сторону проходной: – Пошли!

– Не пустят, – засомневался Мишка.

– Пошли, говорю.

Вахтеру Виктор с озабоченной деловитостью сказал, не вынимая из кармана пропуска:

– Я только что выходил. А это со мной, друг, вместе в техникуме учились... Из армии вернулся, к нам на работу устраивается.

Рассчитал он верно. Вахтер пропустил, ничего не сказав. Виктор успел заметить: слова о том, что ты недавно из армии, действуют на всех одинаково. Будто все эти люди чувствуют себя немного виноватыми перед тобой и стараются помочь.

За проходной Виктор повел Мишку Ференчука мимо транспарантов с показателями роста производительности труда в восьмой пятилетке, мимо строящихся новых цехов с наглядно обнаженными, словно на чертежах, пролетами.

Они шли и молчали, будто виделись каждый день, и все было переговорено.

– Вот это четвертый цех. Здесь мы с Вовиком работаем, – не выдержал молчания Виктор. – Дальше, вон за тополями, второй и третий. Там тоже наши ребята работают. С других, правда, курсов.

Мишка все так же рассеянно оглядывался и коротко кивал. Словно ему ни до чего дела не было, а слушает и смотрит он только из вежливости.

– Борода, ты мое последнее письмо получил?

Виктору было страшно неловко. Или все же стыдно?.. Оставалась одна надежда – может, письмо до

Мишки не дошло? А разве не могло быть так: упало за тумбочку, на которую ребята в роте складывали свои письма, прежде чем за ними заходил почтальон, а уборщики утром не заметили и выбросили с другим мусором в туалет?.. Или дневальный, томясь ночью – хочется спать, а нельзя, – стал рыться в письмах и нашел то письмо и заинтересовался: что пишет сержант Мостовой своему другу в ГДР, тоже на в/ч? Вскрыл, прочитал, а заклеить не смог и порвал, испугавшись, на мелкие слоеные кусочки, бросил в урну – могло ведь так быть?.. Или у почтальона – первый в части разгильдяй и чепэшник – оно выпало, когда тот ходил по ротам и собирал почту на отправку. Снег белый – и конверт белый, можно не заметить. А весной от воды буквы распозлись и не разобрать, кому и от кого.

Если бы так!..

– Не слышу ответа, Козленкин. Так получил мое письмо?

– Когда это?

– Где-то в феврале.

Мишка наморщил лоб и, припоминая, сосредоточенно замигал.

– А, да... что-то еще о дембеле писал, да? – Он вопросительно смотрел на Виктора.

Мостовой громко, с облегчением выдохнул.

– Ну, не помнишь – и хорошо!.. Все нормально!

Если даже Мишка прикидывается, что не помнит, он должен видеть раскаяние, слышать это «и хорошо!». Ведь он, Виктор, в самом деле жалеет об этом письме. Жалеет и мучается – такое другу написать, с которым четыре года в одной комнате прожил!..

– Понимаешь, моча в голову стукнула, ерунду я напорол! Не помнишь – и ладно. Отлично! – И Виктор уже другим, раскованным, даже разбитным голосом заговорил: – Я Вовику сказал, пошли, кончай ты с этими собраниями. Ведь профсоюзное, даже не цеховое – участка. А он – нет. Втыка Вовик боится!..

Когда они поднялись на второй этаж – там находились цеховые службы, и был небольшой зал, – собрание еще не началось. В длинном коридоре ощущалась неопределенность, рабочие с мокрыми после душа и гладко, волосок к волоску, причесанными головами заходить в зал не спешили – ждали, как водится, начальства. Все были в верхней одежде.

Высокий Вовка Майстрышин бросался в глаза издали. Мостовой позвал его, красноречиво тыча пальцем в Мишку Ференчука. Вовка, светловолосый, от своего роста сутулящийся, закивал так радостно, что очки в солидной тяжелой оправе едва не слетели с носа. Он подошел к какой-то женщине в синей куртке – видимо, профоргу – и стал что-то говорить.

– Каким ты был, таким ты и остался, орел степной!..

– Да, он не служил. – Виктор тоже смотрел, усмехаясь, как Вовка отпрашивается, как с недоверием на лице, несколько раз пристально взглянув в их сторону, слушает Вовку женщина в синей куртке. – Между прочим, Вовик уже на третьем курсе политеха. Время не терял, пока мы служили...

Вовик в конце концов отпросился, подошел к ребятам и восторженно хлопнул в ладоши.

– Бородатик! Козлик наш ненаглядный!.. – И сказал, старательно выговаривая незнакомое слово: – Дембельнулся? Когда дембельнулся? – Для него это была экзотика: дембель, дембельнулся.

– Ну что, мэны, пошли? Вдарим по чебурекам? Сколько не виделись, ты даже в отпуск не приезжал, да, Миш?.. – Вовик потер руки и оглянулся на профорга: – Двинулись, а то захомутают для кворума. Смотри, опять секет...

От завода пошли к центру города. Шли и без умолку болтали. Даже Мишка оживился – с появлением Вовика он переменялся.

– Мне мой дембель стоил пару лет жизни, так держался, – говорил Виктор, скромно улыбаясь.

Он старательно поддерживал общий тон, но не мог отделаться от ощущения, что и техникумовские словечки, и манера вести себя друг с другом, и давние клички – все как бы через силу и неловко. Не только у него, у ребят тоже. И, замечая это, Виктор почему-то опять чувствовал себя виноватым перед ними, перед давними своими друзьями, с которыми связывало столько хорошего.

– Я не говорю, что два года, но год мне стоил, точно! – Мишка, как и раньше, в техникумовскую пору, азартно шмыгнул носом. – Сказали сначала так: первая партия дембелей Девятого мая. Объявили списки. Старики, – Мишка выпятил челюсть и сделал свирепое лицо, – надраиваются, мундиры подгоняют... Раз! Отставить! На чешскую границу. В общем, было дело. Стоим, стоим... В лесу. Но лето, правда, комаров уже нет. У них и не бывает комаров. Леса такие, как у нас парки, – дорожки, чистенько. Опять собирают стариков, везут обратно в гарнизон. Дают аккорд. Как сделаете, сразу по домам. Это где-то в августе, числа пятнадцатого. Что дальше было – сами знаете...

– Так ты в Чехословакию входил? – удивился Виктор и внимательно, словно впервые увидел, посмотрел на Мишку.

– Было дело.

– И как?

– Нормально. Чехи, конечно, выступали. Соберутся возле батальона и кричат. Мы-то ничего, болгары, говорят, свирепствовали. А у нас такое чепе, один экипаж в полном составе трепака поймал. Замполит батальона жучил до потери пульса, говорит, это диверсия, не поддавайтесь чешкам на провокации. Они хотят подорвать боеспособность.

Вовик, заливаясь краской, прыснул:

– Сам-то как, не подцепил?

– Кончайте, ребята, – недовольно сказал Виктор. – Это нам смешно, а для чехов трагедия. Наверняка окупантами вас называли.

– О-о, вражеских голосов наслушался! – Вовик подтолкнул Мишку, кивая на Мостового.

Мишка пожал плечами.

– Уж не американцам-то выступать. Они во Вьетнаме себя показывают, каждый день убивают. Наши ни одного чеха не тронули!.. Ладно. Прокантовался, значит, я там до октября. Меня в части одним из первых отпустили, другим старикам дембель только в декабре светит.

– Ты когда приехал? – перевел разговор на другое Виктор. Не время спорить о чехах. А может, Мишка прав.

– Да когда – двадцать восьмого!

– Дома был?

– Ага, сейчас к сеструхе еду. Ну, думаю, как к ребятам не заскочить? Мы с Вовиком все время связь держали, столько написали друг другу – целые тетради!.. Он мне все городские новости сообщал.

Вовка торопливо закивал. Их шло трое, Виктор и Вовка одеты были лучше, чем Мишка – чего стоил один его кургузый плащ без нижней пуговицы, – но встречные девчонки, как и в техникумовскую пору, смотрели только на Мишку.

Раньше это выводило Мишку из себя, и он спрашивал у какой-нибудь особенно пристально смотрящей: «Ну чего? Рубль я тебе должен?..» Сейчас, Виктор отметил, Ференчук стал сдержаннее. А может, все еще не мог по-настоящему прийти в себя. Он говорил, смеялся, смотрел по сторонам, но глаза по-прежнему оставались рассеянными и ни на чем не задерживались.

– Кран, ты сейчас где? По направлению не поехал? – Мишка повернул к Виктору свое мужественной лепки лицо.

– Нет, решил здесь обосноваться – родители поменяли квартиру, в Черновцы тоже переехали. Технологом устроился, в четвертый цех. – И Виктор небрежно похвастал: – Оклад сто пять рэ.

– Ты смотри! – Мишка удивленно вытянул губы

трубочкой. – Нормально!.. А ты, Вовик, как раньше – комплектовщиком?

Вовка кивнул.

– Да, но какой комплектовщик! – подхватил Виктор и громко провозгласил, будто объявлял выход в цирке: – Вольдемар Майстрышин, король комплектовки!!!

– Вольдемар, – Мишка засмеялся и посмотрел на Вовку, словно примерял к нему это «Вольдемар». – Вольдемар... Хорошо!

– Главное, что благородно!..

– Ладно, Кран, припомню, – пообещал Вовка. Шутит он или сердится на самом деле, понять было сложно. Он вообще такой, Вовик, – неопределенный, весь словно разжиженный. Виктору порой казалось, не взяли его в армию не из-за близорукости, а потому, что нет в нем четкого «нет» или «да» – мало в Вовке мужского. Впрочем, как и все ребята из их техникумовской группы, Мостовой относился к Вовику с покровительственной симпатией, будто к младшему.

– Вольдемар!.. – все еще заливался Мишка. Юмор, меткое словечко в их компании ценилось. – Хиппарь! Нормально!..

Незаметно дошли до чебуречной на Кобылянской. Виктор приостановился у входа.

– Ты чего, Кран? – Мишка смотрел непонимающе. – Идея стукнула?

Похоже, он уже освоился и чувствовал себя прежним Мишкой Ференчуком, известным в группе тем, что с первого курса у него обильно росла щетина на подбородке, а вот усы почему-то не росли. Отсюда, кстати, и пошло: Борода, Бородатик, Козел и прочее.

– Да нет, вспомнил, как ходили сюда на четвертом курсе...

Честно говоря, заходить в чебуречную не хотелось. Виктор знал, все здесь уже не так. В армии, когда становилось особенно тоскливо, он представлял, как они, ребята из комнаты номер восемь, приходили сюда в

субботу перед танцами. Ему тогда почти уже не верилось, что можно сесть за голубой пластиковый столик, заказать сухого вина и чебуреки, сидеть, разговаривать с ребятами и ждать, когда всё принесут.

В техникумовские времена это ожидание особого удовольствия не доставляло, но в армии оно стало дорогим. Просто сидеть, перебрасываться незначущими словами и ждать, когда подадут вино и чебуреки. Главное, ребята рядом. За них ты готов на всё, и они за тебя готовы.

– Запаршивело заведение, – сказал Мишка, когда спустились в полуподвал чебуречной и остановились, оглядываясь.

Прежнего уюта в самом деле не было. Какие-то молодые парни, совсем салажня, сидели за ближним столиком и задиристо поглядывали по сторонам и друг на друга. На столе перед ними стояла одинокая бутылка сухого, на которую они, можно было догадаться, долго собирали деньги, выгребая из карманов мелочь. Таким вином для запаха – дури своей хватает... Рядом, с неприступным видом – явно опасаясь соседей, салажат этих, – сидели девушки, судя по всему, студентки мединститута, один из корпусов которого находился поблизости. Девушки держали хлеб двумя пальцами и ели, глядя в тарелки. Были здесь и какие-то мужики в телогрейках и с недельной щетиной. Те сидели, не снимая шапок, громко разговаривали, толкали друг друга в грудь и ругались.

– М-да, запаршивела явка...

– Ладно, критиканы! – подал голос Вовик. – Все нормально, раньше так же было, забыли просто. Давайте за чебуреками, я сейчас... – И он подался к буфету, напряженно вглядываясь в ряды выставленных на витрине бутылок.

Виктор его придержал.

– Нет, станювись за чебуреками. Вино мы с Козленком купим.

Вовик хороший парень, но доверять покупку вы-

пивки ему было нельзя – возьмет много и самого дешевого.

В очереди в буфет оказались за какими-то девушками, которые на студенток не походили. Девушки были смуглые, на головах большие модные платки с красными розами, пальто тоже модные – макси.

– Та-а-йна! – ни с того ни с сего куражливо сказал Виктор.

– А? – Мишка, заинтересованно крутивший головой по сторонам, приблизил к нему внимательное лицо.

– Тайна, Козлик. – Виктор кивнул на девушек, но объяснить ничего не стал, а уже другим, деловитым голосом спросил: – Что будем брать? По традиции, сухое?

Мишка скривился.

– Кислятина.

– Ваша правда, дяденька, – подумав, согласился Виктор. И когда подошла очередь, сказал буфетчику, толстому пожилому еврею: – Две бутылки кагора и одну лимонада.

Мишка принялся совать ему деньги.

– Держи свою мелочь при себе, фраер, – сказал Виктор. – Ты у нас в гостях. Какие мы хозяева будем!..

Взяв бутылки, окинули чебуречную взглядом. Свободных мест не было. Стали смотреть внимательнее, переводя глаза с одного столика на другой – может быть, за каким-нибудь заканчивают. И точно, в углу возле вешалки небольшая компания, похоже, собиралась уходить.

Виктор и Мишка, держа бутылки на отлете, прошли к замеченному столику и вежливо поинтересовались:

– Вы скоро, да, ребята?.. Тогда мы здесь забиваем.

А когда парни – их где-то возраста, приличного вида – ушли, Виктор стал подзывать медлительную женщину в грязном белом халате, убиравшую со столов:

– Вас можно на минутку? Сделайте нам красиво.

Юмор оценил один Мишка. По-коровьи невозмутимая женщина на призывы не реагировала. Она остано-

вилась у окна в посудомойку и что-то говорила в него своей невидимой подруге.

Виктор начинал злиться. Он и без того чувствовал себя не в своей тарелке, а здесь еще эта ленивая тетка!

– Не заводись, Кран, – сказал Мишка

– С чего ты взял, – Виктор пожал плечами. Он поднялся, собрал со стола грязную посуду и отнес к окну. Все еще стоящей там женщине в грязном халате сказал: – Большое вам спасибо! – И поклонился, щелкнув каблуками.

Но и эта изысканная насмешка действия не возымела. Тетка даже головы не повернула.

Надо было возвращаться к Мишке. Не хотелось. Вовик все еще стоял в очереди за чебуреками и делал оттуда знаки: сейчас, мол, я скоро. Можно, конечно, подойти к нему, но оставлять Мишку одного было бы слишком. И Виктор вернулся за столик.

Они сидели рядом и молчали. О чем говорить? Самое необходимое было сказано раньше, по дороге от завода. Начать разговор о техникуме? Но все это, как ни крути, уже в прошлом, поблекло, нет той притягательности, которая была еще год назад, когда служил и тосковал по ребятам, по братству комнаты номер восемь. Говорить об армии? Но служили оба и знают, что такое служба, – ничего нового не расскажешь. В армии были другие ребята, с которым сдружился, и сдружился сильнее, чем думал раньше, когда вместе служил. Вот с ними бы встретиться и поговорить – как им сейчас, на гражданке?..

– Ты из наших кого-нибудь видел? – спросил Мишка. Он тоже, кажется, почувствовал себя неловко. – Кроме Вовика, его я не считаю.

– Васю Фалалеева.

– О, Базиль – как он? Прошла любовь к медсестре из госпиталя? Ну, Базиль, отколол номер!.. – Мишка, как и раньше, в техникумовские времена, сидеть спокойно не мог. Большой своей рукой вертел стаканы на столе,

шмыгал носом или, ссутулясь, вдруг быстро прятал ладони между коленками.

– Неудобно было как-то спрашивать, – ответил Виктор. – Серьезное все-таки дело...

Их флегматичный и невозмутимый Вася Фалалеев во время службы влюбился. В техникуме девчонки были ему безразличны, а год назад он лежал в госпитале, решил вырезать гланды, и влюбился в медсестру. Прославился на всю дивизию Вася тем, что, уйдя в самоволку – хотя бы через окно хотел посмотреть на девушку, у нее как раз было ночное дежурство, – наткнулся в лесу на сук и распорол себе щеку. Сразу из госпиталя, где ему щеку зашили, Вася был отправлен на гауптвахту.

Обо всем этом написал ребятам Мостовой – они служили с Васей в одной дивизии, почти рядом, но за все два с половиной года так ни разу друг друга не увидели.

– Странный стал Вася, – сказал Виктор. – Мы с ним, вот как с тобой, на улице встретились. Я его звал к себе – ночевать где-то надо. Не захотел Вася! Договаривались встретиться на следующий день – не пришел... Ребята говорят, уехал в Ленинград. Никому не пишет.

– Ну, Базиль всегда был такой. Спокойный человек! Как поступит – тяжело сказать...

Что же такое происходит в жизни, вдруг подумал Виктор. Друзья, выходит, дело случая? Попал в другую обстановку, к новым людям – и друзья у тебя другие?... Ведь мог он, Виктор, учиться не с этими ребятами, тогда и друзья были бы не эти? Не знал бы Мишку Ференчука, Васю Фалалеева, других парней из восьмой компании? А если бы знал, так только в лицо, и были бы они безразличны?..

Что же такое дружба – святое, казалось бы, их братство? Выбор из сотен других близких тебе во всем людей или просто заполнение пустоты, заполнение случайное, потому что человек не может оставаться один? Если появляются новые друзья, как со старыми быть?

Они ведь не изношенные вещи, которые вдруг оказываются ненужными...

– Как вы без меня? – Вовик стоял у столика с тарелками в руках. Тарелки он держал за края – чебуреки были горячие, даже масло еще не полностью впиталось. Вовик лучился жизнелюбием.

– Заждались! – с облегчением сказал Виктор.

– Тогда вперед, разливай! – Вовик уселся за стол, предвкушающе потер руки. Он всегда отличался компанейским характером и потому постоянно пропадал в техникумовском общежитии, хотя сам был городской и жил в доме с высокими потолками.

– В чем дело, Кран? – не понял Мишка, когда Виктор налил в свой стакан лимонад.

Тот старался не смотреть на ребят.

– После вчерашнего что-то не тянет. Мы в отделе выпили, у одного нашего был день рождения. Честно.

Неловко помолчали. В их компании было дурным тоном не пить вместе со всеми.

– Все у тебя в последнее время после вчерашнего, – недовольно сказал Вовик. – Отбиваешься от коллектива.

– Интересные дела. – Мишка тоже смотрел недоумевающе.

– Ребята, я не ломаюсь. Серьезно. Не могу сегодня. – Виктор поднял свой стакан с лимонадом. – Ну, поехали. За встречу.

Вовик с готовностью, быстро выпил. Мишка, обиженно покрутив головой, выпил последним.

А вот чебуреки были прежними – коричневые, со вздувшейся местами кожицей, вкусные. Их надо было уметь есть, начинка давала сок, который норовил сразу же вылиться, если чебурек неосторожно надкусить.

– Хорошо ребята, а? – спросил через минуту Виктор, обедя друзей медленным взглядом.

– Нормально.

Разлили вторую бутылку вина. У Мишки Ференчука глаза уже затуманились.

– За тех, кто служит! – он поднял свой стакан. – Я обещал за них выпить. За полк!

– Давай, – поддержал Виктор. – За полк.

– Вы знаете, как у нас? – Мишкины пальцы, крепко охватывающие стакан, побелели. И зубы он сжал так, что рельефно обозначились желваки. – Все праздники в боевой готовности! Люди на гражданке гуляют, праздник отмечают, а мы спим с автоматами, даже сапог не снимаем – ФРГ рядом, граница. Какие ребята со мной!.. – Мишке не хватало слов, он, глядя в стол, с чувством помотал головой. – Какие ребята!..

– Со мной тоже отличные ребята служили. – Виктор чувствовал, как за столиком становится проще и легче. Даже для него, хотя не пил, – действовала, видимо, общая атмосфера.

– Слушай, Кран, – вдруг сказал Мишка. Он посмотрел на Виктора, и по виду было ясно, что давно собирался об этом заговорить. – Ты что-то писал, что наши пути расходятся, да?

– Не совсем так, – ответил Виктор после паузы.

– А о чем?

– Так, ерунда. – Виктор смотрел в стакан с выдыхающимся лимонадом.

– Нет, о чем все-таки? А, Кран?

– Да ерунда.

– Не, Кран, скажи!

Виктор помолчал, собираясь с духом.

– Я писал, что мы уже чужие, отвыкли друг от друга. Если подумать, что нас связывало? Учились в одной группе, жили в одной комнате, вместе на танцы ходили и сюда, в чебуречную. Всё! Прошло почти три года, мы другие... Знаешь, как я первое время тосковал по ребятам?! Дико тосковал!

Вовик, не обращая внимания на разговор, сосредоточенно жевал чебурек. Виктор посмотрел на него и добавил:

– Ведь у нас поминки сейчас, ребята. Поминки!..

Вовик обескураженно поднял голову. Мишка тоже, казалось, был шокирован.

– Ну, ты слишком, Кран!

– Что – слишком? Правда! Мы просто думать об этом боимся. Даже если бы в армию не взяли, все равно конец, разъехались по направлениям, забыли друг друга! – Виктор чувствовал себя тоже захмелевшим, и это придавало какой-то горькой смелости. – Я вот говорю и подлецом себя чувствую. Ведь не хочется, чтобы так! Неужели в жизни нет ничего постоянного? А, ребята? Или хочешь не хочешь, никуда не денешься?..

Виктор смотрел на друзей. Те молчали. Вовик даже перестал жевать.

– Ладно, допиваем и пошли, – сказал наконец Мишка, будто подвел черту. – Ты, Кран, честный человек, но сейчас все-таки слишком!..

И Мишка, и Вовик старались не встречаться с Виктором глазами.

А когда вышли из чебуречной, Виктор уже сам жалел о том, что говорил за столиком. Может, все это ему только кажется? Ведь ребята ничего не замечают. Или просто говорить об этом нельзя – настолько происходящее с ними нехорошо и обидно?

Вовик вспомнил, что ему нужно купить шляпу, – уже ноябрь, холодно. Идея захватила, и все вместе, громко смеясь и переговариваясь, двинулись к магазину. Было даже жалко, что «Головные уборы» находятся здесь же, на Кобылянской. Хотелось куда-то идти далеко, искать долго – энтузиазм так и пер из них.

В магазине хохмили, заставили Вовика надеть шляпу и нагибаться, потом присесть – вдруг жмет. Продащице – та попросила далеко от прилавка не отходить – назидательно сказали, что людям надо доверять. Доконал всех Вовик. Когда продавщица спросила, завернуть шляпу или так возьмут, Вовик сурово отрезал: «Не надо! Вы нас оскорбили подозрением!»

Уткнувшись друг в друга, Мишка и Виктор рыдали

от смеха. Ну, кадр!.. У Вовика и раньше было туговато с юмором.

На улице Виктор окончательно решил, что зря он паникует. Просто показалось. Все нормально. А что письмо тогда Мишке написал – настроение такое нашло, дурацкое. Моча в голову ударила.

Среди вечернего праздного люда Кобылянской прошли до Шевченко, оттуда подались на Гагарина. Перебежали перед машинами на другую сторону улицы и вскоре оказались возле пустынного холодного сквера напротив мединститута.

Рядом со сквером стоял старинный готический собор. Говорили, его шпиль – самая высокая точка в городе. Сейчас видна была только нижняя часть собора – верх уходил в черное небо.

– Пацаны, общага рядом! – вдруг сообразил Мишка Ференчук. Лицо у него оживилось. – А я думаю, куда это мы дрейфуем!.. Зайдем, Валя Захарова такие письма мне писала!..

У Виктора опять оскомно свело внутри – лишнее все это. Но Мишка и Вовик радостно устремились к Красноармейской, где находилось общежитие техникума. Виктор двинулся за ними – не бросать же подвыпивших ребят.

Длинный коридор общежития был тускло освещен единственной лампочкой. Он был гулок, этот до мелочей знакомый коридор, все звуки здесь раздавались, как в колодце. У входа сидела маленькая круглая тетя Катя и вязала носок. Она была в зимнем пальто и валенках и казалась от этого еще круглее.

– Тетя Катя! – обрадовался Мишка, увидев ее. – Здравствуйте! Как ваше здоровье, тетя Катя? – Кажется, Мишка готов был броситься ей на шею.

Вахтерша пристально посмотрела на ребят.

– А на что тебе мое здоровье?

Мишка приостановился.

– Не узнаете?.. Мы учились здесь, четыре года в общежитии жили! В восьмой комнате!

– Помню, – сказала тетя Катя и опять принялась за вязание. – Так что с того? Я с пятидесятого года работаю, считай, двадцать лет. Вас тыщи прошло. Мне что, с каждым целоваться?

Мишка подумал и согласился:

– Резонно. – Он был слегка озадачен, хотя и подмигнул иронически ребятам.

– Пошли! – Виктор остро почувствовал нелепость этого визита в общежитие. – Пошли, ребята. Мы здесь уже чужие.

– А чего? Мы нормально, мы не шумим, какие претензии, правильно говорю? – Вовик обращался к Виктору, хотя на самом деле его слова предназначались вахтерше. – Нам Валя Захарова нужна, всё! Мы спокойные, без понта! Нельзя, что ли?

– Ну так вызовите, – заметила тетя Катя, не отрываясь от вязания. – А в общежитие я вас не пущу, нечего вам там делать.

Мишка не знал, в какой Валя живет комнате, и пришлось останавливать проходящих через вахту ребят и девчонок, спрашивать, не подскажут ли. Знакомых среди проходящих не попадалось. Наконец установили номер Валиной комнаты, какая-то девчужка в очках с треснувшим стеклом, но с модной прической «бабетта» согласилась сбегать и позвать.

Вернулась девчужка быстро. Вали в комнате не было – ушла с парнем в кино.

– Да, Козленкин, – сочувственно сказал Вовик, – не дождалась тебя девушка! Мырма!..

Мишка рассмеялся:

– Ты что, у меня с ней ничего серьезного! Просто так переписывались, по-дружески!..

Минут пятнадцать потолкались еще у вахты, заговаривая с девчонками постарше. В конце концов, тете Кате это надоело.

– Идите, идите, хлопцы, а то коменданта позову! Выпили, идите себе! Сейчас строго, сразу на пятнадцать суток в милицию.

Вовик возмутился:

– Испугались мы твоего коменданта! Три ха-ха! – Вовик становился неузнаваем, когда выпьет – куда только девались его обычные добродушие и несмелость. Ладно хоть, не доказывает, что испанец. Был у Вовика такой бзик по пьяни. В техникумовскую пору приставал ко всем, клялся, что у него мать и отец чистокровные испанцы. – Испугала! В гробу мы коменданта видели! Подумаешь!..

Виктор крепко взял Вовика под руку и вывел из общежития. Тот пробовал вырваться и высказать тете Кате все, что он о ней и ее сраном коменданте думает.

Мишка Ференчук шел сзади, засунув руки в карманы плаща и насвистывая. Казалось, происходящее не имеет к нему никакого отношения. Он оглядывался по сторонам, лицо у него было рассеянное, далекое.

Подошли к троллейбусной остановке. Было решено всем вместе ехать к Вовику.

– Ребята, я только дома появлюсь и сразу к вам. Телефона у нас нет позвонить, родители беспокоиться будут, – заговорил вдруг Виктор так, будто извинялся. – Только покажусь, через час у вас буду, точно!

– Давай. Но приди, смотри!

– Говорю – точно.

Виктор перебежал через слякотную ноябрьскую улицу к остановке троллейбуса, который шел в противоположную сторону. На тротуаре оглянулся. Мишка и Вовик, оживленные, веселые, о чем-то разговаривали, смеялись... Сами по себе, словно и не были они минуту назад все вместе.

На Виктора навалилось удушливое, безысходное, что пугало и мучило его в армии, особенно на последнем году службы. Ему опять показалось, будто он и каждый из ребят – на своей льдине. И льдины эти медленно расходятся. Сначала почти незаметно и нестрашно, можно даже легко перешагнуть друг к другу – вон они, их отдельные льдины-островки, рядом... Но все

шире полоса воды между ними, все дальше он от ребят и они друг от друга. Хотя и кажется, что все еще рядом, стоит захотеть – и перепрыгнешь через разделившую черноту.

Расходятся льдины, и вот уже с тоской понимаешь, что не перебраться тебе к ребятам и им к тебе не допрыгнуть, – есть что-то сильнее вашей дружбы, и разносит эта сила вас в разные стороны. Еще видны вы друг другу, можете переговариваться и махать руками, но каждый уже сам по себе, и никогда вам уже не быть одним целым, как раньше.

– Ребята, подождите!..

Виктор бросился обратно через улицу. Он подбежал к Мишке и Вовику, схватил их за плечи, притянул к себе. Те недоуменно смотрели на него, неудобно повернув головы – так тесно прижал их Виктор.

– Ты, Кран, самый пьяный, оказывается, – попробовал шутить Мишка.

Виктор ничего не отвечал, только крепче прижимал их к себе и повторял, глядя вниз:

– Ребята!.. Ребята!..

СЧАСТЬЕ

Весна поздняя, поэтому картошку приехали сажать перед самым 9 Мая.

Мама взяла три дня за свой счет, а Борька, потев и мучаясь, написал заявление директору школы. Там были слова «помочь милой бабушке», продиктованные Фаней Абрамовной, классным руководителем их 6 «б» и старой девой.

Утром солнце отпечаталось на стене. Это первое, что увидел Борька, проснувшись. Закинув голову, он оглянулся на окно. Ветка цветущей вишни касалась стекла.

Борька тотчас почувствовал ее холод, тонкий запах густых мелких цветков, пронзительными искрами дробилось в росе солнце – и внутри у него радостно и нетерпеливо задрожало. Он вскочил, порывисто оделся, схватил в сенях ведра и выбежал во двор.

Все вокруг было яркое, холодное, мокрое. А воздух такой, будто в него капнули синькой.

– Чего так рано, поспал бы!..

Приземистая полная бабушка терла один о другой кукурузные початки, бросала янтарные зерна на утоптанное подворье. Петух, внимательно склонив к земле голову, заботливо созывал куриц. Подбежавших тотчас хватал клювом за шею и топтал.

Он хлопал крыльями, горделиво и строго поглядывал по сторонам. Колыхался сочный карминовый гребень, тряслась раздвоенная борода. Изогнутые перья петушиного хвоста волшебным образом отливали зеленым и синим.

Борька бросился по тропинке в яругу.

– Ты чего как на пожар, не дай бог, – засмеялась за спиной бабушка. – Эге, растет наш хлопец!..

Труба, через которую был выведен родник, тоже мокрая от росы. Капли медленно сползали по ее черным и даже на вид студеным бокам. Солнце в яругу не доставало, но радость и здесь была с Борькой. Хотелось изо всей силы подпрыгнуть или побежать вверх по тропинке, или еще что-нибудь этакое сделать.

– Сосе-е-д, – раздалось усмешливое. К запруде шла Маня Налыгач с узлом белья. Черные боты на ее ногах мокро, сумеречно блестели. – Ты здесь один, никого нет? Один, ага?..

У Борьки перехватило горло.

– Один.

Вчера он часов до двенадцати торчал у открытого окна, но так и не узнал, чем закончилось провожание. Мягкая, как черный бархат, темень, влажные весенние звезды, волны ознобного воздуха из яруги. Огонек самокрутки Маниного ухажера тлел сначала у калитки, потом переместился под орех возле хаты. Смешок, приглушенные голоса, долгое молчание... Может, тогда? Борька знал, что бывает между взрослыми, но хотя бы услышать, раз увидеть невозможно.

– Ну и хорошо, что один.

Борькино сердце ухнуло куда-то в живот. Что значат эти слова, на что Маня намекает?.. Но грудастая соседка бросила узел на большой плоский камень – на нем стирали белье – и сказала:

– А то праздник, в бригаду не надо. Набегут сейчас, очереди своей не дождешься... Забирай ведро, полное!

Без надобности напрягая мышцы, Борька двинулся вверх по тропинке. Всем своим видом показывая, что нести два ведра воды ему ничего не стоит. Пусть Маня видит.

Мама и бабушка пили козье молоко с хлебом. Радиоточка передавала военные песни. Между песнями ликующим торжественным голосом говорил Левитан. Золотые пылинки невесомо плавали в косом солнце, пронизывавшем летнюю кухню.

– Вот и добре, две кирпички наш хлопец принес, – похвалила бабушка. – Садись сидать.

Какое-то время ели и слушали Левитана. Борька чувствовал, как его грудь распирают отвага и гордость. Он даже перестал жевать. Бабушка сказала:

– Ой-ёй-ёй, пятнадцать лет, а как вчера. Сколько народа на той войне пропало, господи-господи!..

И стала рассказывать, как в сорок четвертом убитых румын и наших солдат стаскивали в большие ямы. Набрасывали на босые ноги веревку, а кого и за шею, и тащили. Близко подойти, чтобы взяться руками, было невозможно – сильно смердели. И то сказать, апрель, тепло.

Борька, когда представляет всё это, отодвигается от стола. К горлу подкатывает ком, но он старается не показать вида. Все-таки мужчина. А одного румына наш солдат хотел застрелить в бабушкином хлеву. Тот спрятался, но солдат с автоматом нашел его.

– Я тому солдату в ноги, не убивай на моем подворье! Где хочешь, а не у меня!..

– А он? – спрашивает мама, отставив пустую кружку и вытирая ладонью губы. По голосу чувствовалось, перепуганного румына ей совсем не жалко. Спрашивает же для того, чтобы поддержать разговор. А то невежливо будет – невестка все-таки.

– Увел куда-то. У меня на подворье убивать не стал... Я ему курицу за то дала.

– А почему без сапог? – вставляет Борька.

Бабушка смотрит на него:

– Кто?

– Убитые, наши и румыны. Они что, босые воевали? – Борька представляет идущих в атаку босых солдат и едва не смеется. Не может такого быть!..

– Люди сняли. Чего чеботам пропадать?

Мама соглашается:

– Специальные команды были, снимали с убитых обувь и одежду. Ну, которая не сильно в крови и целая.

Нам отдавали, мы стирали, штопали, потом... Ты чего уши развесил? Ешь давай, – спохватывается она. – Ни к чему тебе это знать!

Борька смотрит то на бабушку, то на маму. Это его давно озадачивает. Получается, было две войны. Одна, о которой говорят в школе, передают по радио, пишут в книжках. И другая, о которой рассказывают такие люди, как бабушка или мама, она на фронте была в хозяйственном взводе, старшина над прачками.

Их война неинтересная, какая-то будничная, без подвигов и героизма, лишь бы не убило пулей или осколком. Жлобская какая-то. Борька пробовал узнать у папы, как было на самом деле. Но тот о войне ничего не рассказывал, хотя на фронте командовал противотанковой пушкой.

После завтрака выходят на подворье. Опять сверкающие на молодом солнце листья и текучий синий воздух. Притихшая было радость вновь вскипает в Борьке, того и гляди выплеснется какой-нибудь выходкой. Когда уезжали, папа наказал купить бабушке муки и подсолнечного масла в мисте. Борька в предощущении похода, и это делает играющий в нем родничок еще радостнее, еще нетерпеливей. Он изо всех сил крепится. Сажать картошку ему надоело еще вчера.

Но сразу пойти в мисто не удастся. Через подворье шкандыбает бабка Подгурская. В одной руке у нее вытертая до костяного желтого блеска палка, в другой пустое ведро.

– Дзень добры, – здороваается она, выворачивая в сторону хаты голову. Обычно бабка Подгурская смотрит в землю, она согнута, будто перебита в пояснице. К тому же плохо видит. – Кто это у тебя, Федосиха?

Бабушка со сдержанной гордостью сообщает:

– Антонова жинка с сыном, Вчера половину огорода уже засадили. – Бабушкина гордость оттого, что не к каждой свекрови приезжают невестка и внук помогать.

– А, Нюся, – узнает старуха маму и садится на крыль-

цо. От нее пахнет старым человеком, длинная черная юбка опускается до земли, прикрывая желтые ступни, – бабка Подгурская босая. Ей одной разрешается ходить по воду через их подворье, это самая короткая дорога. – А Антон твой где, Федосиха?

Бабушка значительно поджимает губы.

– Та где ж – с работы не отпускают. Райком!

У бабки Подгурской плохо не только со зрением. Иначе не стала бы говорить, что мама была бы ее невесткой, если б сын, какой-то Никифор, не пропал на фронте.

Слышать подобное Борьке дико, оскорбительно. Неловкость на лицах и мамы с бабушкой, но они ничего не говорят – старый человек все-таки.

– Дайте, я принесу! – Борька выхватывает у старухи ведро. Ему стыдно за всех троих, он хочет скорее уйти.

Маня Налыгач, наклонившись, трет на большом плоском камне белье. Молочные разводы мыльной воды расплзаются по запруде. И чем ниже спускается по тропинке Борька, тем выше становятся видны белые Минины ноги над срезом резиновых сапог. Ему становится жарко, полные, с подколенными ямками ноги соседки хочется увидеть еще выше.

– Чего уставился? – Маня выпрямляется, одергивает юбку красными от холодной воды руками и строго смотрит на Борьку. Но сопляком не обзывает, как обозвала бы еще год назад.

Борька молча наполняет ведро и почти бегом уходит. Солнце сквозь листья-лодочки вербы, знобкий запах родниковой воды, таинственно-нежный голос иволги из мокрых зарослей – и Борьку опять обдает волна счастья.

Старая полька благодарит его. Борьке непонятно, за что – ведь так просто спуститься в яруту и принести ведро воды. Он незаметно толкает маму локтем – пошли!

– Идем-идем, – быстро соглашается та.

За калиткой мамино лицо становится таким, будто она облегченно, всей грудью вздохнула. «Никифор!» – с неприязнью думает Борька.

– Тогда тебя у меня не было бы, – первый раз произносит мама эти слова и пробует Борьку поцеловать. Но тот уворачивается.

Дорога идет в гору, слева спускающиеся в яругу огороды. Справа тоже огороды, но они как бы на террасе – приподняты над дорогой. Двухметровая глиняная стена продырявлена то ли старыми ходами земляных червей, то ли норками диких пчел.

Думать, что пчел – интересней. Здесь припек, сонная одурь, млеет нависающий над отвесной стеной колючий повий. Борька пытается увидеть пчел, хотя бы одну – и видит.

Невзрачная, пульсирующая мохнатым серым брюшком, она откуда-то прилетает и торопливо исчезает в норке с гладкими, словно полированными стенками. Значит, есть мед!..

Но представить, как придет с лопатой и примется добираться до меда, Борька не успевает. Он нечаянно смотрит влево – и грудь замирает на вдохе. Борька застывает. Поле озимых за яругой схватило и не отпускает взгляд. Ярко изумрудное, праздничное, необыкновенное!.. Счастливый ветер проходит сквозь Борькино тело.

– О!.. – вырывается у него.

Распахнувшаяся во всю ширь душа вбирает и синий текучий воздух весны, и блеск молодого майского солнца, и крылато раскинувшиеся из края в край озимые.

– Ты чего? – озадаченно спрашивает мама.

Борька смущен.

– Так.

Второй раз мама повторяет фразу, что без войны его не было бы, когда возвращаются из миста.

Борька несет наволочку с мукой, мама канистру с подсолнечным маслом, по-здешнему, олием. Позади

центр села с переделанным из польского костела клубом, базар с длинными дощатыми столами, на которые выставлены молоко в стеклянных банках, брынза, первая зелень, пахнущие погребом прошлогодние яблоки. По случаю 9 Мая возле школы играет оркестр, а на базаре шла обычная жизнь. Пахло лошадьми, сухой утоптанной землей, у свежего конского помета сновали воробьи, люди торговали и переругивались. Борька возмущен про себя – будто и не День Победы вовсе!..

В школьном сквере с памятником, мимо которого они с мамой проходят, какой-то дядька говорит речь. Когда сдергивают брезент с плиты, на которой фамилии погибших, пионеры в красных испанках с желтыми кисточками поднимают в салюте руки. Пасшиися неподалеку козы шарахаются от загремевшего брезента. Какие-то мелкие пацаны сбоку передразнивают пионеров, на них тихо ругается и гонит прочь, наверно, завуч.

«Жлобы! – негодует про себя Борька. – Их от фашистов спасли, столько людей погибло, а они!..» В школе, где он учится, дисциплина значительно выше.

– Видишь женщину? Ну, вон... – тихо спрашивает мама и показывает глазами.

Впереди идет какая-то тетка с черной кирзовой сумкой в руке. Наверно, тоже ходила на базар. Голос у мамы странный. И эта непривычное «женщина». Обычно старших, когда мама разговаривает с Борькой, она называет тетя или дядя. Эта перемена заставляет Борьку внимательно посмотреть на ту, что впереди.

Обычная сельская тетка. Длинная юбка, какая-то кацавейка на худых плечах. Платок. А вот мама погородскому, с непокрытой головой, с завивкой.

– Это первая папина жена, – доверительно, как взрослому, сообщает мама. После паузы добавляет: – Не дождалась папу, вышла замуж. А муж потом пропал без вести. Одна осталась.

Борьке нет дела до всего этого, ему тягостно подоб-

ное слышать. Но ответить что-то надо, и он говорит:

– Ага.

Мама сожалеюще смотрит на него. И повторяет то, что сказала после встречи с бабушкой Подгурской:

– Ой, дурачок! Если всё по-другому, тебя не было бы!.. Это хоть понимаешь?

Какое-то время идут молча. Борька соображает. И от мысли, которая приходит, ему становится нехорошо. Он родился потому, что была война? Потому, что худая тетка впереди не дождалась папу? Что погиб мамин жених Никифор? Что погибли те, чьи имена выбиты на плите в сквере? Что убитых солдат, как падаль, стаскивали в ямы? Что бабушкина курица стоила дороже жизни румына?..

Чувство острое, жжет. Борьке стыдно, будто попался на чем-то подлом. И уже не наволочка с мукой гнет его к земле. Но мама идет как ни в чем не бывало, и Борька с изумлением смотрит на нее. Неужели не понимает?..

– Вот еще один послевоенный! – громко говорит она. – Ты куда это свою козу пускаешь, хлопчик! Засохнет дерево. Вот хозяин выйдет, он тебе покажет!..

Мальчишка в залатанных хлопчатых штанах дергает веревку, пытается оттащить козу от едва распустившегося деревца за оградой. Коза косит желтым дьявольским оком, жадно хватая губами тонкие ветки – она явно сильнее пацана.

– Вы с этим хлопчиком спасибо должны сказать, что была война, – назидательно говорит мама. – Кому как, а для вас она счастье. Если бы не война – другие бы жили, не вы. Всё было бы другое. И не смотри на меня так!..

Борьке дико слышать эти слова – что, Гитлеру сказать спасибо?! Но мама говорит таким голосом, что не ответишь. Они идут мимо чужих огородов, везде сажают картошку, пахнет потревоженной землей, звякают дужки ведер, у женщин от солнца светлые платки на головах.

Вскоре мамины слова не то чтобы забываются, но уходят куда-то вглубь, остаются досадной тенью. Солнце к зениту, нагретые листья душисто, горько пахнут. Только акации еще не распустились. Борька старается не смотреть на их черные, будто обгоревшие, оставшиеся после войны, остовы.

Наволочку с мукой нести все тяжелее, но мир вокруг такой яркий, пронзительный и праздничный, что Борька забывает о муке, маминых словах, обо всем на свете.

Счастливым родничком опять играет, пульсирует в нем. Словно и не переставал. Как хорошо все-таки жить, как радостно и необыкновенно!..

СТРАТЕГ

Памяти В.Шукишина

Геннадий Порфирьевич так и сказал: пока баню не опробую, не заплачу. Брежнев поначалу обиделся – в Рябинках принято было платить за работу сразу. Однако промолчал. Если бы с самого начала предупредили, он, может, и не взялся бы класть каменку. А так... Чего после драки кулаками махать.

Брежнев, пожилой приземистый мужик с густыми и все еще черными бровями, сидел перед телевизором и размышлял, где взять денег на запчасти для снегохода. Часы показывали пять, но за окном уже было темно. В среду лег снег, «Буран» вот-вот понадобится, а до пенсии еще далеко. Да и много ли на нее купишь?.. Так что звонок Геннадия Порфирьевича был кстати.

– Григорьич, ты как там? – сказала трубка. – Приходи за расчетом. Парок, я тебе доложу, – до самых печенок пробирает!.. Что ни говори, а лучше нашей русской бани ничего быть не может! Никакие сауны в сравнение не идут – уж мне-то поверь, повидал я их!..

По говорливости Геннадия Порфирьевича было ясно, что он не только опробовал каменку, но уже и принял после бани. У Брежнева оскомно свело челюсти. Ему самому пить было нельзя – в прошлом году вырезали почку. Застудил, когда провалился под лед, переезжая в апреле реку. Так что последнюю приходилось беречь.

– Валентина, я ушел, – громко сказал Брежнев в сторону кухни. Жена была глуховата.

– Чего? – отозвалась та, выглядывая из-за занавески.

– Ушел, говорю.

– Далеко? – В руках жена держала березовое полено

с кучерявящейся берестой, собиралась на ночь подтопить печку.

– За расчетом за каменку.

– Наконец-то вспомнил!.. – Жена тоже не одобряла поведения Геннадия Порфирьевича.

На улице было хорошо. После осенней мокряди легко дышалось и можно было не бояться, что влезешь в темноте в грязь. Свежий снежок весело поскрипывал под ногами. Брежнев шел и думал о жизни.

В детстве они с Геннадием Порфирьевичем (в ту пору Генкой-Золотухой) ходили в клуб учиться на баяне. У обоих получалось хорошо, на смотрах художественной самодеятельности в райцентре занимали призовые места. После восьмого класса оба поступили в культпросветучилище, но он долго городской жизни не выдержал. А вот Золотуха оказался упорный. Окончил училище, на последнем курсе женился, так в городе и остался. Работал баянистом при дворце культуры геологов до самой пенсии. А сейчас вот потянуло на родину. Отремонтировал родительский дом, поставил новую баню. Его, Брежнева, в лучшем случае зовут Григорьичем, а к Золотухе иначе как по имени-отчеству никто не обращается.

Постучался.

– Заходи, открыто! – раздался из-за двери хорошо поставленный голос.

Брежнев снял в холодном тамбуре обувь, ступил в носках через порог. За столом у задернутого тяжелой шторой окна сидел Геннадий Порфирьевич в махровом халате и пил из самовара чай. Халат был распахнут, по безволосой груди стекал пот. Капли текли и по распаренному красному лицу.

– Самовар, а? – Геннадий Порфирьевич щелкнул пальцем по надраенному выпуклому боку. – Вроде ерунда, вода одинаковая что из чайника, что из самовара – а приятно! Надо, надо нам уважать обычаи предков. Они просто так ничего не делали, веками свой опыт копили!.. Здорово.

Брежнев пожал протянутую руку. Рука у Геннадия Порфирьевича оказалась мягкой, с нежной кожей – такой в деревне даже у женщин не бывает.

– Ты легче, орудие труда все-таки... – Хозяин сказал это вроде как в шутку, но руку забрал быстро. – Мне у Слинкиных на свадьбе играть. Живая музыка, говорят, нам нравится, а не эти, на кассетах. А что, правильно говорят – живой звук он и есть живой!.. Садись. Выпить хочешь?

Брежнев замялся.

– Да нет...

– Так да или нет?

– Нельзя мне.

– Ну, тогда чаю.

– Это можно. – Брежнев с облегчением вздохнул. Отказ от выпивки давался ему трудно. Огляделся. – А хозяйка твоя где?

– Моется. Это по молодости в баню вместе ходят, а сейчас... – Геннадий Порфирьевич засмеялся и потянулся к пузатенькому графинчику. – Сейчас водочка милое дело! Водочка взрослому мужику много чего заменить может. Если, конечно, с умом и в меру. Как наши отцы говорили, кто пьян, да умен – два блага в нем!..

Брежнев не помнил, чтобы его или Золотухи отец так говорили, но кивнул. Он деликатно, двумя пальцами взял за ручку чашку и подставил под краник самовара. Пить не хотелось, но получить деньги и сразу уйти казалось неудобным. Тем более, что денег Геннадий Порфирьевич пока не давал.

– Я тут недавно по телевизору слышал, будто проводятся чемпионаты мира – по чему бы ты думал?.. По бровям!

Брежнев быстро вскинул глаза. Золотуха смотрел открыто, без насмешки. Брежнев отвел взгляд. Это у Золотухи с молодости – где другой промолчал бы, этот говорит как ни в чем не бывало. Дефект в человеке, не чувствует, что может задеть.

За свои брови Григорьич натерпелся. Как поперли лет в четырнадцать, так до сих пор густые и не седеют. У других к старости облезают, становятся короткими и редкими, а его хоть бы что. Если бы Валентина каждую неделю не подстригала, как добрые усы стали бы. Даже в больнице, когда лежал на операции, врачи между собой называли его Брежневым – Григорьич как-то сам слышал.

Геннадий Порфирьевич отставил в сторону кружку с чаем. Налил из графинчика рюмку, выпил. Быстро поддел на вилку квашеной капусты.

– М-м, хороша капуста – настоящая, деревенская, сам солил! Не мужское, казалось бы, дело, а удовлетворение доставляет! Память сердца, как говорится... Так вот, насчет бровей. Один индеец отрастил сантиметров что-то десять, весь лоб закрывают. Чего бы тебе, Григорьич, в таких чемпионатах не поучаствовать? Ведь это деньги, и хорошие!..

Брежнев смотрел в стол. Не понимает. Горбатого могила исправит.

– Ты как к политике относишься?

– Да как... – Брежнев пожал плечами. Про себя удивился: ну и скачки у мужика – то про брови, то про политику. Не такой и пьяный, а мысли как блохи.

Геннадий Профирьевич опять придвинул к себе кружку с чаем, отхлебнул.

– Непривычно, типа, чаем запиваю? А между тем, вековой рецепт. Водка, она чай любит, токсины хорошо выводятся, и похмелья не бывает... Так о чем я начал?

– О политике вроде.

– Ага! Не хочу я с тобой рассчитывать, скажем. Ты сделал работу, а я не хочу. – Заметив на лице Брежнева настороженное удивление, он засмеялся. – Не бойся, это я так, для примера!.. Если я в открытую не заплачу, ты придешь ко мне разбираться, правильно? Здесь надо по-умному. Что я делаю? Деньги я тебе отдаю, но в магазине (он в деревне один, мой) повышаю цены. Вроде

как я чист перед тобой, рассчитался, а ты все денежки, что я заплатил, у меня в магазине оставишь. Всё законно, всё шито-крыто. Здорово, ага? Не придерешься! – Геннадий Порфирьевич радовался как ребенок. – Ловкость рук и никакого мошенства!..

Брежнев помолчал, соображая.

– При чем тут политика

Геннадий Порфирьевич поднял вверх палец, со значением сказал:

– А ты подумай. – Видя, что Брежнев только морщит лоб и молчит, добавил: – Ладно, наводящий вопрос. У тебя при советской власти на книжке сколько было?

– Ну, было...

Цифру Григорьич называть не стал. До сих пор вспоминать не хочется. Они с Валентиной почти всю жизнь проработали на рыбоучастке, он ревматизм нажил, у Валентины разъеденные солью руки не заживали. Когда дети выросли, завели сберкнижку, стали копить на новый «Буран», ну и на старость. В девяносто втором все деньги сожрало повышение цен, а потом еще эта хренова инфляция. Какой там «Буран» – на трехколесный велосипед к внучкиному дню рождения не хватило.

– А я не жалею, я вовремя подсуетился. Один хороший товарищ посоветовал, ты, говорит, купи долларов. Я послушался, на все сбережения купил. Доллары пошли вверх. А кто тупые, ясное дело, пролетели!..

Брежнев опять исподлобья взглянул на Геннадия Порфирьевича. Но тот на его взгляд не обратил внимания.

– Когда я работал, меня большие мужики часто с собой приглашали. Ну, сауну там снимем, попаримся, водочки выпьем, песни под баян споем – душевно выходило... – Золотуха приосанился, солидно поперхал горлом. – М-да... Разговоры, естественно, всякие. Мужики все головастые, номенклатура. Рассуждаем, что было делать Ельцину. И выходит, иначе нельзя. Ты же

помнишь начало девяностых. У населения на книжках триллионы – чем их отоварить? Приватизацию, что ли, срывать? К собственности не каждого подпустишь, а достойных, кто тебя поддержит. Считаю, Гайдар Ельцину правильно подсказал. Произвести селекцию, отобрать надежных, им госсобственность и передать. А населению цены поднять, пусть свои триллионы расстрясут – на советский строй работали, не на демократию! Не так, что ли?..

Геннадий Порфирьевич поднялся и вышел с соседнюю комнату. Вернулся с богато инкрустированным баяном. Утвердил его на коленях и растянул меха. Перламутровая отделка жемчужно светилась. Полы махрового халата на Геннадии Порфирьевиче разошлись, и стали видны белые, еще крепкие ноги. Играл Золотуха мастерски. Пальцы так и летали по клавиатуре. «Полет шмеля» Римского-Корсакова, переложение для баяна.

– Попробуешь? – Хозяин сделал движение, будто хочет снять с колен и передать инструмент. – У тебя раньше тоже неплохо получалось.

Брежнев молча отмахнулся – руки уже как чужие, столько лет кроме сетей ничего не знали. Только позориться.

Геннадий Порфирьевич перешел на попурри из русских народных песен. Тихо наигрывая, как бы сам с собой рассуждал:

– Гайдара с Ельциным ругают, а я тоже бы так действовал. – Его лицо стало озабоченным, на лбу прорезалась поперечная складка. – Надо было создать класс собственников. И не когда-нибудь, а срочно, чтобы была защита от коммунистов. Они только и смотрели, как бы забрать власть... Что в такой ситуации делать? Ваучеры, правильно – рот заткнуть. Вроде каждый получает свою часть собственности. Но средства производства должны быть не у всех, а у кого нужно. Чтобы на этих людей можно было рассчитывать в случае чего. Выборы там и прочее – бесплатный сыр только...

Закончить свою мысль Геннадий Порфирьевич не успел. В тамбуре послышались шаги, открылась дверь и на пороге появилась крупная женщина с баннным полотенцем на голове.

– Здравствуйте. – Она вскользь, отчужденно взглянула на Брежнева. Не останавливаясь, прошла в соседнюю комнату. Охнул диван под тяжелым телом.

Геннадий Порфирьевич подмигнул, повернул в сторону комнаты голову:

– Аленка, все нормально?.. – Вполголоса добавил, обращаясь к Григорьичу: – Городские, они к нашей бане непривычные.

– Нормально, – послышалось из комнаты.

– Валокордина накапать?

– Не надо.

Геннадий Порфирьевич потянулся к графинчику с водкой.

– Ты не очень-то, – послышалось из комнаты, словно жена видела сквозь стенку.

Геннадий Порфирьевич скроил комическую физиономию, молча развел руками, будто говорил: вот так и приходится жить!.. Водки тем не менее налил и выпил. Брежнев сглотнул. Видеть, как Золотуха пьет, было тяжело.

– А чего, я в меру. После бани, дорогая моя, положено!

– Знаю я твою меру.

Геннадий Порфирьевич опять подмигнул:

– Это уж у каждого своя, закон диалектики!.. – Не дождавшись из комнаты ответа, он придвинул к себе кружку с чаем. Будто извиняясь, сказал Брежневу: – Всем хороша, и хозяйка, и жена, а поговорить не о чем. Не интересуется ничем, хоть ты лопни. Столько вокруг происходит, только соображай и анализируй, а она!.. – Золотуха отхлебнул из кружки, помолчал. – Гуманное все-таки у нас государство, Григорьич, доложу я тебе. По моему мнению, так слишком гуманное. Только ле-

нивый не гонит волну – и пенсии, типа, маленькие, и бесплатный проезд до города отменили, и за телефон полностью плати. А с какой стати, скажи мне, государство должно пенсионеров на себе тянуть? А? Вот скажи мне!..

Брежнев привык отвечать, когда у него спрашивали.

– Вроде как заработали.

– Вот именно, «вроде как»! – подхватил Геннадий Порфирьевич. – Что, у государства других забот нет, кроме как пенсионеров содержать? Давай посчитаем, международную политику проводить надо? Надо! Армию укреплять? Надо! В космосе позиции не сдавать? Тоже надо. А где на все средств взять? Никаких стабилизационных фондов не хватит. А пенсионеры, какая от них польза? Сели государству на шею и ножки свесили. По телевизору говорят, скоро на одного работающего по пенсионеру будет приходиться. Значит, ты на себя работай, семью обеспечивай и еще дармоеда содержи... Чего хмыкаешь? Не согласен, что ли?

Сидеть истуканом не хотелось, и Брежнев налил себе еще чаю. На этот раз он оказался почему-то горячим, во рту обожгло. Брежнев быстро проглотил кипяток и с досадой сказал:

– Так ты вот возьми и откажись от пенсии!

– Легко!.. Но не обо мне сейчас речь. Шире надо смотреть, масштабней. Вот говорят, у нас мало живут. А я считаю, больше не надо. Чего дармоедов плодить? Пожил свое – хватит!.. Жаль, Путин отклонил предложение, чтобы подняли возраст, когда на пенсию выходить. Сколько бы денег можно было сэкономить!.. Мы с большими мужиками эту тему тоже обсуждали, они со мной согласны. Нужен государственный подход! Строгость! Без этого с нашим населением нельзя.

Разглагольствование Золотухи раздражало все больше. Мало того, что тянет с расчетом, так еще рассуждает, будто сам не пенсионер. Ему пенсия, видать, легко досталась, а Григорьича иной раз так скрутит, что

только горячие кирпичи спасают, если положить на поясницу.

– Ты чего предлагаешь? Не платить пенсии?

Геннадий Порфирьевич посмотрел с превосходством:

– Оно, конечно, было бы хорошо – не платить. Но... В цивилизованном государстве живем. В Европе не поймут. – И неожиданно спросил: – Лекарства пьешь?

– После операции пил. А так больше Валентина... Дорогие.

Золотуха налил себе рюмку, значительно поднял вверх палец и так держал его, пока рюмку не опорожнил.

– И здесь государственный подход нужен. За счет чего, считаешь, бюджет формируется? Мои и твои тринадцать процентов погоды не делают. Ну, когда работали. А с промышленности там, с торговли в бюджет можно взять много. Вот и скажи, выгодно государству или нет, чтобы цены были низкие?.. – На этот раз Золотуха не стал ни закусывать, ни запивать чаем. Поднес к носу корку хлеба и шумно втянул воздух. – Конечно, цены тоже с умом надо держать. Нельзя, чтобы населения стало слишком мало. Разумное воспроизводство должно быть. Нефть, газ кто-то должен добывать, в армии, в органах служить...

– А при чем лекарства? – не понял Брежнев.

– Хе, чудак! Так прямая выгода государству, чтобы дорогие были! Позволяет пенсия – ты себе и Валентине покупаешь, государству доход. Не позволяет, скорее на тот свет уберетесь, бюджету легче, пенсии вам платить не надо. По-любому выгодно! – Золотуха победительно улыбался, как отличник у доски, ответивший на каверзный вопрос.

Брежнев, не отрывая от него глаз, стал медленно подниматься из-за стола. Золотуха удивился:

– Не понял. Ты куда?

Гость молчал, жвав зубы так, что побелели желваки.

– Ты чего? Еще не рассчитались...

– Да подавись ты, сука! – выдавил наконец Брежнев.

И вышел, оставив Геннадия Порфирьевича с изумленно открытым ртом. Дверью шваркнул со всей силы.

«Поджечь, что ли?.. – подумал Брежнев уже во дворе. Свежие стены бани светились в темноте, притягивали взгляд. – Ну, паскуда! Как земля таких уродов носит?!»

И долго не замечал, что идет по снегу в носках.

С УТРА ДО ВЕЧЕРА

Часы показывали начало седьмого, а окна уже обогнались. От их синевато молочного света все в доме было видно. Это в ноябре-то месяце.

Вера Тимофеевна поднялась с постели, но, еще не дойдя до окна, поняла, что просто выпал снег, оттого и светло. И правда, огород был весь белый, по веткам яблони сверху будто кто провел известкой... Вот и зима.

Можно было бы еще с полчаса полежать, но Вера Тимофеевна знала – больше не заснет, а что без толку валяться. Она накинула поверх ночной рубашки старый истончившийся халат из байки и вышла в приделок. За занавеской всхрапнула свекровь.

Раньше шести в школе появляться не стоило – баба Поля, сторожиха, не любила, когда ее рано будили, – и Вера Тимофеевна зажгла обе конфорки, на одну поставила чайник, а на другую большую закопченную кастрюлю с картошкой для кабана.

По ногам тянуло. Она включила в кладовке свет, достала валенки. Валенки были старые, растоптанные, но для дома сойдет. Вера Тимофеевна с удовольствием сунула в них ноги.

Стало уютно, и даже показалось, что сломанная нога не так ноет. Вот, оказывается, почему ныла – к снегу...

Вера Тимофеевна попила чаю, убавила огонь под закипевшей картошкой и оделась.

Воздух на дворе был легкий, чистый и пахнул только что разрезанным арбузом. Вера Тимофеевна вышла из калитки и переулками направилась к школе, оставляя четкие следы на нетронutom снегу. Снег она про себя пожалела – первый, растает. И сразу же обеспокоилась:

опять крыша потечет. Неделю перед этим стояла сухая холодная погода, и Вера Тимофеевна хоть вздохнула свободней – всю осень только и знает, что новые банки на чердаке расставлять, и вот опять... Надо дранку менять, совсем сгнила. Как избу поставили, так с тех пор не меняли.

Проходя мимо единственного в поселке пятиэтажного дома, она по привычке посмотрела на окна квартиры на четвертом этаже, где жила дочь с семьей. Окна были темные, значит, еще спят. Да и куда им торопиться, зятю на работу к восьми, а дочь может хоть весь день проваляться – с начала месяца в декрете. Мишку бы накормить не забыли...

От мысли о внуке тревожно сжалось сердце. Вот уберется в школе и заглянет к ним.

Сторожиха баба Поля, прежде чем открыть дверь, приложила из освещенного коридора к стеклу ладонь, всмотрелась, кто это стучит.

– Да я, баба Поля, я!

Сторожиха щелкнула замком и впустила.

– Я... Вчера двое каких-то всю ночь вокруг околачивались. Говорила военруку, выбрось ты эти свои ружья, а то еще порешат. Вон что вокруг творится-то...

Баба Поля – мрачноватая старуха с бородавкой на переносице, зимой и летом смуглая, похожая на цыганку. Чем-то она Вере Тимофеевне напоминала свекровь, хотя схожего между ними вроде было мало. Сторожиху побаивались не только ученики, но и молоденькие учительницы, присланные недавно после училища.

Сегодня баба Поля, кажется, была в хорошем настроении. Выспалась, наверно. Она закрыла за Верой Тимофеевной дверь на ключ, торопливо зашаркала следом и, догнав, ухватила за рукав.

– Пошли, чай у меня... Хороший, со слоном.

Обижать старуху не хотелось, и Вера Тимофеевна прошла за ней в каморку возле раздевалки, где обычно баба Поля коротала ночные часы. Воздух здесь был

тяжелый, на тумбочке, что рядом с продавленным диваном, стояла пачка индийского чая с нарисованным синим слоном, на котором сидел бородатый человек в чалме и белых штанах. Сторожиха достала из тумбочки стаканы, целлофановый пакет с сахаром, принялась разливать заварку из маленького чайничка. А сама все нетерпеливо поглядывала на Веру Тимофеевну, собираясь, видимо, что-то спросить.

– Выдохлася заварка, с вечера-то хорошая была. Ничо, сейчас чайник закипит... Так ты говоришь, мать народила тебя в рубашке? Счастливая, значит, должна быть?

– Да вроде не жалуюсь, – сказала Вера Тимофеевна, удивляясь таким разговорам. С чего бы вдруг? – У меня не хуже, чем у людей.

– Ну да, счастливая! Сколько тебе годов-то? – вроде как бы обрадовалась баба Поля.

– Сорок шестой.

– Вот, молодая. А мужика нет. Такой смертью помер – хуже нельзя. Счастливая!..

Вера Тимофеевна ничего на это не сказала. Несколько секунд посидела с неподвижным лицом. Потом молча поднялась и пошла к чулану возле туалетов, где хранились веники и ведро со шваброй.

Сторожиха ее не удерживала, будто и не сама только что зазывала на чай. Было во всем ее виде что-то нехорошее, злорадное.

Муж у Веры Тимофеевны в самом деле умер рано. Тяжело умер. Точнее, погиб. Случилось это почти четыре года назад, когда дочь лежала в роддоме. Мотоцикл, на котором Вера Тимофеевна ехала с мужем посмотреть только что родившегося внука, сбил встречный грузовик. Шофер, сразу протрезвев, выскочил из машины, увидел ничком лежащую женщину в кювете и пытающегося приподняться мужчину на обочине, быстро оглянулся – дорога была пустынна – и решил, что свидетелей ему не надо. Развернул грузо-

вик и направил на мужа Веры Тимофеевны. Проехал по нему передними колесами, а потом и сдвоенными задними. И еще раз...

Его так и не нашли, этого зверя. В милиции сначала взялись вроде горячо, а потом все как-то само собой сошло на нет. Капитан, который вел дело, под конец так и сказал Вере Тимофеевне: «Что вы все ходите? Не воскреншу я вам мужа, понимаете? Или вам надо кого-нибудь посадить обязательно?» Что тут скажешь. Соседи говорили, следователю или взятку сунули, или он просто лодырь, и советовали так это не оставлять. Вера Тимофеевна подумала-подумала. Мужа и в самом деле не воскресишь. Так дело и закрыли, все ничем кончилось.

Но это потом. А сначала о смерти мужа ей долго не говорили. Она пришла в себя в больнице только на вторые сутки, у нее была разбита голова и нога оказалась сломанной. После двух операций дело понемногу пошло на поправку, но родные, навещая Веру Тимофеевну, говорили, что муж куда легче ее – его, мол, даже в больницу отдавать не пришлось, дома отлежится. Все знали, жили они с мужем хорошо.

Только перед выпиской врач посоветовала подготовить Веру Тимофеевну. В майской теплый день пришла дочь и, глядя испуганными глазами, сказала, что отца нет, умер. Вера Тимофеевна не поверила, рассердилась, но дочь, положив ей на койку спеленатого Мишку, достала из сумки похоронные фотографии. Вера Тимофеевна посмотрела на них и тихо заплакала.

Так и осталось в ее памяти: солнечный день после долгого ненастья, в открытое окно палаты заглядывают зеленые ветки сирени – и эта вест, принесенная дочерью...

Сначала Вера Тимофеевна убрала коридоры. Прощлась веником, а потом налила воды в ведро, бросила туда соды и хорошо протерла линолеум шваброй. Она открыла фрамуги, и свежий, пахнущий снегом воздух хлынул в помещение.

Классы убирать не надо было, это делали после уроков ученики. Вера Тимофеевна перешла в спортзал. Здесь она включила полный свет и тоже сначала подмела, а потом стала мыть дощатый крашенный пол. Доски от ребячьей беготни местами облупились, и мыть было не так легко, как в коридорах, но Вера Тимофеевна любила работать в спортзале. Простора здесь, что ли, было больше, света.

За работой понемногу сгладилась обида – недобрая все-таки она старуха, баба Поля, – и Вера Тимофеевна уже спокойно думала о муже, детях, о себе.

Конечно, ждешь от жизни только хорошего, думаешь, что ты какая-то особенная – недаром в рубашке родилась, мать-покойница не раз об этом рассказывала, – а жизнь по-всякому поворачивается. Но если разобраться, то и несчастной себя назвать нельзя. Правда, с мужем такое случилось и дочь не очень радуется, зато о Боре, сыне, никто плохого не скажет. Серьезный, самостоятельный парень. Недавно командир части, где Боря служит, прислал письмо – благодарит, что вырастила такого сына... Да и самой ей здорово повезло, могла ведь и вовсе не родиться, не жить. Мать ее в девушках родила – обманул соседский парень, обещал жениться, а сам уехал из их мест, пропал с концами. Мать сколько раз подбивали сделать аборт, а она не захотела. Счастье? Конечно, счастье.

А что отчим ей достался добрый, любил как родную, разве не счастье? Вера Тимофеевна до сих пор без комка в горле не может вспоминать, как он пошил ей красивые ботинки ко дню рождения – отчим немного сапожничал – и поставил на табурете возле топчана, где она спала. Это ей-то, которую ребятишки в деревне дразнили нагулянной, не принимали с собой играть. Она тогда вскочила с топчана и, забыв о своей робости, прижалась к его ноге, а отчим гладил ее голову большой своей ладонью...

Что ни говори, было у нее в жизни хорошее. И сей-

час один только внук сколько радости приносит.

За такими мыслями Вера Тимофеевна не заметила, как убрала спортзал. Осталось протереть пыль, которой здесь всегда собиралось много – ребята на физкультуре бегают, в футбол играют. Вера Тимофеевна пошла, сменила воду, тщательно прополоскала тряпку.

Возвращаясь в спортзал, она заглянула в каморку возле раздевалки. Баба Поля все еще пила чай, лицо у нее было сердитое, будто пить чай заставляли ее против воли. Вера Тимофеевна только головой качнула.

– Ты свет-то эконошь, нечего во всю ивановскую! Сама знаешь, сколько теперь платить приходится, – бросила вслед баба Поля. Видно, все же заметила ее.

Вера Тимофеевна протерла пыль в спортзале, потом еще вымыла туалеты и в начале девятого вышла из школы. Во дворе уже собирались ребяташки, но в помещение их баба Поля не пускала, отгоняла от двери – ждала, когда придут учителя.

На улице развиднелось. Но свет еще желто горел в домах и на столбах вдоль центральной улицы поселка, по-старому еще именовавшейся Ленинской. Воздух был мутноватый и влажный, по всему чувствовалось, снегу лежать недолго.

Поглядывая по сторонам и здороваясь с нечастыми встречными, Вера Тимофеевна направилась к пятиэтажному дому, где жила дочь. Тропинки были уже протоптаны, а возле школы ребяташки успели их даже накатать.

Дверь открыла дочь.

– Это ты... – Она неуклюже, громоздко повернулась, прошла в комнату, тяжело опустилась на неубранную постель перед работающим телевизором, откуда, видимо, только что поднялась.

Вера Тимофеевна разделась и заглянула на кухню. Так и есть! На столе грязные тарелки, пустая бутылка из-под водки, куски черствого хлеба валяются. Мишка, внук, стоял у окна на стуле, смотрел на улицу и ел один из кусков, зажав его в кулаке.

– Баба! – радостно закричал он, увидев Веру Тимофеевну. Торопливо слез со стула и бросился к ней, не выпуская из руки хлеб. Майка на нем выбилась, колготки были с дырой на коленке.

– Валя, вы ели? – Вера Тимофеевна взяла внука на руки.

– Не хочется что-то, – не поворачивая головы от телевизора, вяло ответила дочь. – Мам, у нас двойняшки в роду были?

Вера Тимофеевна хотела сказать, что о двойне в их роду она не слышала, а вот в рубашке родятся, но вспомнила бабу Полю и промолчала. Она взяла на кухню за горлышко пустую бутылку и спросила, показывая ее дочери:

– Опять?

Та скучно взглянула на бутылку.

– Не я это – Толька... Мам, я двойню рожу, наверно. Не хочется...

Вера Тимофеевна с сомнением смотрела на дочь. Она не верила, что Валя не пила. Еще когда молодые не получили квартиру и жили у нее, она не раз замечала, дочь выпивает наравне с зятем.

Зять Анатолий работал в совхозе на «Беларуси», частенько калымил – кому что подвезет, кому огород вспашет, бензин продаст, – деньги у него и кроме зарплаты водились. Чуть ли не каждый вечер молодые у себя в комнате за перегородкой выпивали. А ночью спали так, что не добудишься. Однажды Мишка полчаса надрылся, а они не слышат. Вера Тимофеевна не выдержала, поднялась, на костылях – нога еще была в гипсе – добралась до их комнаты, а вот как ребенка к себе перенести? Молодых будить не захотела – они, раскидавшись, были в таком виде, что самой смотреть неудобно и их в краску вгонить. Кое-как взяла Мишку на одну руку, ухватилась зубами за пеленку для надежности и поковыляла к себе. А когда опустила внука на постель – заплакала. А если бы уронила по дороге или сама на него упала?..

– Валь, нельзя тебе. На ребенке скажется, – укорила Вера Тимофеевна. – Каким родится?.. И сама, гляди, во что превратилась. Мишка вон некормленный, сухой хлеб ест. И дорогая теперь водка, лучше бы колбасы купила.

– Колбаса, что ли, дешевле? – вяло огрызнулась дочь. В глаза она не смотрела. Ее отекавшее, в пигментных пятнах лицо было безразличным, нечесаные волосы падали на лоб.

Вера Тимофеевна вздохнула. И не сказать нельзя, и отчитывать совестно – взрослая женщина. Да и нелегко ей сейчас. Вера Тимофеевна по себе знала, как даются последние недели беременности.

– Вот что, собери-ка грязное белье, постираю, – сказала она. – Только быстро, у меня картошка на газе стоит.

Черноглазый, в деда, Мишка понял, что бабушка собирается уходить, и плаксиво затынул:

– Ба-а-ба, я в гости хочу-у...

– Ладно уж, пойдем, – сказала Вера Тимофеевна. Она не могла смотреть на внука без затаенно счастливой улыбки. Сама принялась его одевать в коридорчике, где висела Мишкина одежда.

Белья набралось много, большой узел. Вера Тимофеевна приняла его у дочери, придавив коленом, покрепче затынула.

– Мам...

Вера Тимофеевна подняла глаза. Валя смотрела на нее и ничего не говорила.

– Ну?

Дочь помялась.

– Пусть Мишка поживет у тебя. Хоть до весны...

Вера Тимофеевна ничего на это не сказала. Надела на внука пальто, подпоясала ремешком и, уже открыв дверь, в сердцах бросила:

– Это чтобы вам никто пить не мешал? Так, что ли?

Дочь смотрела на нее и молчала. Вздернутый на большом животе халат открывал отекавшие ноги с голубыми венами.

Придерживая внука за ворот пальто одной рукой, а второй ухватив узел с бельем, Вера Тимофеевна медленно спускалась по лестнице. Разве она против, чтобы Мишка пожил у нее, если бы все было нормально? Сейчас у дочери хоть какая-то забота и ответственность, а если она заберет внука, та за холодную воду не возьмется. И так в квартире грязи по колено, халат постирать не может – весь в пятнах на животе. Беззаботная, вся в свою бабушку, свекровь Веры Тимофеевны. Той тоже хоть трава не расти. А водка! Другая удерживала бы мужа, а эта готова наравне пить. Беременная-то!

В переулке, заметив накатанную дорожку, внук вырвал у Веры Тимофеевны ладошку и бросился вперед. Ему еще не было четырех лет, но бежал он уверенно, быстро, а когда покатился по глянцево отсвечивающей дорожке, ноги в меховых сапожках расставил твердо и ловко. Мужичок...

У Веры Тимофеевны дрогнуло сердце от нежности. И хватками своими, и черными глазами внук напомнил ей мужа. Его и Мишей в честь деда назвали...

Свекрови дома не оказалось. Хорошо еще, газ под картошкой догадалась выключить. Не раздеваясь, Вера Тимофеевна принялась мять картошку, в теплое месиво добавила отрубей и, вдыхая сытный пресный запах, понесла кастрюлю в сарайчик – кабан, утратив всякую солидность, голосил так, что было слышно за несколько домов.

– Сейчас, сейчас... – Вера Тимофеевна поставила кастрюлю на снег, открыла всячий замок и, перегибаясь через загородку, вывалила из кастрюли в таз.

Кабан, удовлетворенно, низким басом похрюкивая, ткнулся в еду. Стоять ему было уже тяжело, и он опустился на задние ноги, пробовал есть сидя. Вера Тимофеевна похлопала его по налитому твердому загривку, поросшему белесой жесткой щетиной, потормошила. Кабан даже не шелохнулся. Килограммов под сто пятьдесят весит. К Новому году можно будет колоть.

Потом Вера Тимофеевна затопила печь, накормила Мишку и поставила греть воду, чтобы замочить белье. Беспокоила крыша. Вера Тимофеевна приставила лестницу и поднялась на чердак. Здесь пахло пылью и стоялым воздухом, сквозь слуховое окно проникал слабый свет. Вера Тимофеевна обошла чердак, заглядывая в жестянки, густо расставленные в местах, где крыша протекала. Жестянки были пока сухие.

Надо, надо дом перекрывать, почти двадцать лет dranке, сгнила. Купить бы к Бориному приходу из армии шифера, а Боря бы перекрыл. Нужны деньги, а где взять? Было кое-что на книжке – до аварии работала дояркой, получала хорошо, – но все отдала молодым на обстановку, когда те получили квартиру. И правильно – чего бы сейчас стоили ее четыре тысячи?.. Разве что у свекрови занять? Она в прошлом году свой дом продала. И сообразила, сразу взяла в магазине на все деньги золотых часов – из-за дороговизны они годами пылились на витрине. Но что та дороговизна по сравнению с нынешней... Так что деньги у свекрови не пропали – в любой момент может отвезти часы в город, сдать в комиссионный. Купят, богатые люди сейчас есть, вот сколько их по телевизору показывают.

Вот хорошо было бы! Боря в мае вернется, а летом дом перекрыть можно. Не хочется, а придется у свекрови просить займы, иначе шифера не купить. Надо с ней сегодня поговорить.

Когда самое необходимое по хозяйству было сделано, Вера Тимофеевна села за машинку – закончить сватье юбку, матери зятя Анатолия. Давно пора отдать, обещала.

Она шила, время от времени поглядывая во двор, где внук сначала лепил снежную бабу, а потом принялся бросаться снежками в боязливо ступающих по снегу кур. Из головы не выходила мысль о дочери. Тоже надо что-то делать. Сопьются ведь оба, дочь и Анатолий, от людей стыдно.

Под стрекот машинки мысли текли свободно, и Вере Тимофеевне подумалось о том, что как все-таки странно в жизни бывает. Валя и Боря, брат и сестра, от одних отца и матери, а разные. Дочь пошла характером в свекровь, а сын – в мужа и свекра, те тоже были рассудительными и добрыми. Когда свекр заметил, что всю работу по хозяйству свекровь на нее, с двумя маленькими детьми, свалила, сказал Мише, чтобы начинал строиться. Он поможет. А свекровь и в самом деле не то что ленивая, а какая-то беззаботная и ко всему безразличная. Непонятно, как хозяйственный свекр терпел ее. Могла, например, забыть скотину накормить. Или замочит белье, поставит в угол за дверь и вспомнит о нем тогда, когда вонь по избе пойдет.

Как-то Вера Тимофеевна – было ей тогда немногим за двадцать – пошла в райцентр за хлебом. Это туда семь километров и обратно семь, автобусы в ту пору еще не ходили. Вернулась уставшая, ноги мокрые – как раз была осень. Заходит в избу, а там рев в два голоса. Дети сидят в кровати, ноги вниз свесили, ручонками за прутья держатся, глаза от слез опухли. А свекрови хоть бы что, устроилась возле окна и картинки в «Огоньке» рассматривает. Это у нее любимое занятие, картинки в журналах смотреть, до сих пор любит. Вера Тимофеевна остановилась у порога и не знает, за что первое хвататься: то ли детей успокаивать, то ли мокрые сапоги снимать, то ли печь растапливать – время к обеду, вот-вот свекр с Мишей придут, а свекрови до этого словно и дела нет. Смех и горе.

Главное, что и помочь было некому. Замуж Вера Тимофеевна вышла не в своей деревне, а познакомилась с будущим мужем на строительстве металлургического комбината в Казахстане, куда поехала по комсомольской путевке – молодая была, нового хотелось. Парней там оказалось много, а их, девчат, мало, так что от ухажеров отбоя не было. Некоторые оказались очень нахальные, особенно бывшие зеки, разное случалось. Но

с Мишей у нее как-то быстро и хорошо сложилось – почувствовали они, что ли, сразу друг друга, – слюбились, как говорили у них в деревне. Расписались через две недели. Потом Миша увез ее к себе на родину, он болей в Казахстане стал. Там летом жара под сорок, а у него сердце оказалось слабым. Приехали в этот поселок, где Мишины родители жили. Конечно, пришлось мириться, не у родной матери живешь. Все самой приходилось делать. Ну да ничего, к работе ей было не привыкать – в семье она старшая, кроме нее у матери еще трое детей от отчима родилось, так что забот с ними хватало. И сам отчим был без ноги – на фронте оторвало, – не всякую мужскую работу мог делать, что-то и ей с матерью приходилось. Одним словом, к работе была приучена, справлялась и у свекрови. Зато с Мишей у них все хорошо было, это давало силы. Любили друг друга, будто только что поженились, а сами уже не первый год жили. Миша, Миша, что ж хорошим людям век такой короткий?..

Мягко стучит машинка, бежит из-под лапки строчка. Хорошая юбка получается, сватья останется довольна. А может, с ней поговорить, пусть подействует на Анатолия? Сватья авторитетная, в семье ее слушаются. Раньше Вера Тимофеевна работала с ней на ферме, так сыновья все время приходили помогать. Анатолий тоже. Взрослые парни, а что мать скажет, то и делают: за коровами уберут, силос по кормушкам разбросают, а его запах терпеть тоже нужна выдержка, особенно молодому. Точно, надо с ней поговорить. И случай удобный будет, когда сватья за юбкой придет.

От решения поговорить с матерью Анатолия Вере Тимофеевне стало даже как-то радостно. Будто все уже наладилось – зять и сам пить бросил, и Вале не разрешает... Ей до того захотелось увидеть сватью, что она, быстро закончив юбку, решила не дожидаться, когда та за ней зайдет, а завернула обнову в газету и торопливо оделась. Сама отнесет.

Во дворе она позвала Мишку и пошла вместе с ним по хорошо знакомой дороге за поселок, к ферме. Снег под ногами уже потемнел, был влажен и податлив. Вера Тимофеевна опять с беспокойством подумала о протекающей крыше.

Мать зятя она застала моющей бидоны. Сухопарая, резкая, сватья окатывала бидоны горячей водой из шланга, засунув руку по плечо, быстро терла внутри тряпкой. Лицо и руки у нее были красными, от бидонов валил пар. Все у сватки выходило споро и ловко.

– Ты про Лунохода своего знаешь? – закричала она, увидев Веру Тимофеевну. Сватья всегда так разговаривала, криком. – Если на мой характер, выгнала б такую! Подумай, четверо золотых часов на церковь отдала, мать сказала, вместе они в Егоршино ходили – не знаешь, что ли?

Вера Тимофеевна сразу не поняла.

– Какой луноход?.. – Потом спохватилась: – Ты про свекровь мою?

– А то чью!

Свекровь в поселке прозвали Луноходом за то, что любила ходить по окрестным деревням и часто ездила в райцентр. Что ее гоняло – сказать трудно. Но после того, как свекровь продала свой дом и перешла жить к Вере Тимофеевне, дня не было, чтобы она куда-нибудь не пропадала. Соседям говорила, родню навещает.

– На церковь отдала?..

– Турнула бы в шею, ни минуты не думала! – кричала сватья, выливая воду из бидона в цементный сток. Мутная вода дымилась и стремительным потоком катилась вниз. – Она у тебя сколько живет, а хоть рубль дала? Не видит, тебе тяжело, не на ферме ты, а как там платят – известно! В Егоршино, тунеядцу тому – в рай захотела, дура старая!.. – Сватья разгорячено выпрямилась, лицо у нее было злое, красное, руки парили. – Раньше попов ругали, смеялись только так, а сейчас все верующими заделались! По телевизору показывают,

по радио выступают, готовы задницы попам целовать. Тьфу, придурки!..

Вера Тимофеевна зачем-то потеряла ладонью газету, в которую была завернута сватьяна юбка, посмотрела вниз, на цементный пол коровника. Вот и нашла деньги на шифер, вот и починила крышу...

– Ладно, Маня, – сказала она. – Часы ее, пусть сама распоряжается.

– Как ладно, Вера! Удивляюсь я на тебя! Никто из детей брать к себе не хочет, так она невестке на шею села! Старшие дочери ее не хотят, а живут дай бог. Знают свою мамочку! Или не понимаешь? Ты чего такая? Как с луны свалилась, честное слово!..

Вере Тимофеевне говорить об этом не хотелось.

– Посмотри. – Она протянула сватье сверток с юбкой. – Пошила, как ты хотела.

Сватья перестала кричать, вытерла мокрые руки и осторожно приняла сверток. Она развернула юбку, приложила к себе, стараясь не касаться халата, в котором работала. А Вера Тимофеевна, видя ее изменившееся, ставшее довольным лицо, заговорила о главном, что не давало покоя – о дочери и зяте.

Сватья выслушала ее, а потом, заворачивая юбку опять в газету, пообещала:

– Будь спокойна, я с ним поговорю! Я ему растолкую. Он у меня дорогу в магазин забудет!..

Столько было в ее голосе твердости, что Вере Тимофеевне и спокойней, и в то же время боязно стало – достанется Анатолию... Помогло бы только.

Вскоре она уже шагала от фермы обратно, поглядывая, чтобы Мишка не отстал и не влез в коровьи лепехи. Думала о сватье. Сватья, она такая – если что решит, обязательно добьется. Случай был, ее младшего и Борю призывали в одно время. Вера Тимофеевна постеснялась пойти в военкомат просить, чтобы Борю отправили служить куда-нибудь недалеко – оказывается, есть такое положение, сейчас это можно. А сватья ничего,

пошла, упрашивала, ругалась, а настояла-таки на своем. Она с мужем уже два раза к сыну ездили, он в соседней области служит. Боре бы так... Он-то попал в десантные войска. Когда приезжал в отпуск – в синем берете, в тужурке, из-под которой выглядывает тельняшка, золотистый шнур от плеча, – красиво, ничего не скажешь. Даже если и не сын, приятно смотреть. Плохо другое. Десант сейчас во все горячие точки суют. А точек этих...

Не дай Бог, не дай Бог!

К обеду у нее обычно начинает раскалываться голова – авария даром не прошла. Боль распирает череп, с вязкой мучительной силой давит на глаза, заставляет где-нибудь приткнуться и раскачиваться из стороны в сторону – так вроде легче становится. Таблетки ничего не дают, сколько их Вера Тимофеевна перепила. Кажется, вынеси в это время все из дому, ее саму убей – она пальцем не пошевелит. Все ей делалось безразличным, ни на что сил и желания не было. Так что надо до обеда все главные дела переделать, а то потом не до того будет.

Вера Тимофеевна убралась в доме, разогрела вчерашний суп, накормила внука и сама вместе с ним поела. Чувствуя, как начинает поднывать и ломить в том месте на голове, где делали операцию, она помыла посуду, замешала болтанку кабану и понесла в сарайчик.

Кабан ее встретил утробным ленивым похрюкиванием – наверно, еще не успел проголодаться. Он сидел посередине ставшим ему тесным закута и смотрел из темноты по-звериному светящимися красными глазками.

– Вставай, вставай! – сказала Вера Тимофеевна, проходя к нему в закут. И толкнула ногой, сгоняя с места.

Она взяла тяпку и принялась сгребать навоз к стоку. Потрявоженный кабан недовольно похрюкивал, но недовольство его было ленивым, будто заплыло, как он сам, жиром.

Вера Тимофеевна бросила ему на подстилку свежей соломы и, глядя на тяжелые движения большой белесой туши, опять подумала, что к Новому году кабана можно будет колоть. Вот и деньги на шифер! На всю крышу не хватит, но все же. Мясо продаст, его в момент схватывают, если цену не заламывать, и сало тоже. Конечно, самой мало что останется и Валиной семье меньше дать придется, ну да что делать. Все же выход. Крышу перекрывать обязательно надо. Хотя бы там, где течет.

Пора было укладывать Мишку спать. Вера Тимофеевна вылила болтанку кабану в таз, закрыла сарайчик и вернулась в дом.

– Михрютка! – позвала она.

Внук где-то затаился и не отвечал.

– И где же это наш парень? – громко заговорила Вера Тимофеевна и стала ходить по избе, всюду заглядывая. Она догадывалась, внук спрятался за занавеской, где стояла свекровьяна кровать, но вида не подавала. – Куда это он запропастился? Может, цыгане украли? Да что мы без Михрютки делать-то будем?..

Внук не отзывался. Вера Тимофеевна представила его затаившуюся хитрую мордашку и не выдержала, откинула занавеску. И от того, что увидела, екнуло сердце.

Мишка и не думал прятаться, он увлеченно рассматривал картинки в журнале, который лежал на табурете возле кровати свекрови.

Вера Тимофеевна тут же упрекнула себя – ребенок, ему интересно. Рано пугаться... Она взяла внука на руки и отнесла на свою постель. Раздела, уложила и сама рядом прилегла. Может, голова пройдет, сильнее не разболится.

Мишка немного покапризничал, но уснул быстро. Вера Тимофеевна тоже задремала.

И за недолгие минуты дремы ей представилось лето, она на высокой лестнице где-то в саду рвет вишни, вишни темные, глянцевые, вот-вот брызнут соком, а на ветках яркие пятки солнца. Ее окликают с земли,

она смотрит вниз и сквозь листья видит мужа. «Так он не умер!» – думает Вера Тимофеевна то ли во сне, то ли наяву и быстро спускается по лестнице, радостно торопится вниз. Лицо у мужа серьезное, он смотрит на нее, подняв голову. Вот Вера Тимофеевна уже чувствует на своем теле его руки. У нее обморочно, сладко замирает внутри, но она почему-то знает, что в саду они не одни, кто-то есть еще, и потому говорит: «Ты что, подожди...» Он ждать не хочет, увлекает в дощатый домик на колесах – они уже вроде не в саду, а где-то на полевом стане, домик стоит посреди примятой стерни, – муж крепко прижимает к себе, целует в губы, знакомо гладит руками...

Вера Тимофеевна просыпается, она дрожит, во всем теле слабость. Несколько минут лежит неподвижно, слезы текут из глаз, скатываются на подушку. Родной мой, ну что же так случилось с нами, за что?..

Плачет она тихо, стараясь не разбудить внука.

Постепенно обида и горечь, как все в этой жизни, проходят, их вытесняют будничные беспокоящие мысли. Пока внук спит, надо пойти в школу, убрать два первых класса. Уроки у первоклашек уже закончились, а убирать классы сами, как ребята постарше, они пока не могут. Убирает Вера Тимофеевна, убирает днем после уроков, чтобы на следующее утро не тратить на это время.

Осторожно ступая по половицам, она одевается и, выйдя на крыльцо, мягко щелкает замком. Лишь бы Мишка, пока ее не будет, не проснулся и не испугался, что один.

У калитки ее поджидает радость. Еще издали сквозь дырки в ящике для газет она видит синий конверт – в таких обычно приходят письма от Бори, сына. Вера Тимофеевна торопится, ставшими неловкими пальцами открывает дверцу жестяного ящичка и достает письмо.

От Бори!..

Она прячет письмо во внутренний карман старень-

кого пальто и на легких от счастья ногах идет к школе. Сейчас читать не будет – потом. Сейчас ей достаточно того, что письмо есть, вот оно, на груди.

Возле школы происходит что-то неладное. Слышны злые крики бабы Поли, она мечется по асфальтированному пятакчу перед школьными дверьми и пробует ухватить увертывающихся мальчишек то ли из шестого, то ли из седьмого класса.

Пацаны ее не боятся, дразнятся, но близко к себе подпускать все же остерегаются, а один, слепив из мокрого снега ком, запускает бабе Поле в спину. Сторожиха стервенеет. Сейчас она похожа на одряхлевшую хищную птицу, исходящую в бессильной злобе.

– Сучьи дети! Байструки! – кричит она, и кажется, что с ее тонких старушечьих губ вот-вот брызнет пена.

– Ребята, ну хорошо ли? – громко говорит Вера Тимофеевна и останавливается посреди озлобленной суеты. Ей тяжело на все это смотреть. – Старый человек, что вы с ней так? Разве можно?..

– А что она за уши дерется? Мы не мешали, играли в снежки, а она лезет! – то ли с вызовом, то ли с обидой кричат ребята, отбежав на безопасное расстояние от тяжело, открытым ртом дышащей бабы Поли. Ребята видят в Вере Тимофеевне взрослого постороннего человека, способного справедливо рассудить.

– Ну так отойдите от школы, стекла можете побить. Она потому и ругается. Что на спортивную площадку не пойти – там сколько хотите бросайте, никто слова не скажет.

Мальчишки несколько секунд соображают, потом один за другим тянутся за школу. На прощание некоторые из них строят бабе Поле рожи, отчетливо слышен по-детски трусоватый матерок.

Уходит и баба Поля. Под вытянувшейся старой кофтой видны худые лопатки, сама кофта на локтях кое-как, по-старушечьи заштопана, и Вере Тимофеевне становится жаль сторожиху. Жаль еще потому, что жить

так нельзя, как она живет. Зла и горя без того много, зачем делать, чтобы больше становилось?..

Она вздыхает и тоже направляется к школьному крыльцу.

Когда она вымыла пол у первоклашек и на всякий случай толкнулась в дверь школьной мастерской – здесь тоже иногда просили убрать, – ей никто не открыл. Но голоса в мастерской слышались явственно. Вера Тимофеевна уже готова была уйти – мало ли почему дверь заперта, – как стукнула задвижка, и она увидела Валерия Геннадьевича. Военрук быстро глянул по коридору в одну, потом в другую сторону и потянул Веру Тимофеевну к себе.

– Заходи, хозяйка! Ты всегда кстати, заходи!..

Ничего не подозревая, она вошла и услышала, как щелкнула за спиной задвижка. В углу за столом мастера сидел Юрий Сергеевич, молодой учитель русского языка и литературы. На столе видна была небогатая, мужской рукой сделанная закуска и стояли два стакана. Вид у Юрия Сергеевича был смущенный.

– Садись, хозяйка, садись! Ты извини, мы здесь бизнес наш спрыскиваем. Ну, с телефонами, знаешь! Нехорошо, конечно, понимаю, каюсь – в школе распиваем и так далее, но... – Военрук выудил из-под стола бутылку с остатками водки, громыхнув выдвигаемым ящиком, достал третий стакан. Раскаяния в его голосе что-то не чувствовалось. – Да оставь ты свое ведро, садись! Положено! Если бы не ты, в грязи утонули!..

Вера Тимофеевна не знала, что делать. И отказываться неудобно – все-таки от всей души человек, а с другой стороны – школа. Действительно нехорошо. Да и Мишка должен скоро проснуться.

Велерий Геннадьевич забрал у нее из рук ведро и швабру, почти силой усадил за стол.

– Ты не беспокойся, директора нет, уехала в районо, коллективную пьянку не припишут. Мы недолго, сейчас разбежимся. Юрию Сергеевичу сочинения еще про-

верить надо. Как там, Юрий Сергеевич, тема звучит? Образ русского человека, страстотерпца и богоносца?..

Хотя Вера Тимофеевна чувствовала себя не в своей тарелке, все же удивленно глянула на военрука, потом на учителя литературы. В словах Валерия Геннадьевича слышалась ирония. Но Юрий Сергеевич никак на подковырку не отреагировал. Разве что раза два быстро провел рукой по своей молодой, даже на вид мягкой бородке. Рука у Юрия Сергеевича была белая, нежная, ни у кого из поселковых Вера Тимофеевна таких не видела.

Сказать по правде, Юрий Сергеевич ей всегда нравился. Своим благообразным, с бородкой, лицом, вежливостью, негромким голосом. Жаль только, такие учителя долго в школе не задерживались. Не приживались почему-то в поселке. Положенные три года отработывали и уезжали обратно в город.

На первый взгляд даже трудно было понять, что объединяло Юрия Сергеевича с военруком. Валерий Геннадьевич появился в школе недавно, в начале учебного года, а до этого служил в армии, был капитаном. Ухватистый, веселый, всех в школе называл на «ты», даже директора – совсем разные с Юрием Сергеевичем люди. Быстро наладил в школьной мастерской сборку телефонов, за деталями для них мотался в областной центр. Любил повторять: «Крутиться надо, пахать, а не яйца высиживать! Напор и энергия!..» Вера Тимофеевна слышала, что уже появились первые деньги, ребятам за работу в мастерских стали платить. Что ж, дай бог, жизнь сейчас у всех тяжелая.

А в общем-то, понятно, что их объединяет. Двое в школе мужчин – остальные учителя женщины. Они вдвоем и уроки труда ведут, и физкультуру, и рисование с черчением, а теперь еще этими телефонами занимаются.

– Страстотерпец и богоносец, верно я тебя понял?
– Военрук, подавшись всем телом к Юрию Сергеевичу, весело смотрел на него. До прихода Веры Тимофеевны

у них, похоже, шел какой-то свой разговор, может быть, спор. – Кроткий и многотерпеливый, говоришь? Готовый все прощать? Интересно! Похвальные качества, уважаю таких людей. Вот только объясни мне такую вещь, Юра. Что ж такие люди все время в дураках остаются? А? Объясни, дорогой!..

Юрий Сергеевич молчал, улыбался, крутил в руках стакан с водкой на доньшке. Потом поднял почему-то глаза на Веру Тимофеевну, тихо сказал:

– За вас. Будьте здоровы и счастливы.

Вера Тимофеевна покраснела от удовольствия. Молодой, а знает, как к человеку подойти. Вслед за мужчинами пригубила свой стакан.

– Не уходи от ответа, Юра, не уходи! Ты джентльмен, видим и ценим, но как же главное? – Валерий Геннадьевич подхватил со стола ломтик неровно нарезанной колбасы, принялся энергично жевать. – Ты мне ответь, дорогой, ответь! А то ведь странные догадки лезут в голову. Не специально ли кротость культивируется? Зри в корень, как учили классики марксизма-ленинизма. Вам кротость и смирение, а мы по другим правилам будем играть, нам смирение вроде как-то ни к чему! Стричь вас будем, а вы нас за то благодарите! Неплохо придумано, а? Здорово?!

Юрий Сергеевич поморщился, опять опустил глаза.

– Пошло, Валера.

– Э, не-е-т, дорогой! – еще больше загорелся военрук. – Ты на землю спустись, теория практикой поверяется!.. Возьми мой случай. Выперли из армии, а у меня трое детей и квартиры нет. Пенсии, заметь, не положено, мне до нее – как медному котелку. Хорошо, мать приняла, к ней семью привез. Черт с ними, я не жалею, на гражданке интересней, если не лодырь и голова на плечах. Не в этом дело! По твоей логике, мне отцам-командирам, начиная с Ельцина, еще и в ножки поклониться? За то, что как собаке дали под зад коленом. Так?.. Очень уж им удобно, Юра, когда человек

безответный. Делай что хочешь, он стерпит. Ну уж нет, дорогуши, извините!..

Юрий Сергеевич сдержанно поглядывал на военрука.

– Прости, Валера, как-то приземлено у тебя выходит, – наконец сказал он своим негромким голосом. – Есть еще духовные ценности. Ради них на крест шли...

– Кто же против! – даже всплеснул руками военрук.
– Кто против!.. О другом я. О человеческой подлости. О великой человеческой подлости! Самое лучшее поворачивают так, чтобы выгода была. Ну не скотство, а? Что за страна у нас такая? Почему нельзя с людьми по-человечески? Ну что все экспериментировать? Большевики экспериментировали, эти пришли – опять! Снова за идиотов нас принимают!.. – Валерий Геннадьевич вдруг замолчал и уперся взглядом в Веру Тимофеевну.
– Твое мнение, Тимофеевна? Как считаешь?

Вера Тимофеевна совсем уж было собралась взять ломтик колбасы – очень заманчиво она пахла, – но при словах военрука опустила на колени руку. Неловко брать, когда на тебя смотрят. Идти надо. У мужчин свои разговоры, а у нее еще дел полно. Хороший человек военрук. Если у Бори такие командиры, то в обиду не дадут. После того, как сына призвали в армию, она с особым вниманием присматривалась к каждому военному.

И все же Юрий Сергеевич лучше! Ближе как-то, что ли. Свой, понятный, хотя из города.

– Ну, спасибо вам. Пойду, внук закрытый сидит. Испугается.

– Эх, Тимофеевна, покидаешь нас! – расстроился уже заметно захмелевший военрук. Он достал пригоршню жвачек в ярких обертках. – Бери, внуку! И тебе будет. С декабря думаю платить за уборку. Отдельно! А что? Помнишь, стихи такие учили: каждый труд у нас почетен где какой ни есть... Русский человек не скотина! Это вы бросьте!..

Юрий Сергеевич с улыбкой, снисходительно смотрел на военрука. Так и не выпитая водка колыхалась в его стакане.

Вечером наступает ее лучший час. Постирано и развешено дочкино белье, накормлен, уложен спать Мишка, в доме спокойно и тихо, и даже голова не болит, как обычно по вечерам. Может, потому, что погода переменялась. Или от радости, что письмо сын прислал.

Всю вторую половину дня в душе у Веры Тимофеевны будто веселый родничок играет. Она не торопится читать Борино письмо, все откладывает на потом, и от предчувствия хорошего впереди дела делаются быстро и легко.

Но вот наконец вечер, все дневные заботы позади, можно сесть и почитать. Вера Тимофеевна дожидается, когда у себя за занавеской отшепчет молитву и уляжется спать недавно откуда-то вернувшаяся свекровь, и идет в приделок. Даже программу «Вести» не смотрит, хотя обычно не пропускает, напряженно ловит каждое сообщение, где хоть что-то говорится об армии, о горячих точках.

Она достает письмо и осторожно, аккуратно вскрывает конверт. Прислонившись спиной к теплой от печки стенке, разворачивает двойной листок из тетради в клетку. Глаза ее бегают по строчкам, губы улыбаются.

Боря пишет, что служба идет нормально, он жив и здоров. Правда, их часть перебросили на новое место, и он никак не может привыкнуть к здешнему климату – конец октября, а жарко, будто летом. Дома, наверно, вот-вот снег выпадет, а здесь деревья в долинах зеленые, снег только на вершинах гор. Ничего, через семь месяцев дембель, домой, не так уж много и осталось...

Вера Тимофеевна будто наяву видит серьезное лицо своего Бори, взрослую поперечную морщинку на лбу и пухлые, совсем ребячьи губы. Она еще раз перечитывает письмо, но уже медленно, стараясь не пропустить ни

единой буковки. Потом опускает руку с письмом, долго стоит, прислонившись спиной к теплой стенке. Ей хорошо и покойно.

Только сейчас она чувствует, как устала за день. Выходит в коридор, задвигает на дверях засов. В коридоре холодно, слышно, как бьется в стены дома ветер. Наверно, тучи нагонит, дождь будет. Не забыть бы завтра воду из банок на чердаке слить... Вера Тимофеевна возвращается в приделок, выключает свет, идет на ошупь в избу и раздевается.

На постели сонно дышит Мишка. Вера Тимофеевна подвигает его к стене, ложится рядом. Она обнимает родное теплое тельце. В общем-то, и хорошо, что внук у нее будет жить. И самой веселее, и дочери полегче, что ни говори. Лишь бы за ум взялись...

Лежать рядом с Мишкой уютно. Вера Тимофеевна начинает ровно дышать. Сами собой закрываются глаза. На грани между сном и явью, как большая медленная рыба, проплывает мысль: «С Борей бы ничего не случилось. С Борей бы...»

Мысль беспокоит, сердце от нее тревожно вздрагивает, но сил уже нет, и Вера Тимофеевна засыпает.

Последнее, что она слышит, это порывы сильного ветра за окном.

ТЕЛЕФОНОГРАММА

Михайловский райвоенкомат предлагает Федоровой В. Т. прибыть за телом ее сына Федорова Б.М., погибшего при исполнении воинского долга. Гроб с телом Федорова Б.М. находится в морге районной больницы. Часы работы морга с 9.00 до 18.00.

Передал дежурный по военкомату старший лейтенант Михеев.

*Приняла секретарь поселкового совета Гречнева.
10 ч. 35 мин. 8 декабря 1992 г.*

ДОМОВОЙ

Рассказ бывшего горожанина

– Ходит... – шепчет Света.

– Что?

– Ходит, говорю... – Жена кивает на потолок, и я чувствую, как напряженно замирает ее тело.

– Тебе показалось. – Мне хочется, чтобы мой голос прозвучал как можно небрежней. – Это ветки по крыше стучат, ветер вон какой.

Света не отвечает. Она все так же напряжена, несколько секунд еще вслушивается, потом, быстро вскочив с постели, торопливо убирает в телевизоре звук.

Теперь и я слышу что-то вроде шагов на чердаке. Ветки черемухи, которая растет возле нашей избушки, так стучать не могут. Но мне надо успокоить жену, и я зеваю, буднично говорю:

– Завтра спилю, ложись.

Света какое-то время еще прислушивается к шагам наверху. Они быстрые, кажется, кто-то невысоконький, светливый ходит по чердаку из угла в угол, на минуту остановится, будто задумавшись, потом опять принимается торопливо топотать.

– Ложись, ложись, все нормально. Сама подумай, кто здесь может быть?

Света вздыхает, идет за фанерную перегородку, и я слышу, как она поправляет на Танюшке одеяло. Сонное дыхание дочери, исходящий от нее покой, видимо, приглушают Светины страхи. Тем более, что топотание сверху замолкает.

– Странно все это, – роняет жена и, выключив наш старенький черно-белый телевизор, ложится в постель.

Я знаю, о чем она сейчас начнет говорить – это уже

не в первый раз, – и потому засовываю руку ей под голову, придвигаю ближе к себе.

– Ладно, спи. Завтра ветки спилю, и все прекратится.

– Странный дом. Странная деревня... – сонно бормочет жена. Через минуту она уже посапывает.

Мне не спится. Я осторожно высвобождаю руку из-под ее головы и, стараясь не шуметь, поднимаюсь, иду на кухню. Открываю заслонку и курю в открытую дверцу печки. Тихо, только слышно, как стучит будильник, и возятся в подвале мыши. Я представляю темный, глухой простор вокруг нашего домика, его непостижимую древность и безразличие ко всему живому – и мои плечи ознобно вздрагивают.

В деревне наша семья недавно. Хотя о том, чтобы уехать из города, мы с женой поговаривали несколько лет. Поначалу это было нечто необязательно-мечтательное – хорошо бы, мол, избушку в деревне купить, и чтобы небольшой огород рядом, тепличка... Потом, в конце восьмидесятых, когда приходилось рыскать по магазинам в поисках хоть каких-то продуктов, наше желание оформилось отчетливей.

В самом деле, можно ли так зависеть от цивилизации, как городской человек? В деревне посадил огород – и осенью с картошкой, капустой и многим другим. Принес из колодца воды – и нет тебе дела до того, работает или не работает водопровод. Заготовил на зиму дров – и в доме тепло. Ты почти не зависишь от других людей, от того, что власть устроила со страной.

Окончательным толчком стал постперестроечный бардак. На ту зарплату, которую мы со Светой с задержками получали, едва удавалось сводить концы с концами. Танюшка как-то сказала, не по-детски вздохнув: «Мы в этом году даже яблок не ели». Так что долго думать не пришлось, когда появилась возможность уехать на Север – там (вернее, здесь) Свете обещали место бухгалтера в деревенской администрации. Со временем надеялся найти работу и я. Собрались и переехали

мы быстро, будто спасались от стихийного бедствия.

Новичков везде принято дурачить. Я не удивлюсь, если сегодняшние шаги на чердаке тоже из этой серии. Не могу без улыбки вспоминать смятение, в которое приводило моих дам таинственное постукивание в окно. Началось это в августе, когда мы только что приехали и вселились в пустующую избушку. По вечерам неожиданно раздавалось: тук-тук... Пауза, и опять: тук-тук... Я откидывал занавеску, всматривался в темноту, но никого не видел, естественно. Тогда выходил во двор, но и там никого не было. В конце концов, оказалось, что это «постукалочки». В угол окна пацаны подвешивали на нитке маленькую картофелину, а с другим концом нитки прятались где-нибудь в бурьянах за оградой. Время от времени они дергали за нитку, и картофелина постукивала в стекло. Так здешние мальчишки заявляли о своем интересе к нашей дочери, новоя в деревне девочке. Всего лишь.

Были и еще случаи. Они поначалу тоже казались таинственными, но затем им находилось объяснение...

Спать! Я тушу сигарету, закрываю печную заслонку. Завтра утром поднимусь на чердак и все выясню. Наверняка и на этот раз обойдется без мистики.

События следующего дня заставляют меня чесать в затылке. На чердаке я не обнаружил никаких следов. Да и откуда, собственно, им взяться? Если бы наш домик находился в городе, можно было бы предположить, что это бомжи забираются на чердак ночевать – поближе к теплому дымоходу. И неосторожно при этом топают. Но в деревне бомжей нет. Тогда откуда все же шаги? Вчера я их слышал отчетливо.

Я еще раз внимательно осматриваю полутемный чердак. Обмазанный глиной внушительный дымоход, уходящий вверх, к крыше, какие-то потрескавшиеся старые туфли с задранными носками и полуистлевшее тряпье в углах, брошенное прежними хозяевами избушки... На всем – мохнатый слой пыли...

На мгновение мне становится не по себе. Меня вдруг охватывает чувство, которое я испытал вчера возле печки, когда представил бесконечный темный простор вокруг нашего жилища. Ощущение чего-то чужеродного и не очень дружелюбного. Начинает казаться, что у чердака существует своя жизнь, потаенная и непонятная мне, приезжему человеку. Чувство это мимолетное, но острое, и я с облегчением вздыхаю, спустившись по лестнице вниз.

– Ну, как? – слышу из-за ограды. – Разобрался?

Это Света. Румяная, разогревшаяся от ходьбы, она стоит у калитки. Неужели уже двенадцать часов, начало обеда в администрации?.. Мне казалось, что пробыл я на чердаке минут десять – пятнадцать, не больше.

– Ветки по крыше стучали, что еще, – говорю я и смотрю на жену правдивыми глазами. – Сейчас возьму ножовку и спилю.

Света укоризненно качает головой.

– Что ты лапшу мне вешаешь? Ты ветки еще осенью спилил, когда бури начались!.. Пошли в дом. – И уверенным хозяйским шагом она направляется впереди меня.

Я еще под впечатлением пережитого на чердаке, тем не менее, усмехаюсь про себя. Никак не могу привыкнуть к тому, как Света за последнее время изменилась. В нашей семье она всегда была на вторых ролях, однако здесь, в деревне, стала другой. У нас с ней все хорошо, мы по-прежнему всерьез не ругаемся, но я с удивлением смотрю, как хватко она управляетя с печкой, как моет полы, шлепая босыми ногами по мокрым доскам и высоко подоткнув халат, как может до пота гонять чай, обмахиваясь ладонью...

Она вошла в деревенскую жизнь так легко, будто выросла здесь. Все-таки, видимо, сказываются гены бабушек, они у Светы обе были деревенские. И зря, выходит, я боялся, когда мы ехали сюда, – ведь не всякая городская женщина способна осилить здешний быт.

– Это о н, – говорит Света уже в доме, устраивая на плечики свое недавнее приобретение, модную в деревне собачью шубу.

– То есть?

– О н, – повторяет жена и что-то шепчет, преувеличенно артикулируя губами.

– Домовой? – догадываюсь я.

– Тс-с! – Света предостерегающе поднимает палец. – Нельзя вслух говорить, так женщины на работе сказали!.. Ты не смейся, я серьезно.

– Голимая правда, – подначиваю я, специально употребляя местное словечко.

Жена словно этого и ждала. Она принимается напористо допытываться:

– А как ты объяснишь, что по чердаку кто-то ходит? А почему у меня кастрюли с полки падают постоянно? Почему счетчик шуршит, когда все в доме выключено?..

– Ты еще вспомни, как шест с антенной скрипел.

– Ну и что? – не сдается жена. – Может, это о н шест качал, а не ветер!..

С телеантенной тоже была история. Когда выпал первый снег и подули северные ветры, моим дамам стало казаться, что вокруг нашей избушки кто-то упорно ходит – настолько отчетливо раздавался скрип снега. Больше всего Свету пугало, что утром никаких следов нельзя было увидеть. В итоге выяснилось, что это терся о стену дома и скрипел шест с антенной, раскачиваясь от ветра.

– Женщины на работе говорят, е г о надо задобрить. Мы ведь, как въехали, ничем е г о не угостили. О н недоволен.

– Ты сто граммов поднеси, здесь это любят, – посмеиваюсь я.

Света машет рукой:

– Ну тебя! С антенной ладно, а почему счетчик шуршит?.. Ага!

С электросчетчиком у нас действительно происхо-

дят странные вещи. Ни с того ни с сего он вдруг начинает тихо пощелкивать, журчать, словно заводит одному ему понятную песенку. И это при всех выключенных лампочках. Сначала я думал, что счетчик неисправен и позвал здешнего электрика. Оказалось, все нормально. Света считает, что это домовой со счетчиком играет. Логика у нее железная: раз объяснить не могу, значит – домовой.

– Делай что хочешь, – в свою очередь машу рукой я. – Ублажай своего домового. Только пообедать не забудь, полчаса до конца перерыва осталось.

Вечером Света непривычно долго возится на кухне. Ложась в постель, она говорит:

– Ночью не ходи курить, ладно? Ты е го спугнешь.
– В ее голосе слышится странная умиротворенность.
– Кого? – не сразу понимаю я. – Домового, что ли?
– Смейся, смейся. – Света устраивается поудобней, она уже вся в предвкушении «Санты-Барбары», очередная порция которой вот-вот начнется по телевизору. – А ты обратил внимание, что сегодня никто по чердаку не ходит?..

– Когда все выяснится, ты сама будешь смеяться.

Жена не считает нужным отвечать, таинственная улыбка бродит по ее лицу. Мне интересно знать, что она придумала, но засыпаю я на этот раз быстро, раньше, чем заканчивается «Санта-Барбара». И лишь утром, собирая Танюшку в школу, обнаруживаю на кухне ломь хлеба и чашку, полную молока.

– Это для кого?

– У мамы спроси.

– Я знаю! – вдруг радостно шепчет Танюшка и делает большие глаза. – Это мама е го угощала!..

В ее словах столько интереса и веры, что я невольно хмурюсь. Похоже, игра зашла слишком далеко. А Танюшка огорченно добавляет, внимательно осмотрев чашку с молоком и хлеб:

– Не стал есть. Опять будет хулиганить!..

На следующую ночь мы просыпаемся от грохота. На кухне упала с полки кастрюля. На мое ворчание, надо, мол, хорошо ставить посуду, Света и прибежавшая из-за своей перегородки в ночной рубашке Танюшка не реагируют. Они только понимающе переглядываются. А через день у нас дома появляется котенок с непомерно большими ушами, которого дочь выпросила у кого-то из одноклассников.

– Кошки с домовыми дружат, – авторитетно поясняет она. – Домовые от этого добрее становятся.

– Ну-ну, – хмыкаю я. Однако уверенности во мне поубавилось. Счетчик у нас по-прежнему шуршит даже при выключенных электроприборах, и раза два в неделю обязательно слышны шаги на чердаке.

Зимние вечера в здешних местах удивительны. В полнеба полыхает закат, черные ели пестры от лежащего на ветвях снега, занесенные по окна избы будто присели, прячутся в сугробах...

От всего вокруг веет покоем и древностью. Так было, наверно, и сто, и тысячу лет назад. Этот неохватный закат, тонущая в снегах деревня, неспешная, скучноватая, но все же до конца непостижимая жизнь за стенами домов...

От города у нас осталась привычка гулять по вечерам. Если, конечно, не выюжит и мороз позволяет. На этот раз Танюшка взяла с собой котенка. Она его закутала в старое махровое полотенце, время от времени заботливо склоняет к нему голову и спрашивает, не замерз ли он. Котенок испуганно смотрит на снег, на свернувшихся клубком у калиток больших лохматых псов, и глаза у него величиной с блюдце.

– Какой домовой с таким трусом подружится! – фыркает Света.

Танюшка принимается защищать котенка. Разговор у них возвращается к любимой теме. Мне мои дамы на-

доели со своим домовым до чертиков, но ничего сказать я не могу. Сразу начинаются ехидные вопросы, как я объясню то-то и то-то. И главное, почему ничего не делаю, чтобы это прекратилось. Но что можно сделать, если сам не можешь ничего понять?..

– Все! Хватит, – вдруг говорит Света и решительно останавливается посреди деревенской улицы с высокими голубыми сугробами по обочинам. – Идем домой. Я с н и м сама поговорю.

– С домовым, мам? – голос у Танюшки замирает от ужаса и восторга.

– С домовым. Только, чтоб не мешали. Слышишь, папа?

Я пожимаю плечами. Положение у меня дурацкое. Относиться к этому всерьез не позволяет здравый смысл, а возразить нечего.

– Идите, я сейчас, – говорю уже у нашей избушки. Нахожу себе работу: беру лопату и принимаюсь отбрасывать снег от калитки.

Дома я появляюсь через полчаса. Топаю, отряхиваю с валенок снег, растираю прихваченные морозом уши.

– Тихо! – еще в тамбуре встречает меня дочь и ведет за руку в комнату, усаживает на диван. – Посиди здесь.

Я слышу Светин голос на кухне, но что она говорит – понять невозможно. Угадывается лишь тон, интонация. Жена то напевает, то ее голос вдруг переходит на шепот и его почти не слышно, то она произносит что-то повелительное, властное, то опять появляются угаривающие нотки...

Слышать все это странно, даже дико, но я молчу. Что-то древнее, непостижимое начинает чудиться в голосе жены – почти такое же, как простор вокруг избушки, как сокровенный свет зимней зари, как затаенная жизнь забытой в снегах деревни.

– Поговорила. – Света наконец появляется в комнате. Она такая же, как обычно, может – чуть бледнее. «Пошаманила?» – так и подмывает меня спросить, но

я сдерживаюсь, понимаю, насколько это сейчас неуместно.

– Чаю хочешь?

– Хочу, – говорит жена и тяжело опускается рядом.

– Устала... Покрепче сделай.

Интересней всего то, что с тех пор непонятные события в нашем доме прекратились. Не падает больше посуда с полок. Никто не ходит по чердаку, и даже счетчик перестал напевать свои странные песенки.

Иногда я ловлю себя на том, что пристально смотрю на Свету. Самый, казалось бы, близкий человек, знакомый во всех подробностях, до мельчайших складочек на теле...

– Ты что так смотришь? – перехватывает мой взгляд жена.

– Ничего. Тебе показалось. – Я быстро отвожу глаза.

И чувствую, как ознобный холодок пробегает между лопатками.

ЧЕРТОВЩИНА

Конечно, над этим случаем можно было посмеяться. Деревенские мужики так и делают. Ситуация всем понятна, поддали Игрунов с Федунем на посту, им всякая хренотень и стала мерещиться!..

А что ни один, ни другой особой дружбы со змием не водят и уж тем более до белой горячки никогда не допивались, это наших мужиков не колышет. «Посиди на посту две недели, не хочешь, а потянет расслабиться, – рассуждают они. – Кто меру знает, хорошо. А кто нет, у того и глюки начнутся».

Одним словом, Игрунову и Федуну никто в деревне не верит. Они особенно и не стараются свое доказать. Федун недавно из зоны, до сих пор исподлобья на всех смотрит и желваки катает. Такой вступать в лишние разговоры считает западло. Игрунов тоже помалкивает. О неграх с острыми головами, которые из-под земли выскакивают, рассказал Гошка-шаман. А к нему какое доверие? Вот кто бухает не просыхая! В любой час дня и ночи к нему можно зайти с бутылкой. Гошка всех принимает с радостью.

Лично меня эта история заинтересовала вот почему. Уж очень она совпадала с кое-какими мыслями насчет нашего края, гремевшего раньше на всю страну, а теперь тихо доживающего. У меня перед глазами прямо-таки стоит такая картина. Затянутое ряской озеро, а в него вдруг падает здоровенный камень. Заколыхались водоросли, разбежались в стороны водомеры, метнулись мальки и другая озерная живность. Но вот успокоилось всё, опять затянуло ряской место, где упал камень, вернулись водомеры и рыбешки. Опять пошла жизнь, которая была в этом озере испокон веку...

Короче, мне очень хотелось узнать, что у Игрунова с Федунот случилось на посту. С Федунот дело глухо, не расскажет, а вот на Саню Игрунова я надеялся. Он мужик нормальный – если с подходом, расколоть можно.

Как-то в феврале дней пять мороз стоял под сорок. Колонка замерзла, и люди ходили за водой к нам в котельную. Игрунов пришел тоже. Слово за слово, хреном по столу, я его позвал в операторскую, заварил чай, стал расспрашивать, почему купил новые гусьнки для своего «Бурана» и все такое. Потом перевел разговор на недавний случай, когда одна наша старушка отказалась жить в своем балке. Он у нее стоял на отшибе, у самого леса. Старушка жаловалась, что ей то ли черти, то ли пришельцы стали являться. Дело кончилось тем, что старушке дали комнату в заброшенном общежитии нефтяников. Всё ближе к людям. В свой балок старушка возвращаться категорически отказалась – боюсь, мол.

– А чего, я ей верю. Почему люди думают, что такого не бывает?.. Ученые говорят, есть параллельные миры, которые пересекаются с нашим. В точке пересечения и случается всякая чертовщина.

Я говорил все это, а сам посматривал на Игрунова. Ключет или нет?.. Видно, у мужика и у самого накипело, а может, мой чай располагал к доверительности. Короче, забыл Саня о фляге с водой, что в котельной набрал, и стал рассказывать.

Недели две назад ему позвонил Федун. Саня в тот день дотемна ставил под лед сети, намерзся и потому на телефон посмотрел недовольно – отдохнуть не дают. Но телефон звонил так настырно, что пришлось взять трубку. «Тряпочкин в деревне! – рявкнул по телефону напарник. – У Шамана оттягивается. Говорил я тебе, не давай денег, подставит!..»

Федун был злой и, в общем-то, по делу. Только вчера они отвезли нашего деревенского бича Тряпочкина на пост, чтобы сидел вместо них и в положенное время выходил на связь с диспетчером. А тот, оказывается,

вернулся обратно. Получалось, на посту теперь никого нет. За такие дела Саню с Федунот могли уволить. Сейчас это запросто, кругом сокращения.

«Я к Гошке-шаману, – сказал Саня жене. – Тряпочкин у него пьет, пойду шугану, пусть обратно возвращается». Жена хлопнула себя по ляжкам: «Вот козел!..» Они в тот вечер собирались пораньше лечь, все-таки не виделись больше недели и от воздержания у обоих челюсти сводило. Сане было досадно, но он все же удивился. С чего это Тряпочкину не сидится на посту? Дома у него шаром покати, а они с Федунот ему рюкзак продуктов оставили. Неужели пятьдесят рублей торопится пропить?..

Когда Игрунов шел к Гошке-шаману, он думал, что Тряпочкин сразу начнет извиняться. А тот посмотрел, как на пустое место. Это Саню больше всего задело. «Не понял! – сказал он. – Ты где должен быть?!» Тряпочкин вдруг сполз с табуретки и стукнул о пол коленками. «Не пойду я туда!.. Полтинник я тебе отработаю, огород тебе посажу, картошку окучу, только не посылай!..» Сане даже неловко стало. Все-таки пожилой мужик, а на коленях. «Э, сломался, – подал голос Гошка-шаман. Он уже был порядком пьяный. – Слабый ты, Тряпицын!.. Это не черти, это наши боги пришли. Раньше вы их гоняли, теперь они вас гонять будут... Ты, Тряпицын, кто такой? Ты, Тряпицын, ЛЭП тянул, у сейсмиков работал – богов пугал, спокойно жить не давал. Теперь типа они...»

Игрунов на Гошкину болтовню внимания не обращал. «Ты нас с Федунот подставил, понял? Нас с работы турнут, врубаешься?» Тряпочкин опять запричитал: «Не пойду, не заставляй! Боюсь я, меня водка не берет!..» Бесплезно разговаривать. Саня с досады плюнул и хлопнул дверью Гошкиной избушки. Звезданулса мужик!.. Делать однако нечего, ему или Федуну надо срочно ехать на пост.

С Федунот тоже проблема. Когда он узнал, что Тря-

почкин не хочет возвращаться на пост, глаза у него стали бешеными. «Уделаю гада! – Федун сорвал с вешалки куртку, чтобы идти разбираться. – Он у меня дерьмо будет хавать!..» Саня едва уговорил, чтобы Федун не горячился, а сел на «Буран» и ехал на пост. Завтра он его сменит, только сети с утра проверит.

А следующий день всё еще непонятней стало. Часов в девять Игрунов услышал, как возле дома остановился «Буран». Жены уже не было, довольно напевая, она час назад ушла на работу. Расслабленному Сане вставать не хотелось, но он все же приподнялся и посмотрел в окно. Снегоход был Федуна. Сам Федун сидел на нем прямой как столб и не двигался. «Ты чего? На посту был?» – сказал Саня, по-быстрому одевшись и выйдя на крыльцо.

Федун помял пятерней красное от мороза лицо и посмотрел на него задумчиво. «Понимаешь, здоровая такая жаба. И какие-то люди с острыми головами. Я стреляю, а им хоть бы хрен. «Буран» нефтью измазали». – «Ты про пост, что ли?» – «В натуре, не думал, что такое может быть. – Федун вопроса будто не слышал. – Главное, картечь не берет. Ни жабу, ни тех с острыми головами».

Саня молча постоял. Похоже, на посту и в самом деле что-то происходило. Федуна просто так не пройдешь, повидал мужик на зоне всякого. «Может, показалось?» – на всякий случай спросил он. Хренотень какая-то. Скажи диспетчеру, в конторе точно решат, что на посту перепились. «Тоже показалось? – Федун мотнул подбородком на залитый нефтью капот «Бурана». – Где только ее взяли? Нефть давно вокруг выкачали... И что интересно, по-хантыйски говорят».

– И тут, понимаешь, меня будто токомшибануло! Вспомнил, как перед этим Гошка-шаман насчет их богов что-то такое говорил. Ты не думай, я в это особо не верю, но как-то все одно к одному...

Игрунов внимательно посмотрел на меня. Он будто ждал, не усмехнусь ли я. Даже кружку с чаем в сторону

отставил, так ему важно было, как я себя поведу. А как я мог себя вести, если мне интересно и я смысл в этом чувствую?.. Игрунов успокоился.

– Так вот, Федуну говорю, давай, мол, к Шаману. Делать что-то надо!.. Шаман, понятно, еще спал. Возле печки на телогрейке кемарил Тряпочкин. Ну и запах соответственный, всю ночь они пили. Я Шамана толкаю: «Похмелиться хочешь?» Ему два раза повторять не надо. «Почему бы и нет?» – говорит. Настроение у меня не то было, но я даже засмеялся. С Гошкой мы учились в одном классе, он всегда был прикольный. Мать его от кого-то из нефтяников родила, но Гошка считал себя чистокровным хантом. Ходил в малице, не стригся и даже смастерил себе бубен по рисунку из книжки, чтобы шаманить. У него и кликуха потому такая. «Короче, – говорю, – бери с собой бубен и поехали». – «Куда?» – «Где наливают».

Дорогу на наш пост ты знаешь. Там еще несколько законсервированных кустов с качалками встречается. Сейчас кусты снегом занесло, смотреть тоскливо. Пару лет назад все по-другому было, все работало... Ладно, едем. Впереди Федун газует, у него ружье за спиной расчехленное. У меня на заднем сиденье Шаман с бубном... Кто бы посмотрел со стороны – цирка не надо, сбрендили мужики! В таком виде на пост!..

Наш вагончик мне еще издали не понравился. В чем дело, сказать не могу, но увидел и чувствую – вражда какая-то от него. Нормально, да? Дежурю шестой год, он мне родным стал, а такое. Ближе к кусту подъехали – японский бог! Будто Мамай прошел!.. Стекла в вагончике побиты, стены облиты нефтью, все ценное оборудование с кустов, которое мы с Федуном должны охранять, разбросано. А это тонны веса!.. Федун ружье снимает и как саданет с обоих стволов в воздух. «Ты чего?» – «Они шума боятся».

У меня сомнений уже нет. Люди такого не могли сделать, пост в глухом урмане и подъездов для техники

никакой. «Давай, – говорю Гошке, – шугани злых духов или как там вы их называете. Ты по этой части вроде спец». Шаман неторопливо с «Бурана» слез, обошел наш вагончик и головой качает. «Однахо, тяжелый случай, – солидно так говорит. – Люти Ным-ху из Нижнего мира прихотили. Польшая сила требуется, чтобы их прогнать. Подкрепиться, однахо, нато». И по горлу себя щелкнул. Никогда у него акцента не было и «однако» не говорил, а тут прорезалось. «Ты без базара!..» – заиграл желваками Федун. Гошка быстро сориентировался. «Все понял. Костер раскладывайте, бубен буду греть».

Пока костер разгорался, я заглянул в вагончик. Здесь разор еще хуже. Очень надо быть злым на людей, чтобы такое устроить. Слышу, Гошка начинает бить в бубен. Выглядываю в разбитое окно, он топчется вокруг костра и стучит по бубну колотушкой. Серьезный такой, капюшон малицы откинут, длинные волосы развеваются, и что-то Гошка напевает по-хантыйски. Вот не думал, что он язык знает!.. Смотрю, понемногу заводится, все сильнее в бубен лупит, прыгать стал и выкрикивает какие-то слова.

Что интересно, мне смотреть на это совсем не смешно. Наоборот, мурашки по телу. Дальше еще чуднее. Два каких-то ханты из леса выскакивают и – к Гошке. Похожи друг на друга, как близнецы, в одинаковых длинных рубахах с орнаментом и делают все одинаково. Присядут вместе, встанут – как по команде. Зубы щерят.

Смотрю, ни хрена себе, они привязаны друг к другу ремнем. «Этих еще не было, – шепчет Федун. Он, оказывается, уже рядом со мной и бледный, как стенка. – А эту падлу видел». Из-за навеса с оборудованием ползла на полусогнутых здоровенная жаба, с наш вагончик величиной. Горло у нее раздутое, как пуховая подушка, глаза красным светятся. Жаба как прыгнет, задними лапами навес снесла и оказалась рядом с Гошкой. А там кроме двух привязанных друг к другу придурков уже какой-то дед в черном и с головой, как колун острием

вверх. Типа, клином. Хватает Шамана за ноги и пробует повалить на снег. Ему маленькие с черными лицами помогают, штук десять. А рядом старуха с седыми космами плачет, вся трясется, кулаки сжаты – неизвестно, кого жалеет. То ли Гошку, которому вот-вот кранты, то ли эту нечисть.

«Ну я вас!..» – закричал Федун и ружье вскинул. Он дикий стал. «Гошку не задень!» Громыкнуло так, что остатки стекол в вагончике посыпались. Всю нечисть будто ветром смело. Одна старуха осталась, от плача трясется. Смотрю – нет, не старуха, а чахлая сосенка на ветру дрожит...

«Говорил, сил много надо. Просто так их не возьмешь. – Это Гошка появился в вагончике. Едва живой остался, а вида не подает, что испугался. – Считайте, Ным-ху, Анки-пугас, их слуги...» – «Откуда знаешь?» – «В книжках читал, однохо. Как насчет опохмела? Обещал! Я что, зря рисковал жизнью?..» Пришлось налить. Я всегда с собой бутылку под сиденьем вожу. Мало ли какой случай...

Мазута в морозы мы не жалеем. Пламя в котлах гудело так, что в операторской, где мы с Саней Игруновым чаевничали, ложечки в кружках бренчали.

– На этом кончилось? – спросил я у Сани.

– Какое там. Гошка слабый шаман оказался. Сам понимаешь, самоучка... Нам вертолет помог.

– Вертолет?..

– Ну. За всей этой ерундой про связь с диспетчером мы забыли. В конторе всполошились, МИ-2 послали. Оборудование на посту все-таки ценное... Вертолет в самое время появился. После того, как Федун начал стрелять, нечисть исчезла, но ненадолго. Минут через десять опять вагончик окружили. Федун саданет дуплетом, они разбегутся, какое-то время пройдет, опять здесь. Весь запас Федун просадил. А вертолет как затахтел, вся свора смылась. Если б не он, не знаю...

– С начальством, наверно, пришлось объясняться?

Игрунов поморщился.

– Не напоминай... Но мы не лохи, не стали все рассказывать. А то бы точно уволили. Или в дурдом... – Он поднялся, скучно осмотрелся. Скользнул глазами по столу с пустыми кружками. На меня Саня старался не смотреть. Я понял, он уже жалеет, что разоткровенничался. Случай-то действительно странный...

Проводил я его до выхода из котельной. А тут и Гошка-шаман по улице идет с рюкзаком и лыжами-подволоками на плече.

– Здорово! Ты куда в такой мороз?

Гошка значительно посмотрел на нас.

– На стойпище, отнахо, иту. Олешек пасти путу, пелок стрелять... Как теты наши жить путу. – Гошка достал из расшитого бисером кисета медную трубку, которую я отродясь у него не видел, и принялся набивать табаком. – Слышали, еще на отин пост наши похи приходили? Знак нам тают.

Выглядел он, надо сказать, экзотично. Просторная малица, заиндевевшие длинные волосы, эта старинная трубка с кисетом... Еще акцент, которого у него никогда не было.

Порисоваться Гошка, конечно, любит – это за ним всегда водилось. Но у меня перед глазами опять вдруг возникла прежняя картинка. Разбежались по озеру круги, поколыхались и успокоились водоросли, опять затянуло ряской место, где упал камень...

Прежняя тишина и неподвижность. Лишь снуют у поверхности мальки и суетятся водомеры. Как сто, как тысячу лет назад. Как испокон века в лесном озере было.

РЕКА

Менять русло Река стала задолго до появления на рыбоучастке Олега. Дембель восемьдесят второго года, он завербовался на рыбоучасток, чтобы заработать на мотоцикл, и уже тогда Река подмывала старую черную контору, а противоположный берег был низкий и плоский, словно по нему долго елозил бульдозер. Это Река отступала в одном месте, чтобы рушить берег в другом. Противоположный берег пустым однако не был, он давно превратился в заливные луга, а по краю порос тесным тальником, но ощущение скучного голого простора оставалось. Легко верилось, что когда-то там текла вода и плавали чебаки, сорога и щуки.

Олег осваивал немудрящую профессию рыбака, пил водку с другими вербованными, среди которых встречались недавние зеки, как-то его порезали, и он почти два месяца пролежал в районной больнице. После случившегося мечту о «ИЖе» пришлось забыть – тяжело работать Олег больше не мог, пить тоже. Его поставили на женскую должность, приемщиком рыбы, появилось свободное время, и Олег стал задумываться о вещах, которые раньше не приходили в голову. Это уже при нем рухнула в воду старая контора, большими глинистыми пластами обваливался высокий берег, особенно в половодье, которое в здешних местах приходилось на июнь и захватывало часть следующего месяца. Потом наступила очередь ледника, тот погибал медленно, вкривь и вкось висели над обрывом еще крепкие бревна с ошметками слежавшегося темного мха. Видеть это было неприятно.

– А и хрен с ним! – говорил бондарь Киндинов, замечая Олегов взгляд. Когда не было работы, они сидели

на лавке у бондарки и курили, отгоняя дымом комаров и мошку. Из помещения остро, скипидарно пахло свежими заготовками для бочек, от оставшегося после половодья озерца слышались ломкие голоса. Там горел костер, возле него, сунув руки под мышки и зябко подняв плечи, грелись выскочившие из воды пацаны в обвисших мокрых трусах. В Реке здесь не купались, слишком холодная. – Чего его жалеть, ледник этот, теперь у нас морозильная камера на пять тонн. Мало мы жили с кабанями рвали? Считай, одной пердячей силой, техники никакой. Тебе не пришлось, а мне – эге!.. Теперь-то чего, теперь нормально, теперь до нас прогресс дошел.

«Кабанами» называли прямоугольные глыбы льда в тонну-полторы весом, их раньше пешнями выдалбливали в зимней Реке. Потом хитрыми приемами вываживали из воды, чтобы погрузить на сани и отвезти в ледник, в котором рыба хранилась летом до того, как ее забирали на рыбозавод на переработку. Рассказы об этом и многом другом, что было прежде, Олег слышал не только от бондаря, но и от рыбаков. В рассказах было немало удивительного. Соль, говорили, помогала поддерживать в леднике нужную температуру. А чебаков и щук, чтобы не теряли в весе, покрывали ледяной глазурью, окуная для этого в воду. Еще раньше, когда не было рыбозавода, копали большие садки и выпускали туда летний улов, чтобы зимой взять его неводом и отправить в Тобольск или даже Тюмень обозом... На рыбоучастке и рядом в деревне с интересным названием Рябинки шла жизнь, которую ни во время службы, ни тем более в доармейские годы Олег даже представить не мог. И это тоже казалось удивительным.

На мотоцикл он все же накопил, однако для этого пришлось работать несколько сезонов. Но в конце концов купил не его, а лодку и мотор «Ветерок». Когда денег собралось достаточно, Олег вернулся было в родной поселок на Тамбовщине, но там ему показалось как-то тесно и многолюдно, от чего он на Севере отвык.

Большинство друзей женились, холостые каждый день пили, и мечта гонять по широким пыльным улицам на «ИЖе», которая за годы после армии и без того потускнела, теперь вовсе сошла на нет. Недолго погостив у родителей, поскучав во время застолий (не пил), он вернулся на рыбоучасток и у одного рябинковского мужика купил моторную лодку. Тайная жизнь Реки притягивала его, хотя Олег этого толком еще не осознал.

Бензин в середине восьмидесятых стоил копейки. Запасаясь несколькими канистрами, Олег на десятки километров поднимался вверх или спускался вниз по течению, побывал в редких деревнях и объездил все окрестные старицы, по-местному, соры. Странно было думать, что Река текла когда-то здесь, а не там, где течет сейчас. Олег пробовал понять, отчего так происходит, что заставляет ее менять русло, какие неизвестные силы направили течение возле Рябинок на высокий и, казалось, несокрушимый берег, но у него не получалось.

– Хе, запросто! – отвечал бондарь Киндинов, с которым Олег сошелся ближе, чем с другими мужиками. – Нефтяники песок для своих кустов намывали? Намывали. А где его взять? Карьер, что ли, открывать, дорогу отсыпать, самосвалами возить?.. Ага, сейчас – из реки! Бросили трубы – и вперед! Стрежень поменялся, стал бить в наш берег. От стрежня вся вшивость, говорю тебе. Не нарушили бы – все нормально сейчас было!

Такое объяснение казалось Олегу слишком неинтересным, пресным, что ли. В нем не было сумеречной жизни ям с родниками, в которых собиралась во время заморов рыба, завихрения глубинных струй, выходящих на поверхность полированным неслышным бурлением, равнодушной мощи воды, неспешно двигавшейся с востока на запад. Олег спрашивал:

– А раньше почему? Стариц вон сколько. Тогда, наверно, и люди здесь еще не жили, а река менялась, текла по-другому.

Бондарь на секунду опускал голову, растирал сапогом бычок, потом стремительно вскидывал глаза:

– Охота тебе мозги сушить? Молодой парень, а стариковским делом занимаешься, думаешь-гадаешь. Лучше пошли сегодня к Марго, она двоих принимает тоже.

Киндинов был лысый, с курчавящимися над ушами остатками полуседых волос, однако оставался завязтым ходоком. Прилепи ему рожки – настоящий сатир, которого в детстве Олег видел в книжке древнегреческих мифов. Марго, бабенка со щербатым ртом, была известна в Рябинках любвеобильным нравом. Имя у нее такое было или просто кличка, никто точно не знал, разве что в сельсовете.

– Или ты свою Кирилловну боишься? О, та накостиляет, мало не покажется. Рука у нее – ого! Все остальное тоже. – Киндинов подмигивал, азартно подавался вперед. Он садился на любимого конька, сбить с которого его было невозможно.

– Что мне ее бояться?

– Это ты кому другому расскажи! Не захочешь, такая сама оприходуется. С голодухи, небось, зубы сводит. После Октябрьских третий год пошел, как мужик у ней утоп... Было у вас, нет?.. Нет? Ну и дурак! Жизнь-то идет. – Бондарь на секунду замолкал, пылливо смотрел на Олега. – Или ты на ее Женьку глаз положил?.. А чего, нормально, только молодая. Гляди, за малолетку срок схлопотать можно!..

У Валентины Топорковой, которую из-за комплекции звали по отчеству, Игорь стал снимать угол, когда после больницы ушел из общаги. Она работала на рыбоучастке засольщицей, без труда ворочала полные бочки, ее дом стоял на берегу Реки, чем Олегу сразу понравился. Возле него в ледоход собирались рябинковские мужики, курили, переговаривались и смотрели вверх по течению, прикидывая, скоро ли очистится вода. Настроение передавалось Олегу, он тоже смотрел на Реку, слушал разговоры, шуршание и легкий звон ка-

сающихся одна другой льдин, и внутри у него начинало мелко дрожать. Будто и он больше полугода ждал этого времени, и ему тоже предстояло спускаться на воду лодку и куда-то плыть. Олег не только купил моторку, но и обзавелся ружьем и сетями на стерлядку, которая заходила из Оби. Ружье и сети купил в основном для того, чтобы не говорили, что своими поездками вверх и вниз по течению мается дурью.

Часто он брал с собой Валерку, сына Кирилловны. Серьезному этому подростку, отличнику местной школы, тоже нравилась долгая езда вдоль поросших тальником берегов или «материка» с кондовыми остроконечными елями и кудрявыми кедрами, мимо вдающихся в Реку светлых отмелей (по-местному, песков), среди намытых течением недолговечных островов. Олегу казалось, Валерка тоже думает о тайной жизни Реки, приводящей к переменам. Как и он, помнит о ней даже тогда, когда они стреляют уток на старицах, ставят на дальних песках стерляжьих сети, а в половодье пригоняют к Рябинкам подмытые Рекой деревья, чтобы затем, когда большая вода спадет, распилить и топить зимой печку.

Похоже, смерть ушедшего под неокрепший лед вместе с «Бураном» отца не сделала Реку враждебной для Валерки. Смущаясь, он называл реки важными транспортными артериями, дорогами жизни, особенно в давние времена. Так было написано в учебнике. В самом деле, как еще связаться между собой людям, если болота и леса намертво отрезали населенные пункты друг от друга, словно запирали на замок. А ни железных дорог, ни обычных тогда еще не было, самолетов и вертолетов тем более. Только по рекам. Транспортные артерии, дороги жизни.

В горбачевские годы нефтяники организовали в Рябинках подсобное хозяйство. С продуктами становилось все хуже, рабочих же на месторождениях надо

было кормить. Платили в подхозе нормально, и многие рыбаки и засольщицы перешли туда, стали работать скотниками, доярками или на свиноферме. Тем более что рыбоучастку оставалось недолго. Река подмывала уже новую контору, подбиралась к бондарке и морозильной камере. Над обрывом повисли крайние венцы склада, из которого пришлось забрать сети, запас соли и остальное. Все чаще тяжелые пласты высокого, на вид вечного берега с грохотом рушились в воду. По ночам это напоминало далеко разносившиеся пушечные выстрелы. Рыбозаводовское начальство вместе с райисполкомом планировали берегоукрепительные работы, составили даже смету, но наступили времена, когда стало не до того.

– Что деется, что деется... – слабым голосом сокрушалась свекровь Кирилловны, коричневые мешки под ее глазами тряслись. Старуха давно болела, в основном, лежала, целыми днями слушала радиоточку, транслирующую съезды народных депутатов и другие перестроечные передачи. Смотреть недавно купленный черно-белый телевизор она не могла, жаловалась, что кружится голова. – В наши годы и не за такое ссылали. Тогда попробуй слово скажи, враз к черту на кулички упекут. А сейчас...

Олег улыбался:

– Дальше на Север, что ли?

– А что ты думаешь. Тятину семью из-под Увата сослали, тоже не юга. Тятя говорил, бьют и плакать не дают...

Старуха с паузами, передыхая, принималась рассказывать, как было раньше. Рябинки назывались Юртами Рябинковскими, до спецпереселенцев здесь жили одни ханты. Воровства не было, вместо замков прислоняли к двери батожок, дескать, никого дома нет. Продавать за деньги рыбу, кедровый орех или ягоду принято не было – давали так, в другой раз ты мне дашь. Спецпереселенцев записали в колхоз, выращивали всё, даже пшеницу.

Работать приходилось тяжело, но жили неплохо, чтобы голодать, этого не было. После войны жизнь снова переменялась. Колхоз распустили, на Севере, дескать, невыгодно, открыли рыбоучасток. Ничего, люди приспособились и к этому. А то не приспособишься, когда детей растить надо, самим жить. Чего эти по радио сейчас кричат? Каких таких перемен им нужно? Главного не переменяешь, что ни случись, а жить надо. Уж как казалось тяжело, когда тятину семью разорили, в дикое место сослали, а жили... Старуха замолкала, настораживалась.

– Чего это? Опять рушится?

Олег отрывался от дела, на несколько секунд застывал тоже. Но чтобы обваливался подступавший к дому Топорковых берег, слышно не было.

– Показалось.

– Какой показалось! У меня каждый раз внутри прыгат. Говорю Вальке, раскатывай избу, перебирайся отсюда пока не поздно. О Валерке и Женьке подумай, сама еще не старая!..

Олег чинил сети, вполуха слушал хозяйкину свекровь, поглядывал в телевизор – и чувствовал себя странно. В доме будто зависло, напластовалось время. Старуха с коричневыми подглазьями, жившая, когда еще не было его родителей; сам он, двадцатипятилетний молодой мужчина, живущий сейчас; что-то другое, новое, которое за бревенчатыми стенами обещала подмывающая берег Река. В одном и том же доме сети, которые чинили и двести, и триста лет назад. И недавно появившееся в Рябинках телевизор. И то неизвестное, что еще только в начале, в самом зародыше, но к чему вела вся предыдущая жизнь.

Удивительно. Странно.

В доме последнее время часто переругивались. Кирилловна подворовывала в подходе комбикорм, свекровь, обнаружив в кладовке новый мешок, принималась выговаривать. Передвигалась она медленно,

держась за стены, темные подглазья резко выделялись на бледном лице.

– Ты чего себе думаешь, ведь посадят!

Хозяйка лениво огрызалась:

– Ага, уже идут за мной, суши сухари... Чем поросенка кормить?

– Взяла бы да купила. Совесть у тебя есть?

– Совесть? – Кирилловна выпрямлялась. – Это ты у других спроси насчет совести. У них на этом месте хер вырос. Ты тут лежишь, что творится кругом, не знаешь. Да что с тобой говорить!.. – Хозяйка замолкала, продолжала заниматься домашними делами.

Старуха жаловалась Олегу:

– Раньше ничего такого не было. Ну, пару чебаков домой принесет, так это можно. Сейчас-то чего? Ведь посадят, мешками таскат. Чего дается, чего дается...

На новое место дом перевезли в год, когда Олег стал жить с Женькой. Женька была младше брата, рослая приветливая девчонка, она хорошо пела, и когда несколько лет назад в окружном центре открыли школу-интернат для одаренных детей, ее пригласили туда. «Не пуццу, – отрезала Кирилловна. – Скурвится». Ездившие по селам женщины из отборочной комиссии были в шоке: так говорить о дочери... «Ребята будут под присмотром, не беспокойтесь. Ничего такого мы не допустим». – «Пусть дома остается. Пусть в клубе поет». Олега, когда брала на квартиру, Кирилловна сразу предупредила, чтобы держался от Женьки подальше. «Чего это я буду к ребенку приставать?..» – Олег смотрел отчужденно. «Ты не будешь, зато она слишком ласковая. В общем, гляди мне».

Женьке было пятнадцать, когда Кирилловна застала ее с Олегом в бане. Однако ни кричать, ни бить дочь обтрепанным и оттого особенно хлестким березовым веником не стала. «Ну, чего будем делать?.. Жить с ней будешь?» Олег закинул ногу на ногу, прикрывая тем-

ный треугольник паха. «Выйди, дай одеться». Женька, конечно, глуповата, но девчонка хорошая, ему нравилась. В принципе, можно жениться. Кирилловна сразу из бани не вышла, постояла, глядя то на Олега, то на дочь: «Ладно. Мне заботы меньше».

К разобранному и перевезенному с берега дому сделали пристройку из новых бревен, в ней и стали жить молодые. Расписывать их в сельсовете (по новому, в сельской администрации) отказались, свадьбы Кирилловна тоже делать не стала – незадолго до этого умерла свекровь. Говорить-то перенести дом старуха говорила, однако сама на новом месте прожила недолго. С ней словно ушло время, в котором она жила. По крайней мере, ни от кого о сороковых, а тем более о тридцатых годах Олег рассказов больше не слышал. Жизнь, казалось ему, стала плосковатой, лишилась сокровенной глубины.

Женька продолжала ходить в школу, Олег же устроился линейным обходчиком на трубопровод, который качал куда-то попутный нефтяной газ. Рыбоучасток к тому времени закрыли, рыбозавод тоже не работал. Его то ли приватизировали, то ли обанкротили, толком никто не знал, слухи ходили темные. Слова «рыночная экономика», «ваучер», «дивиденды», «общечеловеческие ценности», которые без устали повторяли радиоточка и телевизор, стали привычными.

На свой пост Олег ездил на лодке. Можно было вместе с другими обходчиками каждые две недели (работа была вахтовая) летать на вертолете, но он предпочитал своим ходом. Возвращаясь к деревне, пристально смотрел на высокий берег. С воды обрыв выглядел особенно впечатляюще. На первый взгляд, менялся мало. Изрезанный дождевыми стоками и мелкими глинистыми осыпями, он казался освеженным боком огромной туши, цветом напоминал старый подкожный жир. Нависавший сверху дерн походил на остатки шкуры. Окончательно сползли в воду последние строения рыбоучастка,

обрыв подбирался к росшей выше кедровой гриве.

Все, казалось, было как две недели назад, но Олег знал, впечатление обманчиво. Так кажется, что часовая стрелка стоит, и нужно время, чтобы заметить ее медленное упорное движение. С каждым летом обрыв всё больше входил в материк, а пески противоположного берега всё очевидней вдавались в Реку, образуя зарастающий тальником мыс. Там появлялась своя жизнь. Несмотря на близость деревни, мыс облюбовали ондатры, а летом там гнездились речные чайки халеи, они с истошным криком пикировали на проезжающие лодки. Одна жизнь теснила другую.

Ликвидация подхоза вызвала в Рябинках намного больше эмоций, чем то, что закрыли рыбоучастка. В начале девяностых нефтяники перестали в подхозе нуждаться – в страну в изобилии пошли продукты из-за границы. Нефтяники не мелочились, подхозовский скот, технику и строения передали тем, кто решил стать фермерами. Было много крика, женских слез, рушились давние дружбы. То, что раньше дремало в людях, полезало наружу. Доходило до драк и стрельбы. Один из свежеиспеченных фермеров захватил гараж с тракторами и другой техникой и стрелял в каждого, кто пытался подойти. На уговоры не поддавался. Пришлось вызывать из города ОМОН.

– Интересное, говорю тебе, время! Главное, сопли не жевать, соображаловкой шурупать!.. – Киндинов звучно шлепал себя по лысине и смеялся. Как раньше в разговорах о женщинах, он азартно подавался вперед, подмигивал. – Такой шанс раз в сто лет дают. Думай, голова, думай, шапку куплю!.. – И опять хлопал себя по лысине и смеялся.

Киндинов один из первых оформил фермерство, предлагал Олегу вступить в долю. Но тот не захотел. Как и на рушащийся берег, он предпочитал смотреть на происходящее с расстояния. Если очень близко подхо-

дить, смазывалась картина, глаз цеплялся за мелочи. Да и опасно было подходить слишком близко. В новогоднюю ночь, подперев снаружи дверь, Киндинова сожгли вместе с домом. Обуглившийся труп невозможно было узнать. Поджигателей не нашли, да и не особенно искали. Времена, действительно, наступили интересные.

– Ты вот чего, – сказала однажды Кирилловна. – Долго еще Женька яловой ходить будет? Сделай ей ребенка.

Олег озадаченно посмотрел на тещу. К ее прямоте он привык, но здесь было что-то еще.

– Так ведь учится, выпускной класс.

– С ребенком у ней хоть забота появится. Не то что сейчас.

Кирилловна после подхоза долго не могла устроиться, в деревне работы не было. И лишь недавно стала летать на дальнее месторождение, ее взяли в столовую посудомойкой. Женька оставалась дома одна, Валерка второй год учился в институте и приезжал домой только на выходные. Кирилловна что-то недоговаривала.

Олег стал забирать жену с собой на пост. Но там ей было скучно, она просилась обратно в Рябинки. Как-то он взял у напарника широкие охотничьи лыжи подволоки и, отмахав по заснеженной Реке десятка полтора километров, неожиданно заявился домой. Женьку он застал с одноклассником. Избив обоих, зло допытывался у жены:

– Потерпеть две недели не могла? Этот салага лучше, что ли?

– Он динамичный, – закрываясь подушкой, всхлипывала Женька.

– Что? – от неожиданности Олег остановился. – Это какой – динамичный? Лучше как мужик, что ли?

– С ним интересно. Ты старый.

Оказалось, одноклассник был у Женьки не единственный. В отсутствие Олега в их пристройке побы-

вали и другие рябинковские ребята. Жить после этого с Женькой Олег не захотел. Он уехал в город, стал снимать комнату. Жалко было оставлять лодку, старицы, Реку с ее таинственной жизнью, но ловить на себе смешливые взгляды тоже не хотелось.

Потом была еще много всего. На какое-то время Олег даже уезжал на родину, но жить там не смог. В конце концов опять вернулся на Север, подкопил денег и поступил на дороге курсы слесарей по ремонту КИП и А. По окончании побывал едва ли не на всех нефтяных месторождениях, объездил автономный округ вдоль и поперек. Уже за тридцать женился на медсестре с ребенком, вскоре у них родилась дочь, которую они в честь погибшей в автокатастрофе английской принцессы назвали Дианой.

Однажды бригаду командировали на ближнее от Рябинок месторождение. По пути обратно Олег попросил вертолетчиков высадить его в деревне. Рябинки заметно отступили от Реки. На улицах появились светильники. Потеснив тайгу, выросло несколько новых, обшитых металлопластиком домов. Вышка релейной станции была унизана ретрансляторами мобильной связи. На улицах почти никого не было видно, а те, кто встречался, Олега не узнавали. Наверно, потому, что к своим сорока пяти он располнел и стал носить очки от дальновзоркости. Вместо рыбоучастка и подхоза новых производств в Рябинках не появилось, но люди продолжали как-то жить, деревня существовала.

Заходить к Кирилловне Олег не стал, хотя ее дом нашел сразу. Возможно, Женька до сих пор жила с матерью, а встречаться с ней не хотелось. Он вышел к Реке. Чистое заснеженное пространство раскинулось в обе стороны. Синели редкие следы «Буранов».

Насколько берег продвинулся вглубь материка, судить было трудно – полную картину скрадывал снег. Тальник на той стороне стал ближе, а это значило, Река продолжала менять русло. Но внешне выглядело

все спокойно, даже умиротворенно. Жизнь и здесь, и в деревне не смотря ни на что устраивалась, разве что становилась другой. Непривычной только для тех, кто в Рябинках долго не был, а для остальных примелькавшейся, обыденной. Однако думал об этом Олег уже спокойно.

СУВЕНИР ИЗ ГЛУБИНКИ

С девицами Виктор Семенович угадал. Увидев их, Большев-младший живо оглянулся:

– Полукровки?.. Нормально!

Виктор Семенович развязно подмигнул:

– Москвички, наверно, надоели?.. – Он чувствовал себя не в своей тарелке. Все-таки старше Большева лет на пятнадцать, а надо держаться на равных, таким плейбоем. – Девочки, знакомьтесь, наш столичный гость Дмитрий Олегович. Ценитель женщин и деловой...

– Какой еще Олегович! Просто Дима, – перебил Большев. – Отличный парень и назаменяемый товарищ!..

Девицы на заднем сиденье смотрели, как принцессы крови, высокомерно и неприступно. «Может, у них так полагается, – подумал Виктор Семенович, полчаса назад заказавший их по телефону. С путанами дел он еще не имел. – Раззадоривают клиента».

– Гузель. Айни, – промолвили девицы.

– Э, так не пойдет! – Большев-младший распахнул дверцу джипа. – Одна ко мне, вторая сидеть. Я между!..

Джип резко взял с места. Виктор Семенович со сдержанным недовольством покосился на водителя. И этот хочет показать свою крутизну перед сыном шефа!.. Сам тем не менее оглянулся на заднее сиденье, с поспешной улыбкой поинтересовался:

– Устроились? Все нормально?..

– Где шампанское, Семеныч? – Большев-младший уже обнимал девиц, с обеих сторон прижимая к себе. Те как-то враз потеряли свое высокомерие и хихикали, будто от щекотки. Угрюмоватая хантыйка низко, с сипотцой, татарочка кокетливо. – Что за знакомство

всухую! Дамы хотят шампанского! Доставай, Семечки!..

Пришлось остановиться. Посуда была, но Большев настоял, чтобы все пили из горлышка. «Последние анализы были нормальные. Спид – не грозит. О, стихами заговорил!.. – хохотал он, передавая тяжелую, темного стекла бутылку девицам. – Не дай себе засохнуть!»

Большев-младший выглядел рубахой-парнем, и Виктор Семенович тихо хмыкнул. Оба дня до этой поездки на пикник сын генерального был другим. Дотошнее проверяющего он не видел, хотя парню и тридцати нет. Бульдожья хватка. Большев-младший и внешне смахивал на бульдога: выпуклые бесстрашные глаза, тяжелая челюсть, небольшое, но крепкое тело. Харизма. Лидер от природы. Виктор Семенович недолюбливал таких людей. Наверно, потому, что в жизни все время приходится им подчиняться.

Быстро выехали за город. Стоял июль, единственный теплый месяц в их краях. С обеих сторон бетонки тянулся белый песок с коренастыми, крепко вцепившимися в почву соснами. В салон врвался смолистый запах нагретых на солнце стволов.

Можно было поехать в пансионат нефтяников, где весь джентльменский набор – от сауны до бара и бильярда, – но Виктор Семенович передумал. Этого добра и в Москве хватает. Судя по девицам, Большев-младший любит экзотику. Будет ему экзотика.

– За семнадцатым километром поворот на грунтовку, – сказал Виктор Семенович водителю Славе. – Там свернешь.

Лет пять назад он возил туда, на хантыйское святилище, ребят из педколледжа. Хорошее было время, тогда в колледже неплохо платили. Если бы ему в ту пору сказали, что придется заниматься унитазами и биде, он бы рассмеялся в лицо.

Пришлось. И еще постоянный страх, что уволят, не объясняя причины.

При подъезде к семнадцатому километру Слава объявил, поглядывая в боковое зеркало:

– Менты. Нас тормозят.

– Откуда взялись? – Виктор Семенович встревожено оглянулся. Любая неожиданность, а тем более встреча с обнаглевшими в последние годы гаишниками, была сейчас ни к чему.

– Откуда... В засаде, козлы, сидели, скорость засекали. – Слава съехал на обочину и остановился. – Гадство, никто из встречных не помигал!..

Гаишник был молодой и белобрысый, с тщательно выбритыми скулами. Он вылез из милицейской «восьмерки» и стоял, похлопывая по ладони полосатым жезлом. Второй гаишник оставался в машине.

– Ограничительный знак видели? Чего нарушаем?... Документы!

Виктор Семенович, отодвинув в сторону Славу и чувствуя угодливую улыбку на своем лице, быстро заговорил:

– С кем не бывает, товарищ сержант! Обещаю, все будет хорошо, никаких больше нарушений. Заходите в «Палаццо», будем рады, вот моя визитка...

– Командир, какие проблемы? – От джипа вразвалочку приближался Большев-младший с недопитой бутылкой шампанского в руке.

«Все испортит, здесь не Москва!..» Виктор Семенович сделал движение навстречу, чтобы задержать его. Не замедляя шага, Дмитрий вполголоса бросил:

– Забирай секьюрити – и в машину. Быстро!

Не послушаться было нельзя, но и оставлять гостя один на один с гаишниками Виктор Семенович не мог. Он в нерешительности остановился. Большев-младший о чем-то заговорил с белобрысым милиционером, потом оглянулся на джип и нетерпеливо махнул рукой. Виктору Семеновичу пришлось открыть дверцу и сесть рядом со Славой.

– Ты меня удивляешь, Семеныч, – попенял через ми-

нугу Большев, пряча в джинсы свернутые на американский манер и перехваченные резинкой деньги. – Кому свидетели нужны? Такие дела с глазу на глаз делаются. Держи свои корочки, секьюрити!.. Я прав, птички? Что вы на этот счет думаете?

Девицы, которые не теряли времени даром, быстро убрали косметички и с готовностью подались к Большеву. Они давно поняли, кто здесь главный.

Хантыйское святилище находилось на высоком берегу реки. Ствол стоящей у самого обрыва сосны был в следах выстрелов. Следы затекли смолой и с земли были едва различимы. На тянущем с реки сквознячке болтались полоски полуистлевшей материи, завязанные на нижних ветках. Немного в стороне висела на жерди шкура лошади. Вернее, оставшиеся от нее бурые лохмотья.

– Подарки богам, это понятно. – Дмитрий выбрался из джипа и зорко поглядывал то на полоски материи, то на лошадиную шкуру. – А стреляли в дерево зачем? Я не врубаюсь.

– У них обычай такой. Выражают таким образом признательность священному месту и богам. Раньше стреляли из луков, позже – из ружий...

– Хороша признательность!.. – засмеялся Большев. – Так ты предлагаешь здесь поляну раскинуть? Заразы не подцепим?

– Ну что вы, Дмитрий Олегович. Здесь особая энергетика. Ханты не зря это место выбрали.

Большев почти не слушал. Он подставил лицо приятному ветерку с реки, глубоко, всей грудью вдохнул. Его крупные ноздри по-звериному чутко раздулись, литое тело подобралось. Виктор Семенович отвел глаза. Сейчас сын шефа особенно походил на молодого, полного сил бульдога.

Между тем Слава достал топорик и направился в лес за сушняком. Девицы подошли к краю обрыва и, сме-

ясь, развели в стороны руки, будто собирались лететь. «Нормальные девчонки», – вскользь подумал Виктор Семенович, невольно присматривавшийся все время к ним. Такие же когда-то у него учились. Почти такие...

– Говоришь, даже стрелы есть? – Дмитрий с любопытством посмотрел на священную сосну.

– Стрелы сгнили, наконечники остались. В ствол вросли. У хантов они, как вилки, с двумя остриями.

– Интересно. Надо бы парочку увезти. Секьюрити из леса придет, пусть займется... Ладно, Семеныч, давай спиннинг, пойду побросаю. Люблю природу!..

Когда Большев с единственным щуренком поднялся на обрыв, уха уже кипела. Виктор Семенович уважительно принял улов, и через несколько минут выпотрошенный щуренок отправился к захваченной из дому стерляди. Щуренок мог испортить уху, но поступить иначе было нельзя. Добыча гостя.

Под уху выпили, на этот раз водки. Большев-младший ел и пил с удовольствием, и Виктор Семенович подумал, что пикник, кажется, удался. Все, даст бог, будет хорошо.

– Расслабься, Семеныч, – насмешливо-понимающе сказал Дмитрий. – Успокойся. Не все у тебя в филиале о кей на сто, но стараешься. Вижу. Так генеральному и доложу... Перспектива у тебя есть!

Кровь бросилась Виктору Семеновичу в лицо. Было оскорбительно, что этот нагловатый парень так легко разобрался в его чувствах. И в то же время отлегло от сердца. Когда шеф присылал сына с проверкой, нельзя было знать, что за этим последует. Виктор Семенович слышал, его предшественник слетел с места именно после такой проверки. Говорят, больше года ходит без работы.

Они выпили еще, и Виктор Семенович сам полез на сосну у обрыва искать наконечники. Смотреть вниз было страшно, выпачканные смолой брюки наверняка придется выбросить, но наконечники, которые перед

этим добыл из ствола Слава, теперь представлялись ему неказистыми.

Большев-младший показывал с земли на наплывы на стволе, где могли быть наконечники, потом это ему надоело. С татарочкой он направился вниз к реке.

– Мазь от комаров возьмите, а то задницы искусают! – бросил вслед Слава. Он не пил, но вел себя по-свойски и компании не портил.

– Не покусаят, не ссы! – как равному ответил ему Большев.

Налегая на нож, Виктор Семенович позавидовал им. Вот что значит один возраст! Между ним и этими молодыми мужиками постоянно ощущалась дистанция, как ни старался он сделать так, чтобы ее не было.

Сколько ни заставляй себя, сколько ни насилуй, все равно он чужой в этой новой жизни! А с другой стороны, куда денешься?..

К вечеру стала донимать мошка. Усевшись вокруг костра, еще раз выпили и закусили. Нужно было возвращаться в город, но сделать это оказалось не так-то просто. Красный от водки и от того, что целый день провел на солнце, Большев-младший уезжать не желал. Виктор Семенович едва уговорил его, пообещав завезти по дороге на летнее хантыйское стойбище.

– Там есть что взять? – требовательно допытывался Большев. – Наконечники ерунда! Что-нибудь такое, чтобы ни у кого не было!..

Оказывается, в своем подмосковном доме он собирал старинные вещицы, не только русские. В конце концов, он патриот, все народы, которые живут в России, ему братья. Надоели эти американцы с их компьютерами и резиновыми бабами!..

Виктор Семенович давно заметил, что у татарочки, которая спускалась с Большевым к реке, тушь на глазах размазана. Плакала? Но что можно сделать с путаной такого, чтобы она обиделась?.. В любом случае требовалось что-то предпринимать, иначе придется иметь дело с «крышей».

Большев его опередил. Когда они сели в джип, он напористо заговорил:

– Брось дуться, все нормально! Хочешь за моральный ущерб?.. Держи! Хватит?.. У тебя спрашиваю, хватит? Теперь нормально?..

Зажав в кулаке деньги, девушка молчала, отвернувшись к стеклу.

Каждый раз раньше, когда привозил на стойбище студентов, Виктор Семенович ловил себя на странном чувстве. Оббитое толем приземистое летнее жилище, загон для оленей с тлеющей и густо дымящей гнилушкой, глиняная печка для хлеба, покосившийся амбар на четырех высоких ножках с приставленной лестницей... Казалось, времени со всеми его переменами здесь не существовало. По пути из города оно запуталось в черном ельнике, утонуло в болотах, не смогло перебраться через просторные озера.

Что-то похожее Виктор Семенович почувствовал и сейчас. Залаяли собаки, из толевого жилища выглянул и быстро нырнул обратно низкорослый паренек.

– Ханты народ застенчивый, деликатный, – стал пояснять Виктор Семенович, будто в джипе с ним сидели студенты. – Подождите, сейчас хозяин появится.

Через минуту и в самом деле из-за двери показался средних лет мужчина в энцефалитке и, не смотря на жару, в резиновых сапогах. Виктор Семенович вышел из машины, пожал ему руку.

– Здравствуйте. А где Парфен Прокопьевич?

Ханты что-то сказал собакам, те перестали лаять и уселись в стороне.

– Умер отец. Два года нету.

Виктор Семенович на секунду замешкался.

– Жаль, хороший был человек. Как-то охотились вместе, до Сабуна дошли...

Ханты молчал, выжидательно поглядывая.

– Тут с нами гость из Москвы. Интересуется, как живут ханты. Покажете?

– Смотрите... – Мужчина пожал плечами.

В помещении Большев-младший сразу шагнул к широкому старинному ремню с ножнами и медными украшениями. Ремень висел на дощатой стене, Дмитрий по-хозяйски снял его с гвоздя, потрянул зазвеневшими украшениями.

– Сколько?

– Чего? – не понял ханты.

– Сколько стоит, спрашиваю?

– Не знаю. Отец не покупал, сам сделал.

– А ты за сколько продашь?

Ханты непонимающе оглянулся на Виктора Семеновича, на притихшего на чурбаке в углу паренька.

– Почему я должен продавать?

– Брось! Знаешь, сколько водки на него можно купить?.. Вы же любите это дело.

Лицо у ханты стало замкнутым. Он ничего не ответил.

– А это продашь? – Слава, вошедший вслед за Большевым, показал на самовар, который стоял на столике у небольшого окошка. На боку самовара были выдавлены полустершиеся медали. – Ты не бойся, нормально заплатим. Ты видишь, мы не отнимаем, а по-человечески, за деньги.

Хозяин продолжал отчужденно молчать, и Большев вдруг с пьяной хитрецей улыбнулся, широким жестом приобнял его за плечи:

– Извини, не подумал! Извини!.. Пошли к машине, у нас есть выпить. А то в самом деле, мы приняли, нам хорошо, а ты... Баксы видел? – Он сунул руку в карман и вытащил перехваченный резинкой рулончик. – На них что хочешь можно купить! Всё!.. Тебе хорошее ружье нужно? Ты охотник, правильно?.. Нет проблем! Какое надо? Будет!

Ханты освободился от объятий. Лицо у него осталось неподвижным.

– Не продам.

– Да ты чего, в натуре?! Почему?

– Не хочу.

– Тебе что, деньги не нужны? Богато живешь?..

Хозяин опять не ответил.

Слава, который явно хотел произвести впечатление на Большшева, сунул руку в карман ветровки, сказал, играя голосом:

– Знаешь, что у меня здесь?.. Кругом лес, никто не услышит. Секешь?..

Ханты кивнул настороженно наблюдавшему за происходящим пареньку. Тот бросился в темный угол и через мгновение стоял с двустволкой в руках.

Дело принимало нешуточный оборот. Кажется, это поняли все. Матерясь и удивленно косясь на хозяина, Большшев толкнул дверь. За ним, не вынимая руку из кармана, отступил Слава. Последним вышел Виктор Семенович.

– Ублюдок! – Большшев тяжело завалился на сиденье джипа. Девушки взвизгнули, но, почувствовав его настроение, притихли. – Деньги не нужны! Ба-а-ксы!.. Семеныч, ты понял, да? Вообще, куда ты меня привез?!.

– Бедные, но гордые, – попытался сострить Слава, включая зажигание.

– Какой хер гордые! Дикие!.. Ничего, сейчас ментов возьмем, вернемся. Пусть покажет разрешение на ружье. Он еще не знает Большшева!..

Странно, но Виктор Семенович ни беспокойства, ни досады не чувствовал. Минут через пять Большшев утомится и заснет, надо будет только дать еще выпить. Такой тип молодых мужиков был ему знаком. На заднее сиденье Виктор Семенович старался не оглядываться, смотрел прямо перед собой в ветровое стекло. Что-то вроде улыбки проступало на его лице.

«Ошибочка вышла, господа? Не ожидали? Облом случился?..» – со всей возможной ядовитостью спросил он.

Правда, не вслух. Про себя.

ОТСТАВНОЙ ПРАПОРЩИК ФАТЕЕВ

Ангелы оказались совсем не такими, какими их представляют. Никаких белых хламид, никаких крыльев. И лица скорее озабоченные, а не благостные. Ангелы взяли его под руки и вроде как полетели. А может, вместе с ним телепортировались. Они о чем-то между собой говорили, слова были русские, но он ничего не понимал.

Времени там не существовало, всё происходило без всякого смысла, кусками. Какое-то пространство, вроде как большой зал, не светлый и не темный. Появлялись зеленые фигуры ангелов, произносились фразы, значение которых было непонятно. Сколько так продолжалось, он не знал. Потом, видно, его вернули. Решили, что рано. И вот тогда он очутился в реанимации, лежал совершенно голый под капельницей. Оказалось, на работе потерял сознание. Обширный инфаркт.

Понятно, Фатеев испугался. Выписавшись из больницы, сразу подал заявление. Директор школы отпустить не хотела: «Как же мы без вас, Евгений Герасимович? Я за вами была как за каменной стеной». Он вежливо улыбался, однако заявления не забрал. Слышать такие слова приятно, но пожить еще хочется. Зам по хозяйству собачья должность. Мало того, что с техническим персоналом воюешь – халтурят или прогуливают на почве пьянки. Так еще в последние годы развелась уйма писанины. Чтобы купить, скажем, упаковку мощного средства, нужно сто бумажек оформить. Понятно, сердце не выдерживает. А если учесть, сколько лет ему пришлось иметь дело с солдатами, так вообще.

Томиться Фатеев начинает с утра. Казалось бы, спи хоть до двенадцати, с толком завтракай, никуда не спеши...

Не получается. Просыпается он затемно, радиоточка на кухне еще молчит. «Старческая бессонница», – усмехается Фатеев. Старым он себя не чувствует.

Какое-то время он лежит в постели, прикидывает, чем можно заняться. Дел никаких, но заснуть больше не получается. Летом нормально. Летом пошел на участок, там всегда найдется чем заняться. Подшаманил будку, прополол грядки, выкосил траву вдоль штакетника. Всё не спеша, спокойно, прислушиваясь к самочувствию. А вот зимой или в межсезонье...

Это сейчас не спится, а как тяжело было подниматься в детстве. Мать не раз подойдет, потормошит. Кажется, уже встал, оделся, пошел в туалет. Лишь подпустив в трусы, поймешь, что это снится. Или когда ходили за смородиной к бывшей мельнице. Подниматься надо было часа в четыре, самый сон, по дороге вымокнешь в росе, холодно, зубы чечетку выбивают.

Полеты в космос, интернет – ерунда. Вот если бы человек научился складировать время, а потом брать сколько надо – это было бы да! Сейчас время приходится убивать, грубо говоря. В детство бы его, в утренние часы. Или к отпуску, когда работал.

Телевизор в комнате не включишь, Валентина проснется. Она еще работает, пусть поспит. Фатеев поднимается и осторожно, стараясь не скрипеть полом, уходит на кухню. Включает свет, принимает утреннюю порцию таблеток. Это обязательно, Валентина проверит. Потом садится за стол и берет в руки газету. Начинает изучать с первой до последней страницы. В том числе скучное приложение, официальный бюллетень районной администрации.

Кухонное окно по-прежнему черное, глухое. Фатеев, поглядывая на свое отражение в темном стекле, принимается осторожно рыхлить землю в горшке на подокон-

нике. Здесь растет огурец. Семечко он посеял в конце января, росточек слабый, не хватает света. Фатеев каждый день по несколько раз подходит смотреть, как огурец себя чувствует. Всё интерес в нынешней жизни.

Он дожидается, когда проснется Валентина. Представляет, как жена зажжет лампадку, грузно, обтягивая ночнушкой бедра, опустится перед складнем на колени. Вот уж никогда не думал, что жена с возрастом станет религиозной. Уже несколько лет она ездит в город в церковь, на Пасху – обязательно. «Что за грехи у тебя такие, чтобы отмаливать?» – «У каждой женщины есть, – отвечает Валентина. – У мужчин, между прочим, тоже». И смотрит со значением. В молодости, еще когда жили в гарнизоне, она сделала аборт. Забеременеть с того времени больше не могла, живут они вдвоем.

Фатеев в бога не верит, но увиденное во время инфаркта не дает покоя. Конечно, в таком состоянии все что угодно может показаться. В газетах и по телевизору рассказывают, типа, тоннель, по которому несется душа. А некоторые видели со стороны, как над их телами хлопочут реаниматоры. Человеческая психика явление тонкое, малоизученное. Прохиндеев, желающих погреть на этом руки, хватает. Но так явственны были и сумрачное пространство, и непонятные разговоры, и зеленые ангелы. А их самих хоть рукой трогай.

«Может, меня вернули с какой-то целью?..» – натывается Фатеев на беспокойную мысль. И тут же хмыкает: от Валентины заразился! Конечно, хорошо, что не сдубился, копыта не отбросил, но что такое он натворил, чтобы вернули искупать? Если даже предположить, что бог есть. Ну, гонял солдат, когда был старшиной. Не давал спуску техничкам и дворнику со столяром – тоже да. Зато был порядок в школе, и казарма блестяла, как котовы яйца. На него обижались, называли куском. После того, как уволился из школы, многие в упор не видят. Так что, надо было поощрять разгильдяйство, лишь бы нравиться? Популизмом заниматься? Вот это и был бы грех, если уж серьезно!

Мысли уверенные, четкие, на них стоит жизнь Фатеева. Но что-то все же не дает покоя. Он не из тех, кто к старости начинает креститься и ходить в церковь – на всякий случай. Его воспитали в атеизме, при таком характере это на всю жизнь. Старого пуделя новым фокусам не выучишь. Но, может, действительно вернули для чего-то?

Для чего?..

Воду кипятить рано, Валентина поднимается в половине седьмого. Однако нужно чем-то занять себя. Фатеев натягивает на кран патрубков фильтра, подставляет чайник и слегка поворачивает барашек. Чем меньше напор, тем чище вода. Опять же время идет. Напитки у них с женой теперь разные, у нее кофе, у него чай. Раньше Фатеев тоже пил кофе, но сейчас нельзя. Чай он заварит сразу, пусть настаивается, а кофе Валентине сделает, когда она сядет завтракать.

Последнее время мысли все чаще сворачивают на детство. Почему – неизвестно. Можно подумать, ничего другого хорошего в жизни не было. Глядя на льющуюся в чайник тонкую струйку, Фатеев представляет, как ходили за смородиной. Кусты одичали, стояли в высокой росистой крапиве, чтобы пройти к ним, нужно было ее раздвигать, выставив вперед локти. От дома мельника остались полуразвалившиеся бревенчатые стены, от самой мельницы несколько черных свай в воде. Это, когда он был пацаном. А лет двадцать до того гудели жернова, подрагивал пол, пахло мукой. Белый мельник выходил во двор, там полно было телег и колхозных ЗИСов, кивал следующему по очереди. Парень или молодой мужик торопливо взваливал на спину мешок, тяжелым шагом двигался к темному проему мельничной двери. Поднимался на помост, развязывал мешок и ссыпал шуршащее зерно в бункер над жерновами... Мамин брат дядя Сережа рассказывал.

И ведь жили когда-то эти незнакомые люди, разное

с ними случалось, всё, что полагается в жизни, испытали – и никого уже нет. Дяди Сережи давно.

Фатеев недоволен поводом головой. Ему всего пятьдесят три, отец прожил восемьдесят, хотя работал в колхозе. Рано о смерти думать.

Наконец оживает радио. Сначала, естественно, гимн. Как теперь, Фатеев не знает, а раньше в «Родной речи» печатались слова. Пацаны переиначивали: союз нерушимый, бежал за машиной... Учительница ругалась, стыдила. А им было до лампочки. В сентябре парты пахнут масляной краской, беленые стены классов известкой, ребята за три месяца вытягивались, взхлеб ввали о летних приключениях...

Любимая игра осенью была в каштаны. В углу школьного двора выкапывалась ямка, в нее требовалось попасть каштаном. Под деревьями их, коричневых и гладких, словно полированных, было полно, но весь смак в том, чтобы выиграть. Карманы и портфели лопались от них. Потом каштаны ссыхались, теряли глянец, становились ребристыми...

Вообще-то странное дело, вера. Любая. В его роте был солдат, который не хотел принимать присягу. Христианин, но какого-то особого разлива, им нельзя брать в руки оружие. Кто только с этим парнем ни говорил – и замполит, и в военную прокуратуру регулярно таскали. Отказывался. Из нарядов на кухню не вылезал, пропах посудомойкой, а все равно. Подобное поведение Фатееву понравиться, конечно, не могло, но вызывало уважение. Крепкий орешек. Потом парня куда-то из роты забрали, как сложилось у него дальше, неизвестно.

Или такое. По телевизору рассказывали, что первых христиан травили дикими зверями, а они не отрекались. Считаай, те же революционеры. Сейчас насчет большевиков много чего выяснилось, а ведь тоже на смерть шли. Потому что верили, жизнь может быть честной и справедливой. Не их вина, что вожди кинули.

«Для чего все-таки вернули?..»

– Валя, в реанимации персонал в чем ходит? В зеленом? – спрашивает он у жены, когда та садится завтракать.

Валентина внимательно смотрит на него. Она только что из ванной, лицо свежее, моложавое.

– Чего это ты вдруг?.. Лекарства пил?

Насчет лекарств Фатеев пропускает мимо ушей. Ему важно подтвердить или опровергнуть догадку об ангелах. Но и волновать Валентину лишний раз не стоит. Она сама чуть не слегла, когда он попал в реанимацию.

– Интересно. Ты медик, должна знать.

Он делает вид, что спросил как бы между прочим. Хлопчет у стола, режет хлеб, намазывает маслом, сверху накрывает колбасой. Это себе, Валентина постытится. В ее кружке Фатеев заваривает растворимый кофе, в свою наливает жидкий чай. И всё это с озабоченным лицом, будто никаких других мыслей у него нет. Но Валентину не обманешь.

– Жень, мы с тобой договорились. Не зацкливайся. Просто надо беречь себя, такое время настало.

– Я не зацкливаюсь. В чем персонал в реанимации ходит?

– Ты как репей, честное слово! Откуда я знаю? В школе уже столько лет. Когда в гарнизонном госпитале работала, все в белых халатах ходили.

Фатеев на секунду останавливается, прикрыв глаза, раздувает ноздри. Запах кофе заполнил кухню. Но нельзя.

– Ну, ты хитрованка!.. Не хочешь – не говори.

Валентина искренне удивляется:

– С какой стати мне скрывать? В самом деле не знаю. Может, как раньше, в белом ходят, может, в чем другом. Я теперь столько знаю, сколько ты.

Фатеев снисходительно усмехается. Давай-давай!..

Отношения у них с Валентиной правильные. Он и раньше уважал ее, не гонял, как другие прапорщики жен после получки. Теперь тем более – им вместе дожи-

вать. А то, что нет детей, заставляет особенно беречь друг друга. Никому они не нужны, только самим себе. Такое не говорится вслух, но понятно обоим.

Однако это не значит, что отношения у них простые. Валентине, похоже, надо, чтобы Фатеев поверил, что побывал там. И зеленые действительно были ангелы, а не врачи и медсестры в реанимации. Он не против ее молитв и поездок в церковь, но Валентине, наверно, хочется, чтобы и он стал верующим, молился и ездил с ней.

– Вообще-то зеленые куртки и брюки у хирургов. Нет, погоди, салатовые. По телевизору показывали, – говорит жена.

Фатеев с понимающей ухмылкой кивает. Переводит стрелки Валентина. Операцию-то ему не делали!..

Они сидят друг напротив друга, завтракают, и жена опять начинает говорить о вчерашнем. В школе залезли в компьютерный класс, украли два компьютера. Для их поселка это событие. Пришлось вызывать милицию, по-новому, полицию. Выяснилось, сторожа ночью на месте не было. Валентина рада, что не залезли в ее медкабинет, слава богу. Брать там особенно нечего, но все равно. Замом по хозяйственной части директор приняла свою родственницу, а у той ни опыта, ни характера. Технички работают спустя рукава, дворник до сих пор не сбросил с крыши снег, хотя скоро начнет таять, зальет классы на втором этаже. О столяре говорить нечего, неделями в запое.

– Обнаглели! – возмущается Фатеев. При нем такого не было. – Чего их директор не выгонит к чертовой матери?!

– А кого вместо брать? Все нормальные мужики у нефтяников.

– Ладно, а технички, сторожа? Сколько женщин в поселке без работы!

– Это ты у нее спрости. Аньку Антонцеву, наверно, уволит, она вчера сторожила. Еще удержит за компьютеры.

Фатееву сторожа жалко, но он об этом не говорит. Валентина всем хороша, но ревнивая. Через Антонцеву многие мужики в поселке стали молочными братьями. Любвеобильная бабенка.

Валентина уходит к восьми, и опять встает вопрос, чем заняться. Посуду Евгений Герасимович моет тщательно, кухонный стол вытирает не спеша, со всей возможной старательностью. Но все равно это минут десять, от силы пятнадцать.

Квартиру пылесосить рано, только вчера убирался. Белья еще не накопилось, чтобы стирать. Валентина ругается, типа, береги сердце, но ему нужно что-то делать. Газета прочитана, а радио в это время лучше не слушать. Часа два сплошная реклама: биорезонансная терапия, кремлевские таблетки, лекарства от гипертонии, катаракты, эректильной дисфункции и много чего еще. Главное, успеть позвонить в ближайшие полчаса, будет скидка.

Фатеев хмыкает: прохиндеи! И выключает радио. Помогут лекарства или нет – вопрос. А то, что рекламу придется оплачивать пенсионерам, однозначно. На них она и рассчитана, остальные в такое время на работе. Это плюс к стоимости самих лекарств. Оборзели!..

«Как другие мужики живут?! Не один же я пенсионер! – в сердцах думает Фатеев, слоняясь по квартире. – Кто в гаражах не пьет, бабами не интересуется, хоккеем не смотрит!..»

Самое тоскливое время суток. За окнами едва светает, медленно, неохотно, будто из-под палки. Вообще на Севере крайности, летом бесконечный день, зимой бесконечная ночь. Разве дело, когда в десять еще темно, а в начале третьего уже темно? Черт занес их сюда после службы. Можно подумать, без северных надбавок не прожили бы.

Как-то по телевизору показывали фильм «Война и мир», еще старый, советский. Батальные сцены Евге-

нию Герасимовичу очень понравились, но по-настоящему зацепило другое. Один из героев поднимался по лестнице и думал о жизни. Люди придумали себе занятия, чтобы не чувствовать пустоты. Один увлекается лошадьми, другой охотой, третий политикой, четвертый еще чем-нибудь.

Его жизнь и ту, что показывали в фильме, сравнивать нельзя, но Фатеева будто током пробило. Служба, а потом работа в школе нужны были, чтобы тоже заполнить пустоту?.. После гарнизона он мог вообще не работать, военную пенсию получает. Для чего вообще жизнь, если пустота? Не только у него – у каждого. Чтобы есть, гадить и размножаться?.. Не может такого быть. Человек не лошадь и не собака. Должно быть что-то еще.

Пробившая тогда мысль немного сгладилась, но Евгений Герасимович то и дело натывается на нее. И, словно от боли, щурит глаза. А тут еще зеленые ангелы, вернувшие в реанимацию. «Может, неспроста совпало?» – думает Фатеев.

Дождавшись, когда на улице станет более-менее светло, он одевается и направляется в магазин. Теперь в семье продуктами занимается он, пусть Валентина ворчит сколько угодно. Выправка еще осталась, Фатеев шагает бодро, с удовольствием дышит морозным воздухом. Сердце работает ровно, наполнение хорошее, нигде не болит. Март, но весны еще не чувствуется, даже в середине дня будет минусовая температура.

В магазине в этот ранний час почти никого. Лишь Анька Антонцева покупает своим погодкам сникерсы. Иначе они не соглашаются оставаться в детском саду.

– Здорово, орлы! – приветствует семейство Фатеев и по привычке прикладывает ладонь к шапке. – Опять мамку доите?

Погодки избалованы, привыкли, что разные дяди с ними веселы и говорливы, поэтому на слова Фатеева не реагируют. Антонцева мельком смотрит на него. Веки припухли, лицо бледное, но Анька держит фасон. Разбитным голосом говорит:

– А кого мамке еще баловать?.. Жизнь не побалует, пусть пользуются, пока у мамки есть возможность!..

Фатеева тянет сказать, что такой возможности у нее практически не осталось, но он сдерживается. Анькин моральный облик оставляет желать лучшего, это да, но и судьба бабенке досталась непростая. Первого мужа похоронила – рак, второй работал вахтовым методом в Лангепасе, познакомился там с какой-то женщиной, ушел к ней. С третьим еще что-то случилось. Анька по характеру легкая, простаивать своей мохнатке не дает – жизнь-то уходит. Жаль только, что дети всё видят. На что будут жить, если мать уволят? Еще за компьютеры придется платить, вряд ли милиция-полиция найдет воров.

– Бывайте! – говорит он вслед Аньке с ее погодками, зажавшим в варежках по сникерсу. И опять прикладывает ладонь к шапке.

Его голос звучит сочувственно, и Антонцева оглядывается.

Фатеев знает, что нравится женщинам среднего возраста. Он похож на благородного грузина: нос с горбинкой, усы, седина на висках. Валентина ревнует не зря, она и аборт сделала, что была в нем не уверена, – погуливал, когда жили в гарнизоне.

Внешность еще не всё, к женщинам надо иметь подход. Фатеев прикидывает, с чего начать разговор. Нужно, чтобы всё выглядело так, будто он зашел по пути. Сумка с продуктами кстати. Если директор откажет, будет не так неудобно, если бы зашел специально.

«Симпатичные пацаны», – думает Фатеев про погодков. У них с Валентиной тоже могли быть такие. Уже внуки. Мысль неприятная, щемящая, и Фатеев старает ся не думать об этом. Ничего не изменишь.

Татьяна Семеновна встречает его приветливо, хотя катавасия с компьютерами, похоже, ей тоже достается нелегко. Лицо не выспавшееся, оплыло, косметика не в

силах это скрыть. Однако сорокалетние женщины особенно чутки к словам о своей внешности, и Фатеев говорит, что она отлично выглядит.

По глазам директора ясно: она все прекрасно понимает, но слышать такие слова все равно приятно.

– Дамский вы угодник, Евгений Герасимович, честное слово!..

Фатеев согнутым пальцем поглаживает усы, говорит с акцентом:

– Честью джигита клянусь!..

Директор смеется, Фатеев улыбается. Контакт есть, но важно не перегнуть палку. Татьяна Семеновна все-таки начальник, по армейскому ранжиру, не меньше, чем командир роты. Вести себя с ней, как с обычной женщиной, нельзя. И Фатеев стоняет игривую улыбку. Субординация.

– Жаль пацанов, – говорит он, вздыхая, и опускает глаза. – Они не виноваты, что мамаша такая. На что теперь будут жить, неизвестно... Вы ведь Антонцеву уволите?

Директор тоже перестает улыбаться.

– Придется.

Но баба остается бабой, даже если начальник. К тому же по своей природе они нуждаются в мужском руководстве. И Фатеев принимается развивать мысль о том, что дети не должны страдать из-за непутевой матери. И попадает в яблочко, дети – чувствительная точка для любой женщины. Фатеев поворачивает мысль так и этак, пока в лице директора что-то не меняется.

– Хорошо, я оставлю Антонцеву, – говорит она. – Но при условии, что вы займетесь ею. И другими тоже.

– В смысле? – Фатеев выпрямляется, без улыбки смотрит на директора. Что было, то было, но в этом поселке он оснований для подобных намеков не давал.

Татьяна Семеновна отводит глаза, ей забавна его реакция.

– Всего лишь предлагаю вам вернуться в школу. Человек, которого я взяла после вас, написала заявление... Сама поняла, что не тянет.

К такому повороту Фатеев не готов.

– Мне нужно подумать.

– Конечно, Евгений Герасимович, конечно. Но думайте быстрее. Работа запущена, надо исправлять.

Когда Фатеев выходит на улицу, в голове у него полный кавардак. Хваткая бабеч! Сколько вместе работали, а он даже не подозревал, что до такой степени. Опять же этот намек на грани фола... При нем вызвала секретаршу и распорядилась подготовить на Фатеева приказ. Типа, пусть полежит вместе с приказом на увольнение Антонцевой. Она подпишет какой-нибудь один.

Хочется найти себе дело, очень хочется! Но что сказать Валентине? Начнется: вдовой меня сделаешь, одну оставишь!.. Слезы. А еще неизвестно, от чего быстрее можно отбросить копыта – от дела или безделья. Но попробуй Валентине докажи.

Нужно все хорошо обдумать, и Фатеев замедляет шаг, неторопливо идет по поселку. Сумку с продуктами он держит в правой руке – так вес не давит на сердце. День разошелся, даже солнце порой проглядывает. Оно пока ходит над самым горизонтом, но весна не за горами даже в здешних краях. Скоро вороны прилетят. Где-то весной прилетают грачи, а здесь вороны. Север.

У детского сада ему встречается Антонцева. Анька разве что не бросается на шею.

– Евгений Герасимович, выручили! Спасибо вам большое, миленький!..

Понятно, секретарша успела позвонить, Анька уже в курсе. Фатееву приятно видеть ее радость, но он Антонцеву остужает:

– Не торопись, я еще не решил. Второго инфаркта мне с вами не хватало!..

Анькино лицо тускнеет, но лишь на секунду. Не-

истребимая жизнерадостность, привлекающая в ней мужчин, берет свое.

– Не будет инфаркта, Евгений Герасимович! – горячо уверяет она. – Разве в школе не понимают? Мы люди или кто?..

По всему видно, Аньке хочется сказать что-то еще. Она, намекаяще взглянув исподлобья, поводит плечом, прикусывает губу... Нельзя сказать, что это не действует на Фатеева. Ему всего пятьдесят три, одна молодежь думает, что это много.

– Я могу вас отблагодарить...

– Чего несешь, дура! – взрывается Фатеев. – Не понимаешь ни хрена! Нужна мне твоя благодарность!..

Оставив растерянную Аньку, он крупным шагом уходит. Вот дурища, к чему все сводит! Ради ее мохнатки он согласился, что ли?.. В смысле, почти согласился.

Понемногу Фатеев успокаивается. Минут через пять думает, что зря сорвался. Во-первых, сердце надо беречь. Во-вторых, кто виноват, что у Аньки это единственный способ отблагодарить. Может, со временем по-настоящему поймет, что к чему в жизни. Ему самому нужно было дожить до пятидесяти с гаком, инфаркт перенести, ангелов увидеть, чтобы забрезжило.

«Что Валентине скажу?» – думает Фатеев. И эта мысль занимает его сейчас больше всего. Как-никак жена, родной человек, вместе доживать.

Краем сознания мелькает: хорошо бы помочь расчитаться за компьютеры. Не Антонцевой помочь – ее пацанам. Кое-что у них с Валентиной отложено, да и другие в школе должны понять.

Все-таки люди.

ЖЕНЩИНА В ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ

Господи, господи, какой светлый мир, какая радость, что живем!.. Облака белые, взбитые, появляются и исчезают, все пронизано солнцем, бездна неба синяя, вечная. А люди нет. Неужели не ясно, что надо жить, надо любить?! Кирилл, Кирюша, у меня в волосах сединки, как ты не можешь понять! Почему у тебя даже мысли не появилось? Что ты такой нечуткий? Не исчезай из жизни моей, не исчезай и на полчаса. Исчезнут все, но ты не из их числа, я исчезнуть тебе не дам. Не исчезай!..

Чтобы не было видно слез, она наклонилась к иллюминатору. Лоб уперся в толстое холодное стекло. Напряженно и ровно, на одной ноте, гудели турбины.

Кирилл, как тебе можно было объяснить, это навсегда, навечно. Память у человека с рождения до смерти. Я ехала в этот город, как в свою мечту, как в свою большую светлую судьбу. С верой, надеждой и любовью. Это же любовь, Кирилл! Нам дано большое счастье и большое горе, как ты этого не понимаешь?! Счастье и несчастье рядом живут, врозь не ходят. Знаю, тебя оглушило то и другое, обрекло на бездействие. Только найди в себе силы справиться, не отступить, не отречься. Не отрекаются, любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя...

Давно погасло «no smoking!» над входом в отсек экипажа. Пол опять стал горизонтальным, таким, каким был, когда заходили в самолет и она отыскивала свое место среди тесных рядов кресел. Почему у них так пыльно? Здесь, над облаками, солнце светит во всю, видна зависшая в лучах пыль, она буквально клубится. И подголовники несвежие. За что они дерут такие деньги?..

Не надо было ехать. Ведь чувствовала, ничего хорошего не будет. Просвета нет впереди, вера почти утрачена, осталась одна любовь. О ней надо забыть. Вопреки здравому рассудку все-таки поехала. Судьба меня звала, пусть почти двадцать лет прошло. Ехала к тебе. Ехала в город, где прошло детство, где любимые, близкие люди, там выросла. Югорская земля – любовь моя, надежда и отрада. Как в детстве я хочу прижаться к ней щекой, иного счастья в жизни мне не надо. Навсегда в сердце голубая ширь реки, мягкий плеск волн, серебристый тальник по берегам. И Кирилл там, в этом городе у реки. Кирилл!..

Столько всего накопилось. Когда ехала, только одна была цель – увидеть. А там будь что будет. Ничего не будет, потому что только от него зависит. Но то, что зависит от меня, я сделаю, чего бы это ни стоило. Он должен пережить все, он должен знать. Шпильки провинциального маразма. Как больно, когда бросают в лицо всесильные слова, когда пронизывают презрительным взглядом, преднамеренно снисходительным. Что вы понимаете, мещане! Я чище и лучше вас. У меня один минус, нет рядом человека, которому можно рассказать, выплакать все страдания, боль, горести, даже мимолетные. Обидно и одиноко.

Зачем ты все время подчеркивал, что я приехала на свадьбу? Ставил между нами барьер? Ты очень «чуткий», позволил мне звонить, если вдруг понадобится, и взял мой адрес. Ты такой воспитанный, что разрешил приехать посмотреть на тебя, предложил отдохнуть до утра, поручил родителям проводить на автобус – я же так хотела этого! Понедельник и вторник ты, конечно, работал, суббота и воскресенье сплошные дежурства. Ты вежлив и добр, заботился о моем душевном покое, когда расспрашивал, как на исповеди, и утешал, как святой отче. Мне очень жаль, что ты так торопился на работу, а я еще не уехала. Извини, пожалуйста! Ты весьма проницательный человек, сразу же оценил меня,

мои интересы, умственный и культурный уровень, особенно, когда спрашивал, какие у нас цены и где я взяла деньги на самолет. Еще, когда я по невоспитанности не помыла за собой посуду, а потом по причине кричащей нескромности весь день просидела в твоей комнате. Очень интересовался мной, не зря же писали, даже сказал: я все о тебе знаю. Это намек?..

Дышать было тяжело, она расстегнула ворот пальто, привычно почувствовала пальцами его вытертый ворс. Стюардесса с подносом замедлила шаг, внимательно посмотрела на нее.

– Вам плохо?

– Все нормально, спасибо.

Взяла с подноса стаканчик с минералкой. Отпила. Она знает, как бывает плохо. Плохо было в автобусе, когда ехала в аэропорт, там едва не потеряла сознание. Свободных мест не оказалось, автобус переполнен, а ноги подгибались, голова кружилась. Она стала опускаться на пол. Какая-то женщина крикнула на весь автобус: «Да что же вы молчите! Садитесь сюда. Побледнела вся – и молчит!». Ее усадили, кто-то расстегивал пальто, кто-то протягивал валидол... Кирилл, милый, а кому ты сейчас помогаешь, кого спасаешь?

Жизнь прошла без маленьких, но таких нужных радостей. Осталось одно, мне всегда везло и будет потрясающе везти, но как мне тебя не хватает! Где глаза, которыми мы в детстве смотрели друг на друга? Я не тебя увидела – годы! Я уже седая. Меня уважают и не уважают, любят и не любят, все это скверно. Была лучшая подруга, теперь нет. И нет никого, и тебя нет! Не потому, что ты далеко, а потому, что чужой. Потерять столько лет ужасно обидно, Кирилл! И не будет того, чего так хотелось, на что были самые добрые, искренние надежды, не будет никого и ничего. Твоя мама на автобусной остановке сказала: «Ну что же вы наделали, ведь всё могло быть. Вы не замужем и Кирюша не женат». Будто не сама утром поливала кому-то по теле-

фону. Одни говорили: Люда, из этого ничего не выйдет. Другие: выбрось его из головы, он ненадежен. Третьи: что ты делаешь, не понимаешь, какая у него мать? Четвертые: у него кто-то есть, иначе не стал бы так себя вести. Меня это не остановило. Столько я слышала, но не верила и говорила: мне его жалко, он не такой. Знала, что был женат, разошелся, где-то разбил машину. Подумала, значит, любил очень, страдал. Это так понятно и правильно.

На самой высокой ноте набирала твой номер. Но разве скажешь все по мобильнику! Телефонные натянутые нити, тихий голос в черной трубке вырастает. И опять, как чье-то краткое «просите», прерывается короткими гудками... Почему не хотел говорить? Отделялся короткими ответами: да, нет. Я не стою, чтобы ко мне отнестись по-человечески? Не стою, чтобы меня понимали? У меня все серьезно, я не авантюристка, не думай. Есть выражение: а что я с этого буду иметь, того тебе не понять!.. Разве не глупость это в жизни, когда всё исчезает, и люди тоже? Почему ты так далек от меня, грустно без тебя, тяжело. Я столько о тебе думала, столько ждала тебя, так хотелось нашей встречи! Как теперь нам жить – тебе с кем-то и далеко от меня, а мне одной, а потом... Милый, родной, как мне хотелось быть с тобой рядом, видеть тебя! Как я люблю тебя, понимаю очень остро именно теперь. Боже, но почему нам не быть вместе в этой загадочной судьбе и в одной-единственной жизни?! Можешь ты ответить, чтобы я убедилась? Никогда ты не сможешь так сказать и убедить, что все уже неизменно, что наше ушло, никогда не состоится, тебя для меня нет! Не сможешь никогда!..

Пододнок. За столом делал глазки, конечно, женщине приятно, тем более, одинокая. Свадеб я боюсь, но Нине Михайловне отказать не могла, все-таки приехала. «Она же наша родственница, как можно!» Пристал как клещ. Мне и в голову не приходило, я Валина двоюродная сестра, что может быть, пусть приглашает. Не-

годяй, опытный, как женщину расположить, знает, а я за другим приехала. Как можно так, жена рядом, зачем прижиматься, мы с Валею давно дружим, мне пить нельзя. «Могла бы не танцевать с ним, ничего бы не было!» Самодовольные рожи, мне от жизни вообще ничего?! Первый раз за столько лет танцевала, на корпоративах в садике одни бабы, топчутся кружком, а тут будто стены раздвинулись, крылья за спиной, так можно принцессу вести под звуки чарующей музыки. Мне и этого нельзя?! От этого отказаться?!

В русском языке более ста пятидесяти тысяч слов, но их не хватит, чтобы я могла написать Вам, Кирилл, всё, что чувствую. Моя рана не затянется никогда. Вы трус, Кирилл, Вы отказались стать королем. Вы испугались, что Вас уличат в низменном вкусе. Все выбирают розу, а Вы капусту. Но кто скажет, что другая на голову выше – да никогда! Мне очень хотелось поделиться с Вами своими мыслями, интересами, увлечениями – открыть себя. Но Вам не дано понимать стихи, они Вам не по зубам. А я не только воспитатель. Мне чертовски «приятно» было услышать: он что, вам писал? Дескать, чего же, милочка, изволили беспокоиться? Я так хотела, чтобы мы встретились, а это чистое желание было высмеяно, пусть в «деликатно-тактичной» форме. Мне не надо было к Вам приходиться, но я не жалею об этом. Я так много разочаровывалась в жизни, я теряла веру в человека, в добро, в справедливость, что лишней удар судьбы ничего не значит.

Когда я прочитала письмо от тех людей, я даже не предполагала, что так сделаю. Вы не приехали бы к нам – куда, однокомнатная квартира и мы с мамой. Вы были моей верой в доброе, зачем поступили так? Каждым своим словом Вы будто ножом срезали неокрепшие побеги. Поверьте, это очень больно. Наступает потеря общей болевой чувствительности, поэтому даже самые горькие слова на таком фоне блекнут. Вам показалось, что я, как ловкий делец, приехала сплестать свои сети.

Ее гонят в дверь, она обратно в окно. У меня столько добрых чувств к Вам просто по памяти детства. Это естественно. И такой же естественной мне казалась возможность лучших между нами отношений.

Когда тихий час, я стою у окна, смотрю, как школьники идут домой. Девочка и мальчик, класс четвертый, он несет ее портфель, каждый день так. Они любят друг друга, это видно. Такие, как мы раньше. У меня сердце сжимается, когда смотрю на этих детей. Их маленькие существа не подозревают, что может когда-то случиться, как у нас. Боже, сохрани их от того, чтобы они расстались, как мы! Если они встретились, значит, это было нужно. Я смотрю на них, будто на нас тех, и потому так больно, что ясно: очень короткая у людей жизнь. Все случайно и непоправимо. Я не могу представить себе, что мы так легко потеряем друг друга. Пойми меня так, как я хочу, чтобы ты понял, без всяких выяснений и объяснений. Я уже знаю, что в жизни есть минуты, когда хочется умереть, но пусть их будет мало.

Зачем ты предупреждал, какими вопросами не интересуешься? Извини, но при моем интересе к тем же вопросам вряд ли тогда понадобилось бы ехать так далеко. Думаешь, я на свадьбу приехала? К тебе! Еще советовал получить второе образование – воспитатель в детском саду, непрестижно. Как Вы самодовольно себя вели, Кирилл, когда предлагали остаться, какое великодушие! Говорили потому, что знали, я не останусь. И вдруг слышали другое, какой пассаж! Переменился в лице, обескуражен, отправил родителей. «Люда, мои родители тебя стесняются». Действительно, какая низкая особа! Чудовищно! Хозяева не знают, как избавиться от гостя, обнаглевшей в своем поведении. Чем же я Вас оскорбила, своим приездом или согласием остаться на Ваше «искреннее» предложение? Тем, что решила встретиться после того, как мне писали, что Вы спрашивали обо мне? Я ведь хотела узнать, какой ты стал. Не по телефону, а на самом деле, глядя в глаза. Тебе хо-

телось узнать обо мне по-настоящему или просто проявил вежливое любопытство respectable мужичины? А что такого я хотела немислимого? Ответить тем же вниманием и той же памятью, с которой ты отнесся ко мне, если верить чужим письмам. Ничего другого, пусть не думают. И, конечно, приятно встретиться со своей юностью, со своим чистым детством, но для этого надо уметь чувствовать, а не быть рыцарем на час!..

Собирая пустые стаканчики, вдоль прохода опять двинулась стюардесса. Синяя аэрофлотовская форма ладно облегла молодое тело, белая блузка мягко подсвечивала чистое бездумное лицо. И даже коротковатые ноги с отчетливой темной порослью не могли испортить впечатления.

Пассажиры с удовольствием задерживали на стюардессе взгляд. Она это чувствовала, и ее движения становились по-особому плавными, даже элегантными, улыбка почти великосветской. Девушка немного играла и была, похоже, счастлива.

Какие-то парни в середине салона – крепкие шеи, короткие стрижки, – то ли спортсмены, то ли бандиты, заговаривали с ней. Но, видимо, вполне пристойно, границ не переходили, потому что улыбка у стюардессы оставалась прежней, ласково покровительственной. Она радушная, на западный манер, хозяйка, а они воспитанные приятные гости. Но уже проступило в ее лице свое, искреннее: вчерашняя школьница, которой льстит внимание ребят старше. И чувствовалось, какая это домашняя, чистая и глупая девочка.

Еще ничего не понимает. Ей даже в голову не может прийти. Но не всё же будет восемнадцать. Жизнь тебя тоже личиком об асфальт, хочешь ты или нет. Странно, дико, почему существует мнение, что великую битву с жизнью мы ведем в молодости? Ерунда – когда стареем!..

Кирилл, ты можешь объяснить, почему мы встретились? Можешь наверняка? Попробуй! Грубо можно.

Что заставило меня позвонить впервые через столько лет? Почему именно мама взяла трубку? Если бы ты взял, вряд ли я приехала бы. Что последует от нашей встречи – зависит от нас и не зависит. Такие вещи не говорят вслух и не пишутся в письме, их просто нужно понимать, потому что чувства уходят вместе со словами. Мы, Кирилл, прожили половину жизни, и может быть так, что впереди ее лучшая половина. Пройдено и хорошее, и плохое – разное. Ты говорил, что искал такую, которая не изменила бы тебе. По-другому – того, кто любил бы. Только тогда можно не изменить ни тебе, ни себе. В другом случае измена моральная или физическая придет обязательно.

Говорят «судьба». Страшно знать, что от тебя почти ничего не зависит. Но судьба тоже умная, она ищет достойных. Зачем ты спрашивал, верю ли я в судьбу? На доньшке своего сердца кто не верит. Думаешь, я навязывала себя как судьбу? Каждый должен сам чувствовать свою судьбу, ты тоже. Без моих слов. Я так хотела. И потому загадала, если билетов на сегодня не будет, скажу, что остаюсь. Мне хотелось знать, как хочет случай, вдруг это самое умное решение, самой не сделать. Ты хорошо помнишь, что тебе ответила справочная? Я сказала: «Это судьба». Я ничего особого не имела в виду, обычные слова, речевой штамп, как говорит папа одного мальчика в моей группе, журналист. А ты понял как намек. Ну да, я так бесцеремонна, сама набиваюсь! Рву и мечу лишь бы охмурить кого! То, что после столько лет мы встретились – тоже судьба, случайность, ее объяснить нельзя. Если по-настоящему подумать, то ужасно. Ни от тебя, ни от меня не зависит. А ты решил провести нашу встречу под лозунгом: как бы чего не вышло. Думаешь, что жить, раздаривая себя, нельзя. Дарить себя – прекрасно! Превращать свою жизнь для кого-то в цветы – что может быть лучше! Миллион, миллион алых роз. Разумеется, я могла найти способ увидаться посOLIDней. Но я не хотела скрывать от

тебя того, что хочу увидеться. Это должно было само за себя говорить. «Пытались ли вы когда-нибудь устроить свою судьбу?» – сказала твоя мама. Устраивать судьбу – мерзкое выражение. Не пыталась! Судьбу не устраивают, это глупо.

Мне Ваш телефон, Кирилл, дали, я не просила. Если Вам неприятно, что я звонила, моей вины в этом нет. Зачем передавал трубку матери? Какой, хорошей или плохой женой я могла быть и кому – мне лучше знать, устраивала я свою судьбу или нет, отвечать не буду, потому что и тебя об этом не спрашивала. То, за кого Вы меня приняли, мне, разумеется, горько. Напрасно искать то, чего нет, и давать уроки нравственности в самый неподходящий момент. Как много вы обо мне знаете! Не успела ничего сказать, а Вы уже знали, что я приехала на свадьбу. Вы прекрасно встретили, и было бы высшей бестактностью желать большего, погулять вместе по городу, встретить общих знакомых, пообщаться. Как можно рассчитывать на подобное, не правда ли?!

Да, мне было хорошо с этим негодяем, пусть чердак и пыль, больше нигде. Он мне измазал юбку, пришлось замывать, противно, чужой человек. Но все равно хорошо, у меня столько не было мужчины. Я тебе не изменила, не думай, это другое, тебе и безразлично. Валя, дурная, скандал устроила, покусилась на ее сокровище – котяра, за километр видно, нашла из-за чего. Господи, какая бездарная наша жизнь! Я же не хотела, Валя, он сам, я не променяла бы нашу дружбу на этот обтруханый чердак и когда внизу музыка и свадьба! Что я могла сделать? Он у тебя ласковый, умеет уговорить, я не могла отказать. Когда у тебя постоянно под боком, захотела – пожалуйста, а когда раз в году, в отпуске или просто так хороший человек предложит. Время уходит, жизнь! Как не хватает человечности, любви друг к другу, мы же ненадолго здесь, надо помогать. Это мещанство, Валя, обижаться.

Нельзя, чтобы горизонт был суженный, я бы никогда о тебе так не подумала, как ты можешь!..

Третья парта у окна. Мне было обидно, что у окна сидишь ты, а я с краю и ничего не вижу, ветерок освежающий манил, а ты своего места не уступал. Но как-то раз уступил – пожалел, только на урок. Эгоист! Все гордился, а сам так и норовил списать, старался заглянуть в тетрадь. Я не давала. Помнишь, сочинение по русской литературе – описывали осень. Я счастлива была, что у меня получилось лучше всех, и учительница сказала переписать в тетрадь лучших школьных сочинений. А ты завидовал, шептал всякие гадости, заставлял меня плакать. Потом шел по пятам до самого дома и всю дорогу выкрикивал: «В первый класс не ходила, а сразу во второй пошла!». Будто нельзя было в другой школе. Дома я рыдала от стыда и обиды, помню, как пришлось твоей маме устраивать сцену извинения. Я тогда шла из магазина, в пакете хлеб, молоко, а когда поравнялась с твоим домом, вышла твоя мама и позвала меня. Тебя заставили сыграть небольшой музыкальный этюдик, и этим прощение было достигнуто. Искуплены грехи. Но вид у тебя все равно был победоносный, мне это было страшно обидно.

Кирюша, я очень люблю цветы. Все. Но сильнее всех – розы, кувшинки, водяные лилии, незабудки. Какие они прелесть! Цветы это любовь растений, правда? Я сама удивилась, когда поняла это. Они не просто так, они – любовь! И как красиво. Всякая любовь должна быть такая, как цветы. Помнишь, я просила Валентину Семеновну в третьем классе посадить одних мальчика и девочку за одну парту – они любили друг друга. Я так же думала про нас. Из-за проблем по математике твоя мама перевела тебя в другую школу. Потом ты мне и еще кому-то брал билеты на «Покаяние», случайно столкнулись. Очередь была невероятная, я бы на фильм не попала, стояла в самом конце. Ты нам купил билеты, ты уже был юноша с лейблом на американских джинсах.

Спасибо. Я очень много неприятного испытала, когда Нина Михайловна говорила с вами по телефону и просила разрешения, чтобы мы с тобой встретились. Даже не встретились, просто только поговорили по телефону. Вы назвали меня и наглой, и бессовестной, преследовательницей. Благодарю вас за лицемерие при встрече в таком случае! Или вас разжалобили мои слезы? Вдвойне благодарна с поклоном. «Мы ему говорили, он не хочет». Какая милая откровенность, прелестно! Вы не пытались понять, почему я так беспорядочно звонила из своего города. Кирилл говорил: «Если придет, вызывайте скорую». Помните эти слова? Вы обвинили меня чуть не в маньячестве, преследовании мужчин. У вас богатое воображение, как вам не стыдно! «Вы несчастный человек». Это вы несчастные!..

Сначала это заметно по стюардессам. Чаше появляются в салоне, лица странные, хотя стараются улыбаться. Турбины гудят по-прежнему, но солнце быстро уходит из иллюминатора, через несколько минут уже на другой стороне. Так проложен маршрут, чтобы лететь в обратную сторону? Да они здесь удавятся, а крюк делать не будут из-за горючего, экономят. «Девушка, что-то случилось?» – «Не беспокойтесь, все хорошо». И жалкая улыбка этой глупенькой маминой дочки.

Командир по трансляции сообщает о температуре за бортом и городах, над которыми пролегает трасса. Это для того, чтобы успокоить, он уже делал такое объяснение. Стюардессы просят застегнуть ремни, будят дремлющих. «Уже садимся? Вроде рано». Та, что постарше, держит себя в руках, налево и направо что-то убедительно объясняет. То ли спортсмены, то ли бандиты в начале салона с ней шутят, как раньше с молодой, но лица уже другие.

Уши закладывает, но карамельки не несут. Самолет пробивает облака, в салоне гаснет свет, становится темно. Всё очень подозрительно. Ну и пусть, моя жизнь теперь чистая формальность. Так даже лучше – сразу.

Пусть остается на твоей совести, Кирилл! Пусть она до остатка дней мучает тебя! Женщина в соседнем кресле стучит кулаком по подлокотнику: «Как чувствовала! Не хотела лететь, не хотела!..» Рыдает. Смешная. Опять светло, самолет вынырнул из облаков, внизу аэродром и несколько маленьких красных прямоугольников – пожарные машины. Сосед через проход сгруппировался, опустил голову, поджал руки и ноги – наверно, видел в каком-нибудь кино. Жизнь не стоит того, чтобы так за нее держаться. Резкий удар, скрежет, дикая тряска, будто внизу не гладкая бетонная полоса, а ухабы с Эверест высотой. Все кричат, но крика не слышно, одни раскрытые рты и дико выпученные глаза. Салон заваливается на бок, крыло скребет полосу, самолет несколько раз разворачивает, наконец, останавливается.

В иллюминатор видно, как, обгоняя пожарную и скорую, бежит Кирилл, в глазах любовь и страх за нее. Она бросается к аварийному трапу, расталкивает всех, съезжает вниз, стараясь, чтобы не задралось неприлично пальто, и попадает в объятия любимого. Он с потрясающей нежностью смотрит на нее. «Я тебя никуда не отпущу! Я виноват перед тобой, прости меня!..»

Кирюша! Солнышко! Зайка! Мой самый, самый лучший. Мой единственный зверек, зверушка, волчонок, самый умный мой глупыш! Худенький юркий мальчишка с острым носиком, упрямый неугомонный хитрец! Самый-самый хитрый на свете, самый-самый добрый, беспокойный говорун, светлая головушка, светловолосая, с колючими серыми глазами – злющими-презлющими, болтунишка, маменькин сынишка, сердечко, милый, желанный!.. Пусть проходят год за годом длинной чередой, ты во мне останешься самым маленьким. Кирюша, Кирилл, Кирюшенька, Кириллка. Видишь, сколько слов, ласковее одно другого. Тебе какое нравится? Я говорила только одно: Кирилл. А так хотелось!..

Трусишка, пугливый мальчишка-воробышек. Так и

норовишь что-то схулиганить и остаться безнаказанным. Недоверчивый глупыш! Ничему не веришь, пока сам не убедишься. Если ты любишь меня, ни жизнь, ни смерть не разобьют нашей любви. Ты в моей памяти – и это прекрасно. Это невероятно хорошо. Ты умничек, ласковый, нежный звереныш. Ты трепетное сердечко, добрые руки, умные и строгие глаза. Родимушка! Ты кровинушка моя, потому что кроме тебя никого нет. Взять бы лучи солнца и согреть твои руки, взять бы капельки дождя и омыть твое лицо. Коснусь ресницами твоего плеча, не чувствуешь? Коснусь щекой твоего лица, не замечаешь? Проведу пальцами по твоим бровям. Поглажу тебя по головке. Ведь забудем к старости мы всё, развеются наши слова по ветру, уйдем без остатка.

Неужели ты не догадался, не понял, почему я тебе звонила? Дороже тебя никого у меня нет. Убереги меня от того, что ждет в жизни, иначе не будет другого выхода, как свести счеты. Я не могу больше терпеть от этой разнузданной толпы, остановить которую не в силах. Спаси от того, что чувствую сейчас и будет потом. Видели бы себя замужние бабы со стороны – такие самодовольные, уверенные. Суки! Отсюда всё, что показалось тебе странным и шокировало. Я уважаю твою рассудительность, солидность и благодарна за внимание. Но твой прием был похож на английские скетчи, как выбирать невесту, устраивая прием в доме жениха, на какие тесты ее проверять, чтобы она соответствовала и насколько. Мне казалось, меня при всех раздевали. Ты простил этот приезд, потому что я была все-таки Л.М. и ехала к тебе с неизъяснимой надеждой. Когда-то всему придет конец, ты понимаешь это? По-настоящему понимаешь?!. Я буду писать тебе, хотя ты не отвечаешь, и звонить обязательно, чего бы это ни стоило.

Я не сразу решилась на нашу встречу, ты поверить должен. Ты был год назад на вызове, а потом нам пришло письмо. Не было в моем решении легкомыслия –

вздумала и прилетела, клуб кинопутешествий. Сначала я очень недоверчиво отнеслась к тому, что написали. Не видела ничего в этом серьезного, даже обиделась на маму, что настаивает дать адрес. Твой интерес я восприняла правильно, не волнуйся на этот счет. Здоровое любопытство, чем мы часто грешим, нужно отличать от интереса к другому человеку. По твоему убеждению, это можно принять за психическое отклонение. Здоровое любопытство не заслуживает осуждения, как не заслуживает равнодушия интерес к другому. Станным показалось, адрес мой просили, но не написали, неприятный осадок остался. Зачем тогда просить? Я тебе все-таки позвонила, ты был на дежурстве, говорила с твоей мамой. Я могу представить, какие у тебя возникли мысли в связи с твоим характером – жутко становится. Пока я у тебя находилась, ты мучительно искал ответ, зачем она приехала? Ты помнишь, с каким беспокойством следил за всем, что я делала – может быть, приехала просто как к врачу?..

Ты фактически строил ужаснейшие предположения, заранее предупреждал, какими вопросами не интересуешься. Как ты мог себе позволить сказать такое! Через столько лет! Ты был свидетелем моих радостей и бед. Как ты мог выложить перед всеми, пусть не прямо, а через чьи-то слова! Я хотела видеть настоящего человека, каким я когда-то открыла тебя для себя. А теперь от твоих «тонких» намеков вроде, давай останемся я – К.Д., а ты – Л.М., какими вопросами не интересуешься или что твои родители меня стесняются, состояние у меня было «преlestное»! У тебя логика врача, а нужна логика человека. Если бы мне сказали, вам и кувалдой не вбить, как вы будете выглядеть в глазах других, я бы ответила: я делаю это не для того, чтобы позабавить глупцов, не для того, чтобы скрывать от всех то единственное прекрасное, что могло быть от нашей встречи. Неужели я привязалась к человеку, который такой мещанин, что не видит элементарного? Может, тебе этого никогда не понять?..

У меня было мерзкое чувство, когда твоя мама разговаривала с кем-то по телефону, а я все слышала. Не могла поверить, что обо мне можно так плохо думать, я почувствовала себя человеком, которого в порядочный дом лучше не впускать. Что было, хочешь знать? Лживый, гадкий разговор, в котором было одно. Какая-то гордячка навязывает себя, к тому же выражается намеками, то есть почти невменяемая. А на свадьбе лучшая подруга чуть не выдрала у нее все волосы – соблазнила мужа... Этот отвратительно любезный тон, в котором язвительное лицемерие, провинциальный маразм, когда пугаются и осуждают всё необычное и непривычное! Подумать только, через столько лет тревожит! Да еще такая... Я давно чувствую, что ко мне относятся не так, как заслуживаю. Мое личное представление о себе, понимание себя – и представление обо мне со стороны никогда не сойдутся. Я чувствовала это всегда, но не понимала, а теперь ясно.

Вы, Кирилл, увидели во мне проститутку, и Ваши родители тоже. Я смеюсь вам в лицо! Вы совершенно не знаете меня. Моя память о детстве, о Вас, при всех ее недостатках (Вы считаете, это болезнь) – самое прекрасное, что может быть у человека. Слышали такие слова: чувствую – значит, существую. Не знаю, как Вы, а я чувствую! Я очень угнетена, я много думала и пришла к выводу, что мне дорого любое чувство, к детям, к природе, к мечте. Были мгновения в нашей встрече, когда я чувствовала к Вам нежность, настоящую близость. У Вас, Кирилл, нет характера. Мне кажется, Вы с завистью поглядываете на жизнь, а когда она к Вам поворачивается лицом – трусите. Кто посмелее, Вас опережает, я не о чердаке, чердак – случайность. Нерешительность Ваша беда. Но я лучше пойду за Вами в ад, чем оставлю одного. Меня поражает, есть миллионы мужчин, которые отхватывают куски больше, чем могут проглотить. Вы посчитали, что быть моим мужем не Ваш формат. У Вас плохое воображение, Вы могли

быть счастливейшим из смертных. «У меня много дел, я не могу долго находиться с тобой». Разве это не портрет в натуральную величину! Вам должно быть стыдно, Кирилл. Я привыкла к неудобствам и необеспеченности и к тому, что хуже всего: никто не подаст мне руки, когда трудно, пусть даже вокруг много людей. Великую битву с жизнью мы ведем не в молодости, а сейчас. Я эти слова могу считать своими, потому что я их выстрадала. Но я не должна проиграть, запомните это, никогда!..

Приземлились нормально. Пассажиры, как в американских фильмах, стали аплодировать экипажу. Не дожидаясь разрешения, принялись расстегивать ремни и подниматься, доставали из шкафчиков над головой одежду. В салоне сразу стало тесно.

Провожала молодая стюардесса, заучено улыбалась, но глаза смотрели с интересом. Пусть смотрит.

– Всего доброго!

Обойдешься. Молча ехала и в аэрофлотовском автобусе-гармошке. Ждать выдачи багажа не пришлось, всё уместилось в небольшой сумке с собой. Кавказцы-таксисты у стеклянных дверей смотрели сквозь нее, отвезти в город не предлагали. Еще бы.

Вышла на привокзальную площадь. Не сразу поняла, что дождь. А там, в городе на Оби, уже острый воздух, первый снег, небольшой минус...

Надо жить дальше.

ЯСНАЯ ЖИЗНЬ

В детдомовском своем детстве Маша знала точно, откуда появляется Дед Мороз. Она знала, но не говорила этого подружкам, потому что те не верили, те смеялись и сквозь смех уверяли, что Дед Мороз – это баянист Коля только с приклеенной бородой и усами. А Маша знала совершенно точно, что Дед Мороз приходит из зеленого торца большого зеркала в девчачьем умывальнике, и часто, когда никого не было, останавливалась и заглядывала в торец, в его зыбкую зеленую даль. Она все надеялась увидеть, чем сейчас занимается Дед Мороз, она даже знала, чем он может сейчас заниматься, но хотела удостовериться в этом лишний раз.

В детдомовской столовой висела большая картина, на которой было много веселых бойцов, по краям, в лесу, виднелись остановившиеся танки, а посредине всех сидел Василий Теркин и что-то интересное рассказывал. Маша знала, вот так же сидит в таинственном салатом торце и Дед Мороз. Только он один, но лицо у него такое же веселое, и он почему-то обязательно переобувается. Таким Маше постоянно Дед Мороз представлялся, и она верила в это, потому что как же не верить в то, что есть на самом деле.

Когда Маша стала постарше, и Дед Мороз не то чтобы забылся, а смутный и уменьшившийся, отодвинулся, отплыл куда-то в сторону, с салатовой глубиной зеркального торца стало связываться у Маши представление со словом «деревня». Их детский дом находился в городе, и о деревне Маша слышала только по радио или читала, это красивое непонятное слово должно было жить в таинственном торце, и Маша опять шла в умывальную комнату поглядеть. Она видела в зеленой

дали глухую улицу с нависшими над ней клубами высоких деревьев (в д е р е в н е – д е р е в ь я!), и высокие эти деревья должны были быть акациями. От старших, а также из книг Маша знала, что «деревня» и «село» обозначают одно и то же, но никак не могла представить «село» в торце зеркала. Потому что это слово было каким-то сухим и определенно пыльным. Сухость и мелкую светлую пыль его содержал в себе первый звук этого слова, и ни «е», ни ласковое «л», ни округлое и доброе «о» ничего уже не могли изменить.

Прошло много лет, и по окончании культпросветучилища Маша получила направление в библиотеку одного из сел на Подолье. Детские представления о словах «деревня» и «село» остались только в памяти и иногда приходили на ум. Но Маша насмешливо не улыбалась. Она понимала и относилась с сочувствием к себе маленькой.

Село, в которое ехала работать Маша, находилось в балке, а вокруг села и далеко за ним лежали возделанные поля, яркие, сочные и безлюдные. Маше казалось, что село, такое маленькое в обычное время и почти затерявшееся в полях, должно временами расширяться, растекаться, как убежавшее тесто, по этим полям, тогда еще голым и пепельным. А когда приходило время уйти назад – сжиматься, и из-под него, видимо, и появлялись эти ухоженные, аккуратные нивы.

Так казалось Маше, девочке, выросшей в городе, девушке, верящей в чудеса.

При въезде в село стоял транспарант, вкопанный узловатыми деревянными ножками в землю, и на нем по довольно выгоревшему красному фону белыми крупными буквами были написаны слова: «А видел ли ты, как всходит солнце?» Маша улыбнулась доброй улыбкой, прочтя эти слова, и что-то радостное и светлое утвердилось в ее душе, которая и раньше-то была безоблачна.

Библиотекарша, на место которой приехала Маша, была русской в этом украинском селе. Она имела полный рот серовато поблескивающих металлических зубов и на штапельном платье носила колодку боевых наград. Позже Маше суждено было узнать, что библиотекарша уезжает к своему мужу на Север, который отправился туда на заработки да так и остался там, а вообще-то он местный, сельский, что сюда библиотекарша с мужем приехала после войны, на которой они оба потеряли первые свои семьи, и что сначала сельчане посмеивались над этой русской женщиной, которая первое, что спросила по прибытии в село, это: «А где же ваши трехэтажные дома?» И муж, не лишившийся юмора, несмотря на пережитое, ответил: «Пол – первый этаж, припечек – второй, а печь – третий». (Еще ухаживая за ней, муж весело врал, что в селе у него трехэтажный дом.) Все это и многое другое Маше суждено будет узнать позже, а пока с уважением и даже робостью она поглядывала на колодки боевых наград, слушала прозрачную четкую русскую речь и одновременно делала дело: принимала книги, и весь процесс сдачи-приемки у нее окрасился в цвет смущения.

Когда, наконец, все было окончено, и Маша осталась в библиотеке одна, она села за свой стол, расслабленно опустила на него руки и сказала, медленно и отдельно, для себя: «Ну, вот я и дома...»

Пахнущая книгами тишина стояла в библиотеке.

Жить Маша стала у бабки Юхимихи. Сыновья поставили старушке дом, чтобы доживала она в тепле и достатке оставшуюся жизнь, которая совсем уж не была легкой. Сыновья поставили дом, чтоб и самим не отрываться от родительских корней, чтоб знать, что где-то там, за дымными пределами их города, есть село, затерявшееся в полях, а в селе у них мать и хата, готовые принять, укрыть и пожалеть в неласковые времена. Сыновья поставили большую хату. А сами жили в го-

роде, и бабке Юхимихе было скучно в гулких полупустых комнатах одной. Когда Маша стала интересоваться насчет квартиры – ее сразу направили к бабке: «У нее спроси, девушка. Она принимает квартирантов». Юхимиха оказалась старушкой с сухоньким личиком, но еще шустрая и улыбчивая, она сразу же согласилась взять Машу на квартиру, сказав:

– Живи-живи, дочка. И тебе будет хорошо, и мне веселей.

Голос у нее оказался неожиданно звонким, без старческой надтреснутости, будто у девочки-пятиклассницы. Она пожалела Машу:

– Такая молодая, а уже пошла в свиты...

Маша не понимала сначала многое из ее разговоров, как не поняла сейчас это «в свиты», но сама старушка ей понравилась, и она всегда улыбалась в ответ на ее постоянную улыбку.

Быть квартирантом в селе, да еще в таком большом доме, как у бабки Юхимихи, это совсем не то, что в городе.

– В какой комнате хочешь, там и поставим тебе кровать, – говорила бабка Юхимиха, водя Машу по всем шести комнатам дома. – Если хочешь, то и в двух комнатах живи... И не стесняйся, – бабка с удовольствием оглядывалась на скромную девушку, ей нравилась ее молодость, – не стесняйся. Если надо чего, у меня спроси.

Маша выбрала себе комнату с двумя окнами, выходящими на огород. В комнате стоял неуклюжий, но широкий и упругий диван – продукция, по всей вероятности, какой-нибудь артели районного центра, стоял стол, ничем не примечательный, два венских стула, даже на вид скрипучих, зато на стенах висело несколько картин, писанных маслом, хотя и без рам.

– Это сын мой рисовал, – с достоинством сообщила бабка Юхимиха, когда заметила, что Маша рассматривает картины. – Он сейчас художником в городе, при Доме культуры.

Она стояла у стены, сложив руки на животе, скром-

но гордая за своего сына. Картины были копиями с известных полотен. На одной из них три охотника устроили себе привал, один самозабвенно врал, второй ему не верил, а третий с пылкостью юности переживал рассказываемое. На заднем плане занималась чем-то своим худая, с подтянутым животом собака. На второй – девочка с толстыми босыми ногами и с братцем за спиной убегала от грозы, и складки на ее лице от крыльев носа до уголков губ, которые должны были говорить о страхе, походили на усы.

– Он еще с детства все рисовал, – слышала Маша далекий голос хозяйки. – Малюет – ну и пусть малюет, думала я, ребенок ведь... А оно вон во что перешло: сейчас это его кусок хлеба...

Хозяйка говорила, и хотя она стояла рядом, голос ее, казалось, идет откуда-то издалека, потому что Маша тем временем думала, что это хорошо – в комнате есть картины. Потому что вечером она будет смотреть на них и думать об этой девочке, убегающей от грозы. И о каждом из трех охотников. Об убитой дичи на переднем плане и об их глянцевеющих ружьях. Потом охотники и девочка с моржовыми усами перейдут в ее сны и станут понятнее и объемнее, а к утру опять будут уходить на холсты и располагаться там в своих привычных позах. Да так, будто и не уходили никуда...

Бабка Юхимиха одобрила выбор Маши.

– Правильно. Хорошая комната, светлая, – закивала она головой и добавила со спокойной житейской мудростью: – Ты молодая, хлопцы к тебе придут – так есть где посидеть.

На эти слова Маша пожала плечами.

– Нет, – ответила она, – ко мне хлопцы приходите не будут. У меня жених в армии, – и ясными глазами взглянула на хозяйку. – Я его жду.

Сначала, пока Маша не привыкла еще к новой своей жизни, дни были странные и длинные, без конца и края,

а как пообвыкла – побежали, замелькали они, словно шпалы на железной дороге. Привычной ей стала и ее библиотека с длинными стеллажами и тишиной, пахнущей книгами, и дом бабки Юхимихи с прохладными и гулкими комнатами, и немногочисленные здешние читатели, которым нравились книги про любовь. К одному здесь не могла привыкнуть Маша – к небу. Оно всегда ее изумляло. Выходила ли она из дому, направляясь по утрам на работу, помогала ли хозяйке на огороде, терпеливо учась деревенским заботам, просто ли шла по улице в задумчивости, с неясными умиротворенными мыслями, стоило неожиданно поднять голову – и она шептала, пораженная:

– Господи, а небо-то!..

Пусть думала она до этого о чем-то совершенно другом, вспоминала ли детский дом или читателя, который несколько месяцев не сдавал книги, стоило неожиданно взглянуть ей вверх, как все эти трезвые мысли отваливались, как корка высохшей грязи при резком движении, и она останавливалась, преисполненная восхищения, и восторженным шепотом произносила: «Господи! Какое небо...» Над ней стояло небо, чистое, неохватное и такого пронзительного голубого цвета и мудрое, что хотелось плакать. Она стояла под этим небом и чувствовала, что вот стоит она, Маша, человек, и кругом тоже люди, человеки, жизнь которых совпала с ее жизнью, что их много, но небо для них одно – общее небо, сближающее.

Она бежала в хату, порывисто целовала бабку Юхимиху в костлявую скулу, а бабка Юхимиха непонимающе, но все же с улыбкой смотрела на нее, а затем стирала ладонью со скулы след поцелуя.

– Бидна дытына... С детства не знала от матери ласки... Кто в тому детдоме приголубит ее, пожалеет, – и, пригорюнясь, качала головой.

Бабка не понимала Машу, потому что всю жизнь прожила под этим небом. И оно не казалось ей удивитель-

ным, а таким, как положено ему быть, каким было оно раньше, при родителях-небожчиках, и каким, наверно, останется после нее.

Маша, конечно же, не сидела все время в своей тихой библиотеке. У нее была обязанность, которую она радостно выполняла: обязанность ходить в бригады, ланки, носить туда книги. А иногда и прочесть интересную статью из газеты. Маша выходила за село, шла стежкой по просторным светлым полям и дышала на полную грудь степным воздухом. За спиной оставались последние деревья села, а впереди распахивалась солнечная ясная даль, безграничная и чистая, и верилось, что можно сейчас плавно взлететь и парить, если очень этого захотеть, и радость бурлила в груди и выплескивалась песней. Маша шла среди сизостебельной пшеницы, клонящей головы-колосья к стежке, шла долго, слышала непрерывный шорох задевающей за ее платье нескончаемой линии колосьев и, не оглядываясь, знала, как они покачиваются из стороны в сторону, будто укоряют за беспокойство. Наконец слева с каждым шагом подпрыгивающе выростала лесозащитная неширокая полоса, и Маша знала, что совсем уже рядом плантация сахарной свеклы, но что увидеть ее густой сочный цвет она сможет при самом выходе из пшеничного поля, метров за десять-пятнадцать. И в самом деле, все оказывалось так, как Маша предполагала, и вскоре она выходила к дороге, отделяющей пшеничное поле от свекольного. Дорога была в глянцевающих следах обитых железом тележных колес, а по сочно-зеленому ковру свекольной плантации разбросаны ярко-белые платки. Белые платки были на головах у женщин, сапающих буряки, и Маша, приглядевшись, в каком направлении женщины двигаются, шла к тому месту плантации, где они должны были выйти, и начинала ждать.

Воздух был до того невидим, что казалось стран-

ным, как это может удерживаться в нем жаворонок. И что, должно быть, он неспроста так трепещет, бьет крылышками, а вдали по наклонному полю полз трактор «Беларусь», и виден был голубой дымок от него, и слышно было далекое, не нарушающее общей умиротворенности, татахканье.

Женщины одна за другой выходили к Маше, разгибаясь и потирая поясницы, откладывали сапы в сторону и подсаживались к ней. Маша вынимала, раскладывала на траве книги, которые приносила с собой в большой сумке, купленной еще в городе, и молодые женщины и девушки раскрывали их, перелистывали и отбирали каждая себе подходящую. Женщины же постарше любили, чтобы им чего-нибудь почитали, и, когда вся ланка выходила к Маше, они поднимались все разом и шли во влажную тень лесопосадки, где женщины, развязав сетки, начинали закусывать, а Маша читала им статью о международном положении или что-нибудь поинтересней из женского журнала.

Это было звено или, как говорили здесь, ланка свекловодов известной на всю республику Марии Тарасюк, об этой ланке читала Маша на транспаранте с деревянными узловатыми ножками, когда в первый раз въезжала в село, потому что под словами «А видел ли ты, как всходит солнце?» по изрядно выгоревшему фону шли другие слова, помельче, рассказывающие, что ланка Марии Тарасюк каждый восход солнца встречает в поле, потому-то каждый год эта ланка собирает не меньше как по пятьсот центнеров свеклы с гектара и что в этом году она взяла обязательства получить по шестьсот центнеров корнеплодов с одного гектара. Сама Мария Тарасюк была здесь же, вместе со всеми закусывала и вела себя так просто, ни в чем не проявляя свое право командовать, что Маше казалось странным и почти невозможным видеть в этой пожилой, несколько полноватой женщине человека, о котором пишут газеты и который заседает в Верховном Совете

республики. Проходило с полчаса, Маша оканчивала читать, и женщины, отдохнув, брались за сапы и шли продолжать свое нелегкое и нужное дело, а Маша собирала оставшиеся и возвращенные книги, и путь ее лежал дальше, от ланки к ланке, от птицефермы к тракторной бригаде.

Просторно и легко было в полях. Заливались жаворонки над ласковой заслушавшейся землей.

Однажды Маша пошла в клуб на танцы. Ее вызвался провожать Петро, светловолосый круглолицый парень, не особо бойкий в разговорах. Танцы были не в самом клубе, а в прихожей, где обычно раздевались перед концертами, но и этого помещения хватало, потому что молодежи было не так уж много. Большинство ночевало в полях, в свежемолоченных скирдах, чтобы не тратить сил и времени на возвращение в село. Машина библиотека находилась в том же помещении, что и клуб, и Маша решила пойти посмотреть, как проходят танцы здесь, рядом с ее библиотекой, заплатила двадцать копеек за вход и стояла, смотрела, как шаркали подошвами по плиточному полу танцующие под радиолу. Маша мало с кем была знакома, хотя многие лица ей и примелькались уже, зато ее знали почти каждая и, особенно, каждый на этих танцах. Сюда ходили девочки с четырнадцати лет, а местные парни были скромны и немногословны, и если хотели проводить после танцев девушку, то не говорили об этом прямо, а осторожно спрашивали: «Нам не по дороге?..» Так спросил и Петро во время одного из танцев, и Маша, посмеиваясь над его осторожностью и нерешительностью, ответила задорно:

– Если вам к бабке Юхимихе – то по дороге!

Петро не обиделся, а ровным голосом сказал:

– Ну, не совсем чтобы к бабке Юхимихе... Я там рядом живу. – И добавил, не глядя Маше в глаза: – Я сколько раз уже вас видел.

Во дворе на черном небе ярели звезды, и было так

темно, что появилось сомнение, есть ли у акаций, начинающих в ста метрах от клуба, кроны. В окнах света давно не было, потому что в страду все спать ложатся рано, даже собаки молчали, будто им передавалась людская тяжелая усталость. Петро шагал рядом, но под руку взять не решался, а с большими паузами рассказывал, как служил совсем недавно в армии, возил на ГАЗ-69 командира части, как работает сейчас в колхозе шофером и какие интересные истории ему приходилось слышать и самому видеть за время службы. Маше было приятно и спокойно слушать его, но, уйди он сейчас, она бы не расстроилась и совсем бы не помутился ее душевный покой. Просто хорошо было идти среди темноты, чувствовать возле себя человека и слышать его голос. Возле калитки Маша не стала долго задерживаться, она знала, что долгое стояние даже самых робких парней делает решительней, и потому сказала сразу же: «Ну, до свидания. Я пошла» – и чувствовала спиной, что Петро не уходит, а стоит и смотрит ей вслед.

Вот с того-то вечера Петро и стал часто заходить к Маше, и они сидели на каменном крыльчке бабки Юхимихи, а перед их глазами закат развешивал пурпурные полотнища, и тонко пахло в теплом воздухе молоком и яблоками из садов. В селе раньше был такой обычай, чтобы приходиться парням всем вместе к какой-нибудь девушке, усаживаться в хате, шутить, выпить самогона из бутылки, заткнуть кукурузным кочаном, и чтоб девушка приглядывалась к каждому из них, и чтоб каждый из них мог приглядеться к девушке. Называлось это «вечерницами» или «идти до дивки», но последние лет пятнадцать изменилось что-то в селе, и молодежь встречалась большей частью в клубе, и там завязывались нити большинства супружеских уз. Но до сих пор не считалось зазорным парню на правах соседства зайти к девушке и посидеть в комнате или вот так на крыльце и вести скромный, но полный недомолвок разговор. Все дневные дела были переделаны, часто выхо-

дила и подсаживалась к Маше и Петру бабка Юхимиха, но долго не сидела, потому что понимала, они молодые, у них свои разговоры. Маша видела, что она Петру нравится, но это ее никак не трогало. Покойной и ясной оставалась ее жизнь.

Однажды Петро пришел позднее обычного, тогда, когда закат уже густел и вскоре должен был сойти на нет, и пришел не только позднее обычного, но какой-то странной скованно-решительной походкой. От него привычно пахло бензином. И был он в продольно-полосатой новой футболке. Петр строгим голосом заговорил, что ему уже за двадцать, что армию он отслужил и что пора ему жениться, потому что в селе, не в пример городским, женятся рано, но вот до недавнего времени все не мог найти подходящей девушки, а сейчас, кажется, нашел... Петр говорил все это, а Машино внимание отвлекала его полосатая футболка, ей очень хотелось заглянуть Петру за спину, чтобы узнать, есть ли на этой футболке настоящий футбольный номер. И она попросила его повернуться. Она не хотела ничего этим сказать, потому что была слишком бесхитростна, но Петро понял, что говорить о женитьбе этой простой и беспощадной девушке бессмысленно, и вскоре ушел, неся на своих плечах десятый номер нападающего.

Ему было очень горько, и ночью он плакал, несмотря на то, что служил в армии и бывал во всяких переделках, а Маша спала спокойно и видела во сне трех охотников с картины Перова.

С двух до четырех Маша закрывала библиотеку на обед. Она клала ключ в карман и шла по тихим и жарким полуденным улицам, сворачивала в глухие переулки, в которых онемевшими, остановившимися струями стекал с заборов колючий повий. Солнечная одурь была в этих густых ветвях кустарника... первозданно и сонно гудели редкие пчелы среди мелкого блекло-сиреневого цвета... млели на солнце безразличные ко всему

красные плоды – «бруньки»... И казалось, что прошедшие времена нашли покойный приют в этих частых и гибких побегах.

Бабка Юхимиха уже ждала Машу, поставив в холодильник старинный казанец густого борща, или Маша сама готовила обед и вызывала хозяйку из недр огорода, из джунглей кукурузы своим сильным спокойным голосом. Хозяйка безмолвно выходила к дому, держа в одной руке натруженную сапу, а в другой нежные стручки молодой фасоли, и пот блестел на коже ее морщинистого лба.

Обедали они в небольшой теневой комнате, сумрачность и прохладная клеенка которой делало приятным нахождение в ней таким жарким августовским днем, а кроме того, у комнаты было еще одно достоинство, столь ценное Машей. Достоинство это состояло в том, что комната выходила окном на дорогу. И Маша могла спокойно обедать и следить, не появится ли в окне, в его искажающем крае, долгожданный почтальон.

Она ела борщ, поглядывала в окно и совсем не задумывалась над тем, почему почтальон Иван Бурковский, заслуженный инвалид Отечественной войны, выбирал для разноски писем и газет эту жаркую половину дня, она не задумывалась, а если б и задумалась, то объяснила бы это тем, что скучно, должно быть, жить, если действовать только разумно.

Почтальон часто проезжал мимо на неторопливом своем велосипеде, но иногда останавливался и глядел в отражающее темное окно, уверенно поджидая Машу. Маша выскакивала из-за стола, выбегала к Ивану Бурковскому и выхватывала письмо из его крепких рук хромого человека. Маше писали друзья по детдому, писали подруги из культпросветучилища, но самыми желанными были для нее письма в конвертах без марок и с синими треугольными штемпелями «солдатское». Это писал ей ее жених Володя, а история их любви началась три года тому назад и выдержала уже около двух лет переписки.

Маша влюбилась в Володю первой и простодушно не скрывала этого ни от подруг, ни от него, а он, лучший студент училища, парень умнее и старше, ходил безразлично мимо и лишь изредка здоровался. Машу задевало это его равнодушие, и однажды она решительно вошла в их мужскую общежитейскую комнату и сердито заявила Владимиру, что она его любит и что ее возмущает то, что он не обращает на нее никакого внимания. Соседи по комнате, опустив головы, прятали конфузливые улыбки, а Володя серьезно глядел на нее и ничего не говорил, он вообще был молчаливым, над его койкой висел девиз: «Молчи, если не можешь сказать что-то стоящее».

Он безмолвно позволил Маше бывать у них, а потом – и с ним, и Маше этого было вполне достаточно, лишь иногда некоторые его фразы, над которыми из-за редкости их долго думала, ставили в тупик, приводили к мысли, что если этот человек и любит, то совсем по-иному, не так, как она. Он говорил: «Ты очень непосредственна, и это для других может быть счастьем или же сильным горем». Маша спрашивала: «Ну ты-то счастлив?!», на что Владимир сперва ничего не говорил, но потом отвечал: «Да, – и грустно глядел на нее. – Но надолго ли твоя любовь?..»

Своей самоотверженностью завоевала его Маша.

Почтальон Иван Бурковский, немного шокированный Машиными резкими движениями, некоторое время еще стоял и с недовольством глядел на нее, но затем, подобрев и решив, что, видно, очень уж ждет «библиотекарка» от солдата весточки, сел на свой дамский велосипед (с его хромотой на велосипед с перекладной не взобраться) и ехал дальше. Он надеялся успеть к шести вечера на станцию, что в четырех километрах от села, к московскому поезду со своими забавными деревянными игрушками, оттого и развозил почту в самую жару. А Маша тем временем успевала разорвать конверт и, осторожно ступая к дому, принималась за

чтение письма. «Двадцать восемь дней осталось до приказа, – писал Володя, любя Машу и гражданскую свободную жизнь, – двадцать восемь дней до нашей встречи, милая...» Маша отрывала от письма просветленное лицо, невидяще глядела вдаль, и безоблачный покой ее освещался счастьем.

Она никогда не сомневалась, что в ее жизни все будет прекрасно, а вот сейчас эта уверенность начинала понемногу превращаться в реальность. Маша знала, что наступит осень, и в селе появится подтянутый парень в парадно-выходной форме с буквами СА на погонах, и люди, завидев его с Машей рядом, будут перешептываться о том, что это жених библиотекариши и что председатель обещает ему должность завклубом.

Маша стояла под жарким солнцем и не чувствовала его, а из солнечного половодья, от сарая с нагревшимися деревянными дверьми доносились приглушенные вскрики снесшейся курицы. Доносились будто сквозь сон, будто из дремучих солнечных зарослей, будто из зеленого зеркального торца детдомовского умывальника.

СОДЕРЖАНИЕ

Деревенские этюды

<i>Мэрка, хлеб и свобода</i>	4
<i>Последняя гулящая</i>	4
<i>Живое</i>	5
<i>Пир в начале зимы</i>	6
<i>Зимние закаты</i>	7
<i>Дрейфующий во льдах</i>	8
<i>Тревожные птицы</i>	9
<i>Минус пятьдесят</i>	10
<i>Посиделки</i>	10
<i>Воробьиный скок</i>	11
<i>Тропинки</i>	12
<i>Ждут и надеются</i>	12
<i>О зимней свободе передвижения</i>	13
<i>Так хочется в лето!</i>	14
<i>Весна света</i>	15
<i>Утки</i>	15
<i>Весна воды</i>	17
<i>Время</i>	18
<i>Контрасты</i>	19
<i>Ночная кукушка</i>	20
<i>А черемуха</i>	21
<i>Меньше меньшего</i>	22
<i>Соперница бамбука</i>	22
<i>Родные и приемные дети</i>	23
<i>Сорочонок</i>	23
<i>Вахтовики из Африки</i>	24
<i>Картошка цветет</i>	25
<i>Непостижимое</i>	25
<i>Рэкет в малиннике</i>	26
<i>На грани</i>	27
<i>Десант в лето</i>	28

Простые вещи

<i>Благодарение</i>	30
<i>Об относительности понятий</i>	30
<i>Бои в арьергарде</i>	31
<i>Память крови</i>	32

С изумлением и благодарностью.....	33
Страда.....	34
Мера.....	35
Щенок.....	36
Клыки вырастают раньше.....	37
Доброе слово.....	37
Предосеннее.....	38
Цивилизация.....	39
Время и место.....	39
Давний случай.....	40
Терпение буксиров.....	41
Обычное.....	42
Вера.....	43
Один хороший день.....	44
Новоселы.....	45
Потому что пора.....	46
Избыточность.....	47
Стдо.....	47
Голубиная история.....	48
Общее место.....	49
Любите искусство, господа!..	49

С натуры

Муравей.....	52
Предприимчивая буренка.....	52
Беломор.....	53
Друзья по несчастью.....	55
И вот такая весенняя примета.....	56
Кто сказал, что рыба дорогая?..	57
Ситуация.....	60
Хитрая северная география.....	61
Квартирный вопрос.....	62
Комар.....	64
Охота пуще неволи.....	64
Путь сомнений.....	65
Прогноз на завтра.....	66
Город, картошка, очередь... ..	67
Воробьи купаются.....	68
В автобусе.....	69
Сослуживец.....	69

Колыбель для имеля.....	71
Заветное желание.....	72
Гордость бедных.....	73
Психолог.....	74
Куда несешься, Русь-тройка?..	75
Простые души, 70-егоды.....	76
Чембогаты.....	76
Мысли по поводу.....	77
Как мы с синицей пересмешичили.....	78

Мимоходом

Как в первый раз.....	80
Ничтожна и неистребима.....	80
Безответные.....	81
Вечное.....	81
Без названия.....	81
Образ.....	82
«Чуть помедленнее, кони!..».....	82
Небесный вампир.....	83
Всего лишь воздух с ваших губ..	83
Душа лета.....	84
О пользе чтения.....	84
«Остановись, мгновенье...».....	85
Оттаявшие запахи.....	85
Горячий привет из мезозоя.....	86
Оратор.....	86
Иван-чай.....	87
Нравы.....	87
Подлость.....	88
Поколение пехт.....	88
Простое желание.....	89
Табель о рангах.....	89
Счастливец.....	90

50+

Любовь по Эсамбаеву.....	92
Грустный анекдот.....	93
«...Деспот среди людей».....	93
О профессионализме.....	95
Монолог.....	95

Первое марта.....	96
Обманка.....	97
Акме.....	98
Старые истины.....	99
О хорошем царе и плохих боярах.....	100
Министерство правды.....	101
Выбор.....	102
Анатомия успеха.....	102
Третий ключ.....	103
Куда несешься, Русь-тройка?..	104
Покой.....	105
Две стороны медали.....	106

Рассказы

Случай с Олей Густешовой.....	111
Осколок империи.....	128
За тридцать земель.....	143
Дембельский бог.....	158
Ленька и Миша-безногий.....	179
Мы с Толиком Белинским.....	199
Яблоко в желтой листве.....	215
Только две зимы.....	233
Счастье.....	251
Стратег.....	260
С утра до вечера.....	270
Домовой.....	294
Чертовщина.....	303
Река.....	311
Сувенир из глубинки.....	324
Отставной прапорщик Фатеев.....	333
Женщина в тридцать пять.....	346
Ясная жизнь.....	362

Литературно-художественное издание

Луцкий Сергей Артемович

ПОКА СВЕТЛО

Малая проза

Компьютерная верстка, корректура
Луцкая Г.А.